

И. НЕФЕДОВА

**ЛЕТО
В СТЕПИ**

**СТАЛИНГРАДСКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1956**

Н. НЕФЕДОВА

Н-3

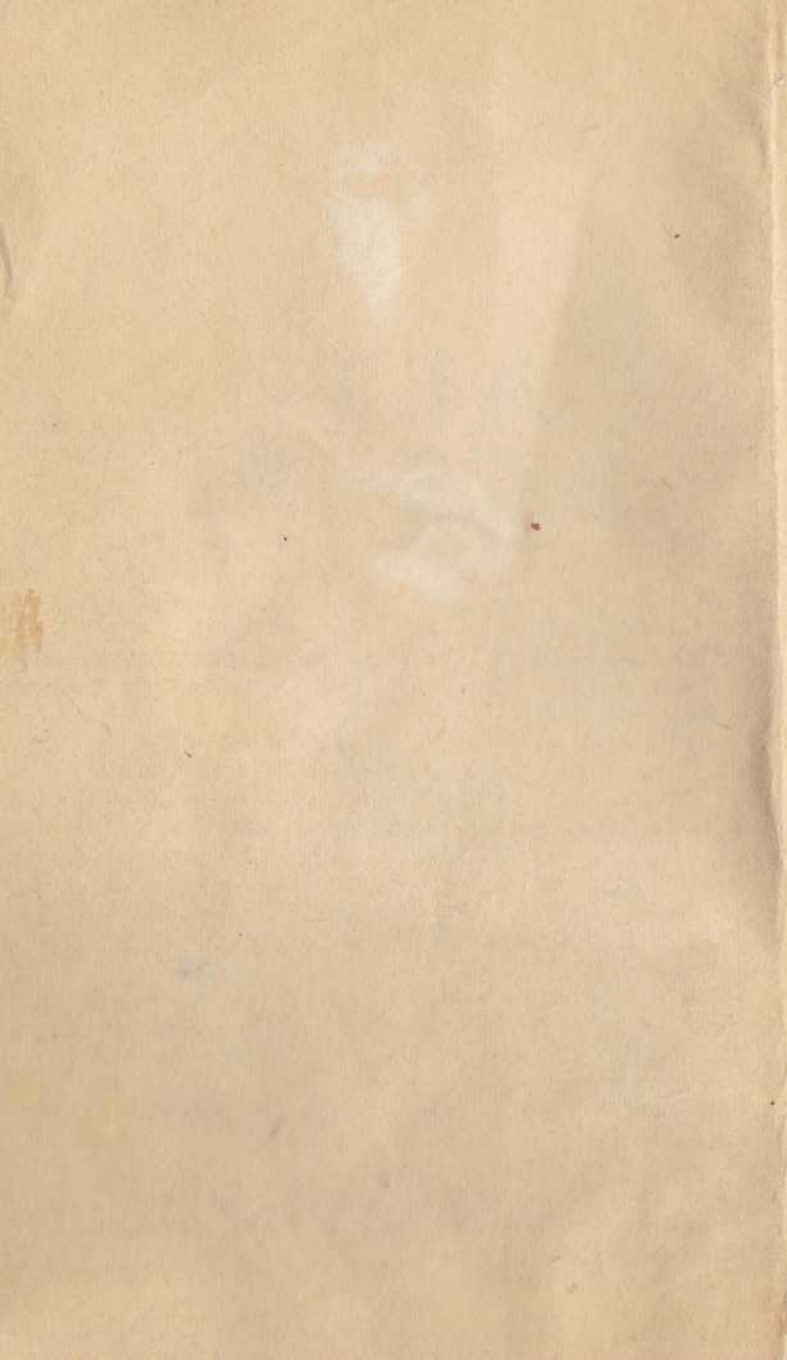
ЛЕТО В СТЕПИ



СТАЛИНГРАДСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1956

- 17X13 -

Д.К.
1955



ГЛАВА I

Щербинские приехали на вокзал за час до отхода поезда. Все утро перед отъездом Александр Петрович ворчал на всех, что сборы в дорогу шли медленно. Ему казалось чего проще, взял чемодан, побросал в него вещи, закрыл крышку, щелкнул замком и все!

Но у Натальи была своя манера собираться. Чемодан до последней минуты оставался открытым, и это действительно создавало впечатление, что еще ничего не готово к отъезду. Между тем, Наталья спокойно, не спеша, укладывала вещи. Иногда, задумавшись на минуту, она вдруг начинала разбирать, казалось, готовый к упаковке чемодан.

— Бритву, Саша, я положила на самое дно, — говорила она, — а вот мыло, полотенце лежат сверху.

Александра Петровича раздражала медлительность Натальи, но ему и в голову не приходило, что он мог бы собраться сам. Всегда за него это делала Наталья. Томясь предотъездными часами, он слонялся по комнатам, решительно не зная, как убить время. Работать он уже не мог. Малейшее нарушение привычного режима выбивало его из колеи.

Войдя в комнату, где была Наталья, Александр Петрович перешагнул через скомканную плащ-палатку, выразительно взглянул на часы и сказал:

— Ого! Сколько уже времени!

Наталья, занятая своим делом, казалось, не замечала ничего.

— Наташа! Ты слышишь?

— Слышу, — спокойно ответила Наталья.

Александр Петрович ушел, но через несколько минут снова вернулся.

— Наташа! Следует поторопиться!

— Но ведь укладываю же я! — ответила Наталья уже с обидой в голосе.

Александр Петрович прошелся по комнате, стараясь подавить закипавшее в нем раздражение, но увидев, что Наталья вновь достала из чемодана только что уложенную туда рубашку, не выдержал и сказал сухо:

— Если ты не хочешь, чтобы я опоздал к поезду, пора кончать сборы!

— Ах, боже мой! — воскликнула Наталья. — Ну, дай же мне спокойно собрать вещи! И она с шумом захлопнула крышку чемодана.

Александр Петрович сдвинул брови и молча принялся затягивать чемодан ремнями. По его нахмуренному лицу и резким порывистым движениям Наталья видела, что он раздражен. И раздражен именно против нее. Ей стало обидно.

«Уезжает на полгода... Последние минуты дома, а сам... слова спокойно сказать не может...»

— Я не понимаю, Саша... Что за спешка? У тебя странное желание поскорее сбежать из дому...

— Довольно! — резко сказал Александр Петрович, задетый слезами, которые чувствовались в голосе жены. — Сейчас не время для объяснений...

На вокзал они приехали, конечно, рано. Щербинский сверил свои часы с железнодорожными, смущенно сказал:

— Мои спешат! — и мельком взглянул на жену.

Наталья ничего не ответила. Холодное замкнутое выражение ее лица, которое Александр Петрович терпеть не мог в ней, лучше слов говорило ему, что Наталья обижена, что неправ он был в ссоре с женой.

«Всегда так, — подумал Щербинский с раздражением, — всякий пустяк возводится чуть не в драму...»

Ему очень неприятно было, что размолвка их произошла перед самым отъездом. Уедет он, а она останется с этим чужим, холодным лицом, и это лицо все время будет стоять перед глазами.

«Нет, так нельзя уехать, надо помириться...» — решил Щербинский. Но как помириться? Не так-то просто сказать первому: «Я виноват, Наташа...»

В то же время стоять рядом и молчать с напряженными лицами было мучительно, и Александр Петрович, оставив Наталью возле вещей, пошел вдоль платформы.

Его начинало удивлять, что никого из участников экспедиции до сих пор не было видно. Впрочем, посадка еще не была объявлена, перрон казался пустынным, и только у багажного вагона, где шла погрузка лабораторного оборудования, было оживленно.

Александр Петрович направился туда. Ящики, тюки, сгруженные с тележек, горой лежали возле вагона. На багажных бирках химическим карандашом было написано:

«Разъезд № 78 Ст . . . ской железной дороги. Комплексной экспедиции по полезащитному лесоразведению».

Александр Петрович поздоровался с Брынзой, завхозом экспедиции, под наблюдением которого шла погрузка, спросил его о бурах, не забыли ли их взять из мастерской.

— Да что уж вы, Александр Петрович! — обиделся завхоз. — Не впервой снаряжаю вас...

Брынза был черноволос, сухопар. Черные пышные усы под горбатым носом придавали ему свирепый вид.

Разговаривая с Брынзой, Александр Петрович наблюдал за погрузкой. Вот двое рабочих с трудом подняли тяжелый ящик с надписью: «Не кантовать!» и бережно внесли его в вагон. Вышли они оттуда, вытирая пот просмоленными рукавицами, и снова взялись за какой-то тюк.

Александр Петрович постоял возле вагона несколько минут и вернулся к Наталье. Она сидела на чемодане, рассеянно глядя перед собой и так задумалась, что не слышала шагов мужа. На лице ее не было и следа того холодного гордого выражения, которое еще совсем недавно было на нем. В горько опущенных уголках губ, в глазах, устремленных в одну точку, было столько горя, что Александр Петрович почувствовал себя пристыженным.

— Ты сердишься на меня, Наташа, — спросил он в раскаянии, но все еще исподлобья глядя на жену.

«Конечно, сержусь...» ответили глаза Натальи, полные слез.

— У тебя подворотничок пришит криво, — вслух сказала Наталья мягко и, встав с чемодана, прохладными пальцами прикоснулась к шее мужа.

Александр Петрович поймал ее руку и поцеловал.

Его точно живой водой сбрызнули. Снова на лице появилось оживление, глаза заблестели, движения стали размашисты. Он поправил на плече ремешок полевой сумки и, завидя кого-то из экспедиции, закричал:

— Иван Иванович! Володя! Сюда!

Со слов мужа Наталья знала, что Иван Иванович Денисов — парторг, а Володя — студент-дипломник. Она повернулась в ту сторону, куда смотрел муж, и увидела Денисова. Среднего роста, широкоплечий, в сером костюме, хорошо облегавшем его плотную фигуру, он шел к ним, легко неся в руке большой чемодан.

Подойдя, Денисов поставил чемодан у ног и улыбнулся. Его нельзя было назвать красивым, но Наталье понравилась улыбка Денисова. Он морщил губы, стараясь удержать ее, а улыбка прорывалась в глазах, и они открыто, весело смеялись.

Александр Петрович, здороваясь, энергично встряхнул обеими руками поданную парторгом руку.

— Так, значит, поработаем, Иван Иванович! А!

В этом «А!» было столько мальчишеского нетерпения поскорее приняться за дело, что на Щербинского нельзя было смотреть без улыбки, и Наталья улыбнулась. В ее глазах сквозь тонкую, еле уловимую иронию, можно было прочесть обожание.

— Поработаем, поработаем, Александр Петрович! — ответил Денисов.

— Да! — спохватился Щербинский. — Вы незнакомы! Моя половина! — небрежно бросил он.

«Настоящая блондинка!» — подумал Денисов, пришедшей почему-то в голову, стереотипной фразой.

У Натальи и в самом деле были светлые волосы, заплетенные в косу, они тяжелым узлом лежали на затылке. Но кожа ее была того золотисто-смуглого, теплого оттенка, какой бывает только у женщин с темными глазами.

— И вы с нами? — спросил Денисов, пожимая руку Щербинской.

— Нет, что вы! Куда мне!

— А что так? — Глаза Денисова внимательно смотрели на Наталью. Ей стало не по себе под этим настойчивым вопрошающим взглядом.

— Куда там! Обросла хозяйством, детьми! — махнув рукой, сказал Александр Петрович и засмеялся. Де-

нисов так и не понял, чему он смеялся. То ли он рад был тому, что Наталья прочно привязана к дому, то ли смехом своим прикрывал смущение, что все так случилось.

Наталья тоже улыбалась, хотя на самом деле, ей было горько. Она завидовала этим людям — мужу, Денисову, студентам, которые сейчас шумной ватагой с рюкзаками за плечами ввалятся в вагон, сразу станут в нем хозяевами, затеют спор, будут говорить о работе, с нетерпением ожидая, когда поезд домчит их до места, и они смогут, наконец, заняться делом.

А она, Наталья, пойдет к себе домой. В квартире будет пусто, тихо, как всегда бывает после отъезда близкого человека. Дети разбегутся кто куда. Она поднимет с полу забытую мужем сапожную щетку, сядет на стул и будет сидеть одна...

— Наташенька! — услышала она голос мужа. — Иван Иванович спрашивает, не сможешь ли ты приехать к нам в экспедицию. Он собирается предложить тебе интересную работу.

— Мне... Работу? Какую? — невольно улыбнувшись, спросила Наталья. Так неожиданна была для нее сама мысль о возможности работы в экспедиции.

— Я слышал от Александра Петровича, что вы занимались корнями...

— Да, я интересовалась когда-то корнями злаков.

— Скромничает! Смею тебя заверить, Иван Иванович, что лучшего специалиста по корням ты не найдешь. Она эти корешки так разделявала, что любо-дорого. Помнишь, Наташа, Барабинскую степь?

Еще бы ей не помнить Барабинской степи! Они с Александром ездили в Барабу в первый год после окончания университета. В маленьком полевом вагончике, где они жили, удушливо пахло смолой, полынью. Вагончик стоял на берегу озера, по утрам просыпались они от утинового криканья. Александр выходил с ружьем, и к обеде у них была дичь, зажаренная на костре.

В то лето они оба хорошо поработали. Александр составлял почвенную карту Барабы, она занималась корнями. Профессор, под руководством которого она вела исследования, предложил работать по корням и дальше. Но... родилась Леночка, и в следующее лето она уже не могла поехать. Александр уехал один. Он хотел остаться,

чтобы помочь ухаживать за ребенком, но Наталья не позволила. Она не могла допустить, чтобы семья помещала ему в работе. С тех пор Александр всегда уезжал один. А она... она оставалась дома, нянчилась с детьми, занималась хозяйством и... ждала его...

— Грешно, Наталья Михайловна, зарывать свои таланты. Есть хорошая притча о рабе лукавом и ленивом, — сказал Денисов, но, заметив, что от этой шутки глаза Натальи стали грустными, понял, что задел болезненное место и поспешил сказать:

— Вот я и обидел вас...

— Нет, что вы! — живо откликнулась Наталья, невольно этой своей живостью выдавая, что действительно обиделась.

Денисов сделал вид, что не заметил ее увлажнившихся глаз.

— А все-таки я убежден, что вам надо вернуться к работе, — твердо сказал он.

— Не знаю, право, — нерешительно ответила Наталья, — ведь я связана... дети...

— Гм... дети! — вскричал Александр Петрович. — Да что они маленькие что ли! Без тебя обойдутся! В их годы, милая моя, семью нередко содержат. Словом решено, Иван Иванович, — тоном, не допускающим возражения, заявил Щербинский, — как только у детей закончатся экзамены, она приезжает к нам. Ведь так, Наташа?

— Я подумаю...

— И думать тут нечего. Пора, давно пора тебе вернуться к работе. А! Ярослав Иванович! Здравствуйте дорогой! Что-то вы запаздываете, батенька мой!

И Александр Петрович, забыв о Наталье, устремился навстречу высокому грузному человеку, пробиравшемуся к вагону. Денисова окликнули, он отошел, Наталья осталась одна.

«Как скоро он решил все, — с горечью думала она о муже. — Как будто это так просто, уехать, бросить детей...»

Ее обидело несерьезное отношение Александра Петровича к предложению Денисова.

На перроне между тем становилось все более шумно. То и дело подходили к вагону отъезжающие. Вот подошла большая группа студентов-практикантов. Их встретили радостными возгласами, шутками, смехом. Из ваго-

на тотчас же протянулись руки, помогая втащить багаж взобраться на подножку.

— Галка! Ну давай же руку!

— Рюкзак! Кто взял мой рюкзак! Володька, он у тебя?

Наталья стояла в сторонке и с грустной улыбкой наблюдала всю эту суматоху. Да, когда-то и она вот так же, как эта девушка, с оживленным счастливым лицом, которую подруги почему-то называют Галкой, хотя она совершенно беленькая, уезжала на свою первую полевую практику. Это было еще до их встречи с Александром. Никогда потом не испытывала она такого счастливого волнения, как в ту первую свою поездку.

Наталья задумалась. Она не слышала, как подошли к ней Александр Петрович и Денисов.

— Ну что же, пора по местам! — сказал Александр Петрович, взглянув на часы. — Осталось две минуты.

Только две минуты! У Натальи сжалось сердце. Она взглянула на мужа. Александру Петровичу почудился упрек в ее взгляде. В самом деле, как он мог забыть о ней, оставить ее одну. Ведь они только что помирились...

Он взял руку Натальи и несколько раз поцеловал.

— Ты будешь писать, Наташа? — спросил он, вглядываясь в ее лицо. На подножку вагона он прыгнул, когда поезд уже тронулся.

* * *

С вокзала Наталья шла медленно. В ушах продолжали звучать прощальные возгласы, голова слегка кружилась от шума и суетни, царивших на перроне. Взмолвленная прощанием с мужем, предложением Денисова включиться в работу экспедиции, Наталья шла по оживленным улицам почти ничего не замечая вокруг. В квартире ее встретила тишина. Наталья прошла в спальню, машинально сняла перед зеркалом шляпу и опустила на стул.

«Что-то делает сейчас Александр?» — подумала она. И вдруг на глаза ее навернулись слезы. Наталья сама не знала, что с ней сегодня. Ведь давно пора было привыкнуть к неизбежным разлукам с мужем. Почему же сегодня ей особенно грустно. Может быть, причиной тому их сегодняшняя размолвка?

Наталья поторопилась вытереть слезы и вышла на балкон.

Здесь было солнечно и тепло. Стояли ящики из-под прошлогодних цветов с черной осевшей землей, валялась заброшенная Юрой футбольная камера. Наталья оперлась на перила балкона и посмотрела вниз. Снегу в городе уже не было. Ветер кружил, гнал по асфальту прошлогодний мусор: истлевшие листья, обрывки бумаги. Деревья в парке были еще голы, и оттаявшая земля казалась холодной, но все в городе говорило уже о весне. И синее небо, сквозившее между черными, точно обуглившимися ветвями акаций, и свежий ветер с реки, только что сбросившей лед, и тот веселый неумолчный гомон, что стоит на улицах только весной, когда далеко в воздухе разносится и скрип лебедки, и голоса играющих на асфальте детей, и крикливый щебет воробьев.

Наталья вздохнула. Весну она любила больше всех времен года. Еще бывало в детстве, проснувшись, выбежала она на крыльцо, и сразу охватывала ее бодрящая свежесть мартовского утра. От воды, днем сбегавшей с крыш, ступеньки были скользкими, подмерзшими.

Стояла на крыльце девчонка и радовалась тому, как мир хорош, и сколько неизведанного ее ждет впереди, а потом хватала ведра и по хрупкому насту бежала за водой. Разбивала ковшиком тонкую пленку льда и черпала из лунки чистую, как слеза, снеговую воду. Ее все радовало: и воздух, пахнувший талым снегом, и синее небо, похожее на льдину, которую только что провезли с реки. Странно, но всего сильнее Наташа ощущала весну губами. Она чувствовала, как в губах пульсирует кровь, и это лёгкое трепетание больше всего говорило ей, что она молода, здорова, мир прекрасен, и что впереди ее ждет счастье.

С этим ожиданием счастья она и встретила Александра. Это было тоже весной. Сдав трудный экзамен, они с подругой бежали домой. Под ногами звенели тонкие льдинки, затянувшие лужицы. С крыш ворча сползал подтаявший за день снег. На светло-зеленом небе зажигались первые звезды. Улицы, освещенные окнами магазинов, казались особенно оживленными. Голоса звучали радостней, возбужденней. Хотелось беспричинно смеяться, дурачиться, бежать вперед, расталкивая прохожих, которые против обыкновения не обижались.

— Эй, девчата! Сдали? — окликнул их Костя Петров, студент-однокурсник.

— Сдали!

— Счастливые! Много спрашивал? По всему курсу! Ай-яй-яй! Пропал! Честное слово пропал! — Костя с деланным отчаянием вцепился в волосы.

— А по сему случаю пошли в кино!

Девушки засмеялись, нерешительно переглянулись. У них, собственно, вечер планировался иначе...

— Да чего там, Наталья! Пошли! — сказала Аня, она была пермячка и говорила на «о».

Наташе тоже хотелось продлить праздничное настроение, она мельком взглянула на высокого студента, который стоял рядом с Костей. Он протянул руку, сказал:

— Александр!

«Саша», — почему-то подумала Наталья. Имени «Шура» она не любила.

Александр показался Наташе красивым, но, пожалуй, по-настоящему хорошо в нем было только сочетание черных волос с синими глазами. Она и раньше видела его на студенческих вечерах и знала, что он был студентом старшего курса того же факультета.

Купив билеты, они вошли в кино. Жиденький оркестр наигрывал какую-то мелодию, но так и не мог заглушить сдержанного гула, стоящего в фойе. Посреди зала бил фонтан, плавала в нем стайка золотых рыбок. Наташа опустила руку в воду. Рыбки, пугливо вильнув хвостами, уплыли на противоположную сторону бассейна. Наташа засмеялась, взглянула на Александра. Он стоял рядом, слегка подавшись вперед, ловя разгоряченным лицом мелкую водяную пыль.

Потом Наташа так и не могла вспомнить, о чем они говорили. Какую картину они смотрели тогда, она тоже не запомнила. От этого посещения кино у ней осталось ощущение удивительной близости к человеку, которого она впервые встретила. Когда погас свет, и он взял ее руку в свои, она не отняла руки. Растерянная, в смятении новых чувств, она сидела, смотрела на экран, на котором метались какие-то тени, и хотела только одного, чтобы этот сеанс никогда не кончался.

После экзаменов всех студентов отправили на лесозаготовки для университета. К обоюдному удивлению На-

таша и Александр оказались в одной бригаде. Впрочем, Александр удивился притворно. Ему немалых трудов стоило обменяться местами с кем-то из ребят.

Однажды, когда Наталья и Александр сидели вечером на берегу реки, Александр сказал о своей любви. Наташа мучительно покраснела. Ломая в пальцах сухую веточку тополя, не поднимая глаз, она ответила что лучшие, по ее мнению, отношения между мужчиной и женщиной товарищеские отношения, и что она не допустит того, чтобы он относился к ней, как к женщине.

Говорила она это с серьезным видом, подражая комсору своей группы, девушке очень некрасивой, за которой никто из ребят не пытался даже ухаживать.

Александр вначале с недоумением смотрел на Наталью, потом расхохотался:

— Ох, и какой же ты еще детеныш, Наташка! — сказал он. Привлек ее к себе и властно поцеловал в губы, несущие такую ересь.

Они стали каждый день встречаться. Наташа с нетерпением ждала этих встреч, но иногда ее отпугивало поведение Александра.

— Когда же ты будешь моей, совсем моей! — говорил он, целуя ее. В такие минуты Наталья замыкалась в себе. Она тихо, но настойчиво освобождалась из объятий и отодвигалась. Что-то оскорбительное, нечистое чудилось ей в этих ласках. Они холодно расставались.

Все последующие дни Наташа не находила себе места. Не видя Александра, страдая от невозможности взять его за руку, улыбнуться в ответ на его улыбку, она шла к нему. Он встречал ее счастливый, благодарный за то, что своим приходом она прервала мучительные для него дни, и давал себе слово никогда больше не огорчать ее.

Любимым местом их встреч был берег реки. Они садились на крутом обрыве и сдержанно разговаривали, как только что познакомившиеся, о посторонних вещах. Первый не выдерживал этой пытки Александр. Он брал руки Наташи в свои и шутливо, пряча за шуткой еще не улегшуюся обиду, спрашивал:

— Надеюсь ручку, Наташенька, мне можно поцеловать?

Наташу больно хлестала горечь, которая была в словах Александра.

— Не пойму я, Наташа, — говорил Александр, за-

думчиво глядя на розовеющую от заката воду, — порой мне кажется, что не любишь ты меня...

— Ну как мне доказать, что я люблю тебя! — говорила дрогнувшим голосом Наташа. — Хочешь, я спрыгну с обрыва? Хочешь? — спрашивала она настойчиво и, привстав, делала движение к обрыву.

— Чудачка ты! — говорил он, удерживая ее. — Разве этим доказывается любовь... И осторожно гладил ее руку.

На третьем курсе они поженились. Прежде, чем случилось это, у них было много колебаний. Александру казалось, что с женитьбой придется поставить крест на научной работе. Между тем, он еще на первом курсе увлекся почвоведением, наукой о плодородии почвы, участвовал в экспедициях, готовил к печати свою первую работу. Наталья тоже боялась, что замужество помешает ей закончить университет. Примеров к тому было много. Замужние студентки или совсем отрывались от учебы или плелись в хвосте. Вечно недосыпающие, подурневшие, опустившиеся (до себя ли тут), они казались мученицами. Перед лекциями надо было отнести ребенка в ясли, после лекции взять его, выкупать, накормить, уложить спать, выстирать пеленки. Даже в перерыв между лекциями они ухитрялись сбегать в молочную кухню. Все бывало еще полбеды, пока ребенок был здоров, а если заболел? Прощай учеба!

Но Наташа старалась гнать эти опасения и сомнения. Когда Александр однажды заговорил о том, к чему может повести их женитьба (визг, писк, пеленки, бутылочки с молоком), она ответила беспечно:

— Ну что ты, Саша! Не пять же человек у нас будет!

Александр, которого покорила ее беспечность, сказал сухо:

— Достаточно одного!

Оживление слетело с лица Натальи. Вот почему, когда они поженились, она дала себе клятву: никогда, ни на минуту Александр не должен был пожалеть о том, что соединил свою судьбу с нею.

С первых дней замужества она поняла, что нелегкая жизнь предстоит ей. Оправдались слухи о нем, как о «трудном парне». Александр был вспыльчив, самолюбив.

Наташу пугали резкие переходы в настроении мужа. Страстная нежность к ней вдруг сменялась полным пре-

небрежением, которое не только не скрывалось, но всячески подчеркивалось. В глубине души Наталья должна была сознаться себе, что не о таком счастье мечтала она, когда ждала «его» единственного. Но это не мешало ей любить Александра страстно, нежно.

Оставленный после окончания университета при кафедре почвоведения Александр много упорно работал. Наблюдая его в часы творческого подъема, стремительного, ищущего, беспокойного, Наталья думала, что он рожден для науки. Лекции, руководство кафедрой, летом экспедиции, зимой обработка собранных материалов за лето, подготовка статей для печати, научные конференции, доклады. Работа захватывала его целиком. В тридцать пять лет он защитил докторскую диссертацию «О почвенных комплексах Нижнего Поволжья» и слыл в своей области крупным специалистом. С мнением его очень считались и часто обращались к нему за советом в затруднительных случаях.

Больше всего опасаясь, что семья помешает Александру заниматься наукой, Наталья все обязанности по дому и воспитанию детей взяла на себя. Но совмещать дом и работу было тяжело и стало совсем трудно, когда появился третий ребенок. Пришлось оставить работу.

Александр Петрович отнесся к этому, как к неизбежному злу:

— Что ж поделаешь, Наташа, — сказал он, — такая уж женская участь ваша.

И Наталья смирилась. Она вся отдалась детям. Няни она не держала, считая, что сама может выполнить всю работу по дому и уходу за детьми.

Да и материально было трудно. Приходилось помогать родным, а дополнительного заработка не было. Не потому, что нельзя было иметь его, наоборот, Александра Петровича то и дело приглашали читать лекции на стороне, но он отказывался, считая, что пока работает над диссертацией, ему не следует разбрасываться. Наталья была согласна с ним и ни слова упрека в том, что ей трудно сводить концы с концами, не услышал он от нее за все годы. Наоборот, когда дело шло к концу месяца, и денег оставалось совсем немного, она больше всего боялась, как бы Александр не узнал об этом.

Александр Петрович и не подозревал о денежных затруднениях Натальи. Нередко он говорил ей:

— Наташа! В когизе продают прекрасное издание Вильямса. Пожалуй, надо купить. Правда у нас уже есть одно (И Александр Петрович бросал оценивающий взгляд на книжную полку, где стоял купленный в прошлом году Вильямс). Но это издание гораздо лучше...

И Наталья беспрекословно выкладывала деньги, предназначенные на покупку обуви для малыша или на уплату за квартиру. Александр Петрович редкий день являлся домой без книги. У него вошло в привычку прямо с лекций, не заходя домой, обходить все книжные киоски и магазины. С годами у Щербинских составила прекрасная библиотека.

Дни Натальи шли однообразно. Отправив Александра Петровича в университет, Наталья бежала на рынок, в магазины, потом готовила обед и, видя, что приближается время прихода мужа домой, нервничала. Скорей, скорей все привести в порядок: вымыть полы, выкупать детей, переодеть их, чтобы когда пришел отец в квартире было уютно, чисто, обед готов, стол накрыт, чтобы дети не пищали, не шумели. И наказав им: «Придет папа, играть тихо! Никакой возни и писку. Папа устал на работе, ему нужно отдохнуть!» Наталья кидалась к зеркалу.

Не задумывался Щербинский и над тем, каких трудов Наталье стоило поддерживать порядок в доме. И когда он начинал удивляться тому, что жизнь их совсем не похожа на ту, что рисовало ему воображение («визг, писк, пеленки, бутылочки с молоком»), Наталья только загадочно усмехалась.

«Милый мой, — думала она, — ничего-то ты не знаешь, ничего-то ты не подозреваешь. И у нас этого беспорядку, реву и кутерьмы сколько угодно. Дети у нас, как дети, и подерутся и поревут без тебя. А как хотелось бы иной раз махнуть рукой на всю эту домашнюю возню, нудную, утомительную, однообразную. Лечь в постель (не притвориться больной, а в самом деле заболеть!) и сказать тебе, когда ты придешь домой: «Ну-ка, милый муженек, принимайся-ка сам обед готовить. Да вначале на рынок сбегай, потом печи протопи да воды нагрей, да детям рубашки выстирай, да...».

Разве мало этих «да». Умыть, накормить, спать уложить, десять раз в день каждому штанишки расстегнуть, застегнуть. И как только эти женщины выдерживают!

Как она, Наталья, в состоянии изо дня в день, точь машина, делать одно и то же. Вероятно, только потому: что очень любит Александра и не хочет, чтобы «семейные будни» затянули его, погубили в нем ученого.

Но иногда точно злой дух вселялся в Наталью. Сознание того, что труд ее нужен Александру Петровичу нужен детям, уже не удовлетворяло. Она думала: «Не ужели всю жизнь придется быть только кухаркой и нянькой?» Ей становилось тяжело и стыдно. Она не находила оправдания своему существованию. Кругом были тысячи примеров тому, как женщина выходила на широкую общественную дорогу. Вчерашняя неизвестная никому колхозница сегодня становилась героиней труда. Ей доверяли, ее выбирали депутатом Верховного Совета, к ней шли письма со всех концов Советского Союза. А она, Наталья, кончившая один из лучших вузов страны, сидела дома. Разве она не могла работать, как работает Александр? Конечно, могла бы. Но у него в кармане пиджака лежал тисненый золотом диплом профессора, доктора наук, а она, когда ей приходилось заполнять какую-нибудь анкету, вся сжавшись, выводила: «домашняя хозяйка».

В один из таких дней неудовлетворенности жизнью, собой Наталья сказала мужу, пряча за шуткой горечь:

— Я сегодня подсчитала, Александр, сколько времени потратила на мытье только одной посуды. Если брать в среднем час в день, то в год получается триста шестьдесят пять часов. За двадцать лет — свыше семи тысяч. А если принять во внимание все остальные виды домашней работы: стирку, штопку белья, рынок, обед, уборку квартиры и прочее и прочее, то получаются астрономические цифры...

Александр Петрович молчал, не совсем понимая, о чем говорит Наталья, зачем ей понадобились эти подсчеты.

— Эх, ты! Доктор наук! — засмеялась она, ероша его волосы. — Да если бы я затратила эти часы на научную работу, я бы, наверное, уже академиком стала!

Точно стремясь наверстать упущенное, Наталья зарывалась в книги. Читала, конспектировала, делала выписки. За месяц напряженной, в основном ночной, работы она успевала ознакомиться со всеми новинками в той

области, которая ее интересовала. За этот месяц она худела, чернела, в глазах ее появлялся тревожный блеск.

— Не пойму я, Наташа, что тебе надо? — говаривал в таких случаях Александр Петрович. — Живешь ты, как у Христа за пазухой...

— Да, за пазухой... — задумчиво повторяла Наталья, вкладывая свой горький смысл в это слово.

Угнетало Наталью и то, что с годами Александр Петрович все больше и больше отдалялся от нее. У него уже не было потребности, как бывало раньше, придя из университета, поделиться с нею всем, что произошло за день.

Наталью это обижало. Она-то ведь не переставала жить интересами мужа. Она все время думала о нем. То беспокоилась, как он прочитал лекцию, к которой долго серьезно готовился, то думала: чем-то кончится его разговор с ректором по поводу научной командировки в Академию Наук. Не дай бог, если Александр, погорячившись, поговорил ректору лишнего, и так в последнее время отношения их натянуты...

Александр Петрович приходил домой, садился обедать, развешивал газету. Еще со студенческих лет у него осталась скверная привычка читать во время еды. Ел Александр Петрович быстро, почти не замечая того, что ест. Это тоже обижало Наталью. Сколько стараний прилагала она, чтобы обед был вкусным! На вопросы Натальи Александр Петрович отвечал коротко, рассеянно, лишь бы не быть невежливым. Наталья не выдерживала и говорила:

— Нельзя же так, Саша! Весь день мы не виделись, а тебе точно и сказать нечего. Неужели сегодня у вас не произошло ничего интересного...?

— А что могло произойти? — удивлялся в свою очередь Александр Петрович и даже есть переставал. — Работали, как всегда. После лекций было заседание кафедры, потом вызывал ректор... Да и не умею я говорить, Наташа, — уже оправдывался он, видя ее огорчение.

Это было верно. У Натальи, просидевшей весь день дома в четырех стенах, с детьми, всегда находилось что-то такое, о чем интересно было рассказать мужу.

Принимая законный упрек Натальи, понимая, что для нее, оторванной от жизни, он являлся единственным связующим звеном с тем миром, который она оставила

ради него и детей, Александр Петрович некоторое время добросовестно докладывал Наталье обо всем, чем жили в университете, на факультете, на кафедре, но скоро забывал об этом. И только когда с ним случалась какая-нибудь неприятность (чаще всего нелады с деканом или ректором), он прибегал домой взволнованный и выкладывал Наталье все с удивительной подробностью. Нередко даже из его пристрастного рассказа она видела, что он бывал неправ и прямо заявляла ему об этом. Он спорил, не соглашался. Она обвиняла его в неумении и нежелании ладить с людьми.

Александр Петрович возбужденно бегал по кабинету из угла в угол и, остановившись перед нею, говорил:

— Извини, пожалуйста! Подхалимом не был и не буду!

— Сохранять собственное достоинство, не значит быть подхалимом, — настаивала Наталья. Потом глаза ее начинали смеяться, и она говорила:

— Сознайся, Саша, ты просто напросто любишь хо-рошую драку...

— Люблю, Наташка! — с неожиданным смирением соглашался он, укрощенный тем, что она понимает его. — Так иной раз и чешутся руки!

Иногда, еще не остыв от «драки», Александр Петрович садился за стол и тут же строчил на машинке докладную записку на имя ректора, письмо, или заявление ультимативного порядка. Потом, не запечатывая конверта, передавал Наталье со словами:

— Отправь, пожалуйста, завтра!

Отправкой корреспонденции ведала она. Прочитав написанное (конверт ведь не был запечатан, следовательно, это не возбранялось), Наталья решала, что отправлять письмо нельзя. Тон его был дерзкий, вызывающий и нередко оскорбительный для того, кому письмо адресовалось. Зная, что сам Александр Петрович, успокоившись, пожалеет о написанном, Наталья со спокойной совестью убирала письмо в стол.

Через несколько дней, когда все на факультете входило в свою колею, и Александр Петрович успокаивался, Наталья открывала ящик письменного стола и, как бы ненароком, обнаружив неотправленное письмо, вполне естественным тоном говорила:

— Да! Саша! Ведь я совсем забыла отправить твое

письмо. Прочти, может быть, ты что-нибудь добавишь к нему?..

Александр Петрович пробежал письмо глазами и рвал его на мелкие клочки. Догадывался ли он о хитрости Натальи, или принимал ее маленькую ложь за чистую монету, трудно сказать. Может быть, и догадывался. Возможно потому и передавал он ей корреспонденцию незапечатанной. С ее мнением он все-таки очень считался, хотя не хотел признаваться в этом даже себе.

* * *

Александр Петрович лежал в своем купе и читал. Но книга мало занимала Щербинского. Мысли его нет, нет да и возвращались к Наталье. Может быть, повинен был в этом отчасти Денисов. Когда поезд тронулся, и Александр Петрович вскочил на подножку, не сводя глаз с удалявшейся Натальи, Денисов спросил неожиданно:

— Ведь любишь?

— Люблю! — ответил Щербинский. — Люблю! — еще раз сказал он.

— Ну вот, а миришься с тем, что уезжаешь один.

— Что ж делать, Иван Иванович! Такова жизнь... Денисов досадливо поморщился.

— Не люблю я этой фразы. Прячемся мы за нее...

Александра Петровича уязвило это «прячемся», и он с жаром стал доказывать Денисову, что дело совсем не в желании спрятаться за что-то, а в том, что действительно все так сложилось в их жизни с Натальей. Но сейчас в мыслях, возвращаясь к разговору с парторгом, он подумал, что, может быть, и прав Иван Иванович, обвиняя его в том, что Наталья оторвалась от дела.

«Да, конечно, прав! Я во всем виноват! Не надо было допускать до этого», — думал Александр Петрович, прислушиваясь к перестуку колес. Теперь даже в этом перестуке ему чудилось обвинение.

«Так, так, так?» — тревожно, торопливо спрашивали колеса и тут же глухо отвечали себе: «Так, так, так!»

«Нехорошо у нас все с Наташей получилось. Нехорошо!»

Александр Петрович взъерошил волосы. Лицо Натальи с милыми глазами, полными слез, с чуть дрожащими губами, — таким оно запомнилось в последнюю минуту, — стояло перед ним.

Отложив книгу в сторону, Александр Петрович вышел в тамбур покурить. Оттого, что солнце было по ту сторону вагона, здесь было темнее, прохладнее и тише, чем в купе. В открытое окно врывался свежий весенний ветер, он растрепал волосы Александра Петровича. Ветер приносил запах нагретой солнцем земли, запах отмерших степных трав.

За окном в воздухе была та стеклянная прозрачность, которая всегда наступала в степи во второй половине дня. По синему далекому небу лениво скользили белые большие облака. Те из них, что были ближе, уплывали назад, дальние величаво скользили вперед наперерез поезду. И степь под ними тоже перемещалась. Вблизи железнодорожного полотна она стремительно убегала, унося на себе телеграфные столбы, будки путевых обходчиков, придорожные кусты. Вдали, плавно поворачиваясь, степь выступала вперед. Светлые, темные пятна полыни чередовались на ней.

Глядя на эту степь, Александр Петрович невольно, по привычке, наметанным взглядом определял, какие почвы залегали под тем или иным растительным покровом. Вот мелькнула вдали ровная площадка, покрытая белой полынью, и Александр Петрович отметил про себя, что росла эта полынь на слабозасоленном суглинке. А вон тот участок, черной полыни, что залег в понижении, наверняка имел под собой корково-столбчатый солонец. И черная полынь потому в состоянии была выжить на нем, что была она более солевынослива.

«Интересно, проскочило это растение солевой горизонт, ушло от солей или приспособилось к ним? — подумал Александр Петрович. — А что если поставить такой опыт: сделать срезы с растения и положить их в насыщенный раствор поваренной соли. Что будет? Как поведут себя клетки растения? Если растение само приспособилось к засолению, то клетки его прекрасно сохранятся в растворе, потому, что сами они содержат большой процент соли. Если же растение не приспособилось, клетки и ткани его должны погибнуть. Если выяснится, что растение само приспособилось к засолению, то нельзя ли его приспособить искусственно? Взять набухшие семена, готовые к посеву, и на несколько часов опустить их в солевой раствор...».

«Поговорить с физиологами о постановке опыта», — решил Александр Петрович.

По дороге прошла машина, груженная чем-то. «Может быть, желудями?» — подумал Щербинский, проводив ее взглядом. Пыль плотной дымовой завесой стала за машиной. В этой пыли, задыхаясь и отхаркиваясь, нырял маленький «Газик». Наконец, ему удалось обогнать трехтонку. Он сделал рывок вперед, подпрыгнул на кромке дороги и проскочил мимо машины. Вот он уже далеко и виднеется на горизонте не больше спичечной коробки.

В тамбур вышел Денисов. Александр Петрович посторонился, давая ему место возле себя.

— Посадку еще не начали, а ведь на песках, пожалуй, и шелюговать* можно... — задумчиво сказал Александр Петрович.

— Да... ранняя весна нынче, подгоняет... — ответил Денисов. Он понимал, что сейчас тревожило Щербинского. Главное сейчас было — срочно, пока не упущены лучшие агротехнические сроки, приступить к посадке и посеву леса на опытных участках. О необходимости поторапливаться с лесом говорили все. Об этом напоминали заголовки газет, напоминало радио. Оно кричало из всех репродукторов:

«Посадить и посеять лес в сжатые сроки!»

Только что долетели до слуха эти слова, как из другого репродуктора, мгновением позже, доносилось:

«...сеять лес в сжатые сроки!»...

«Все лес и лес... — думал Денисов. — Ох, и трудно же будет вырастить его в степи»...

Точно в ответ на эту мысль Щербинский сказал:

— На водоразделе мы встретимся с такими почвами, Иван Иванович, где ничего не будет расти кроме кустарников. Придется нам довольствоваться временными насаждениями.

— Ну, что ж. Посадим пока лох, тамарикс, и пусть они себе одолевают солонцы, а лет через десяток видно будет... Денисову вспомнился недавний разговор с секретарем обкома, где секретарь высказал эту же самую мысль.

Кабинет секретаря выходил на Волгу. В распахну-

* шелюговать — насаждать шелюгу для укрепления песчаной почвы.

тое настежь окно врывался ветер, парусом надувал полотняную штору, и вся комната полна была воздуха, света. Из окна виднелась вздувшаяся и посиневшая Волга. Широкие разводья тянулись вдоль берегов ее. Маленький пароходик, испуганно вскрикивая, тыкался носом в кромку льда. Веселый гомон весны, повизгивание лебедки и дробный стук топоров, от строящегося по соседству дома, доносились в комнату.

Секретарь был уже немолод, но, очевидно, весна действовала и на него. Ему не сиделось на месте. Беседуя с Денисовым, он то подходил к окну и несколько мгновений смотрел в него, причем линия его рта, красиво и четко очерченного, становилась как будто мягче, то прохаживался по кабинету. Во всех движениях секретаря, в мягкой, почти бесшумной по ковру поступи чувствовалась гибкая сдержанная сила.

Вот он остановился у карты и стал говорить о том, что закладываемый в области лес изменит климат не только одной этой области, но и всего Юго-Востока.

— Мы первыми принимаем на себя удары горячих средне-азиатских ветров. Именно здесь, у нас, будет центр борьбы с засухой.

По тому, как секретарь подчеркнул: «Именно здесь, у нас!» видно было, что он гордился тем, что на долю его области выпала столь почетная роль в деле преобразования природы.

— Тысячелетиями наступала пустыня на степь, отвоевывая у человека плодороднейшие земли. Вон она! Протянула язык к самой Волге! — секретарь зло ткнул пальцем в желтое пятно на карте. — На три-четыре года один обязательно выпадает засушливый. Еще Ленин писал, что двадцать миллионов душ населения в России пухнут от голода в результате засухи и неурожая. Можем ли мы, большевики, мириться с этим. Нет, не можем. С засухой должно быть покончено и в самый ближайший срок!

Секретарь прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Постоял у окна, рассеянно глядя в белесую даль Заволжья и, повернувшись к Денисову, спросил неожиданно:

— Вы помните, как это сказано у поэта...

«Край Заволжский... Чабаны, отары,
Степь, полупустыня, солончак...

Редкие колодцы да кошары,
Здесь пути в Эльтон и Баскунчак...»

Да... «Здесь пути в Эльтон и в Баскунчак...» — медленно, точно в раздумьи повторил секретарь. Он продолжал стоять у окна, заложив руки назад. — И здесь мы должны вырастить сотни тысяч гектаров леса. Трудно будет, очень трудно. Много вопросов еще неясных, спорных, но каждое новое дело без этого не бывает. Область наша сложная. Север весь в дубравах, а в Заповжье и кустика не увидишь. — Здесь нельзя лесоразведение превращать в разновидность сельскохозяйственных работ. Ведь что значит разновидность сельскохозяйственных работ? — спросил секретарь и повернулся к Денисову. Очевидно, тема, которую он затронул, была его коньком. — Это вообще пашем — вспахали и под лес. Вообще сеем — попутно посеяли и лес. Нет, здесь так не пойдет. В условиях жесточайшей засухи вспахать надо по-особому, посеять по-особому и уход должен быть особый. Создать лес в степи не так просто. Здесь есть о чем поговорить, поспорить, может быть, даже кое-что и пересмотреть принципиально...

Затем секретарь заговорил о той почетной роли, которая отводилась ученым в этом большом и ответственном деле.

— Практика не может блуждать в потемках. Нужна срочная, действенная помощь науки. Ученые должны сказать: как скорее, как лучше вырастить лес в степи!

С этой целью и организуется ваша экспедиция. Она будет комплексной. Работать вы будете на трассе гослесополосы Сталинград—Степной—Черкесск. Здесь уже ведут изыскания несколько экспедиций, но лесорастительные условия трассы исключительно трудны, и требуются дополнительные исследования. На трассе заложены опыты по выращиванию дуба на каштановых и светло-каштановых почвах, которые представляют большой практический интерес. Опыты заложены профессором Щербинским. На базе этих опытов экспедиция и поведет свою дальнейшую работу. В ведении Щербинского будет научно-исследовательская часть работы, а ваша роль, товарищ Денисов, организующая, так сказать. И вы сами понимаете, что от того, насколько вам удастся сплотить коллектив экспедиции, мобилизовать ее на выполнение задач, стоящих перед ним, зависит

успех экспедиции, а следовательно, и самого дела. Не так ли? Я знаю, по профессии вы больше агроном, нежели лесовод. Ну что ж! Агронома нельзя отделять от лесовода. Проблему зерна на Юго-Востоке нам не решить без степного лесоразведения. У лесоводов большая сила. В ближайшие пять-шесть лет они должны увеличить валовой сбор зерна на 30—40 процентов...

— Должен предупредить, — продолжал он после некоторого раздумья, — что со Щербинским вам будет трудно. Горяч, действует иногда необдуманно. Но оба вы коммунисты и всегда найдете общий язык. Ну, желаю вам успеха!

Вспоминая сейчас этот разговор с секретарем во всех деталях, Денисов подумал о том, что, повидимому, и в самом деле ему нелегко придется со Щербинским, если уже сам секретарь счел нужным предупредить его об этом. Он искоса взглянул на Щербинского.

Фигура Александра Петровича четко вырисовывалась в окне. Он был высок, сухощав. Щеки чисто выбриты, голова была откинута назад. Эта гордая посадка головы создавала впечатление, что Щербинский всегда идет против ветра.

«Что ж, поживем, увидим!» — мысленно сказал себе Денисов.

Солнце заметно клонилось к западу. Степь порозовела. Тени от поезда пролегли по ней. Даль стала особенно ясна.

Щербинский бросил окурок в окно и ушел в свое купе.

Денисов остался в тамбуре. Ему хотелось побыть одному. Мысль о предстоящей работе волновала его. Впервые в жизни он отправлялся в экспедицию да еще в роли парторга. Справится ли он? Сумеет ли подойти к людям, помочь им. Ведь в университете он человек новый, и работников его знает мало.

Денисов действительно был в университете человеком новым. После окончания агрономического факультета он несколько лет работал рядовым агрономом, потом заведывал сельскохозяйственным техникумом. В 1939 году воевал с белофиннами, снова вернулся в техникум, но не надолго. Началась Отечественная война. Как командир запаса Денисов получил повестку в первый же день. В армии все четыре года был политруком.

Два раза был ранен, но не сильно, во всяком случае он сам считал так. После демобилизации его послали восстанавливать разрушенное хозяйство области, потом отозвали в аппарат, в отдел агролесомелиорации. Год тому назад ему предложили прочитать небольшой курс в университете, он справился с поручением и остался преподавателем на кафедре агролесомелиорации. Работа эта уже обязывала ко многому. Наверстывая упущенное, Денисов упорно работал над собой, подготовил и сдал кандидатский минимум и приступил к диссертации, тему и общие положения которой он вынашивал в течение ряда лет, задумав ее еще будучи агрономом. Диссертация его была тесно связана с лесом. Выполняя ее, Денисов столкнулся с очень интересными явлениями в развитии корневых систем деревьев, растущих на светло-каштановых почвах, и теперь в экспедиции рассчитывал серьезно заняться корнями дуба и ясеня.

«Хорошо, если бы Щербинская приехала в экспедицию» — подумал он о Наталье.

В купе, куда вернулся Денисов, и где, кроме него и Щербинского, ехали Туповлев — завкафедрой агролесомелиорации и Галицкий — доцент с кафедры ботаники, шел ожесточенный спор о том, где лучше было вести трассу государственной защитной лесной полосы. Сталинград—Степной—Черкесск.

Полоса эта шла в местах труднейших для степного лесоразведения. Начавшись у подножия Сталинграда, она шла на юг по плоскому гребню Ергеней, затем пересекала Кумо-Манычскую впадину, вдоль и поперек изрезанную древнейшими озерами и рукавами, и шла дальше в низовьях рек Большого Егорлыка и Калауса. Гранича на востоке с песчаной Ачикулакской степью, она пересекала третичное Ставропольское плато и завершалась у города Черкесска.

Зеленая лента ее насаждений должна была защитить ставропольские и краснодарские степи от страшного бича степей — суховеев. Жарким летом, когда налетал суховей, небо над степью становилось зловеще фиолетовым, солнце висело раскаленным кровавым шаром, сухой горячий воздух испепелял все живое. Трава желтела и выгорала, а опаленные зноем деревья и кустарники шуршали сухими, точно из жести вырезанными листьями. Необходимо было приостановить, смягчить

знойное дыхание пустыни. И это должна была сделать трасса гослесополосы. Шла она строго по водоразделу, но вопрос о том, где вести ее, решился не сразу. Нашлись сторонники западного варианта, предлагавшие сместить трассу к западу на 70—80 километров в обход Степного. Среди ученых разгорелся ожесточенный спор. И хотя вопрос решился окончательно в пользу восточного варианта, волнения среди лесоводов не улеглись. И не было случая, чтобы, собравшись вместе, сторонники того и другого варианта не начинали спора с прежней ожесточенностью.

Александр Петрович был яростным противником западного варианта. Особенно обрушивался он на Галицкого, сторонника западного варианта. Вот и сейчас, вступив в спор с Ярославом Ивановичем, он резко говорил ему:

— Вы утверждаете, что смещение трассы к западу создаст дополнительное увлажнение за счет талых и дождевых вод, стекающих с Ергеней. Сомневаюсь, чтобы это было так. Вы только посмотрите на карту...

Александр Петрович вытащил из полевой сумки карту, развернул ее у себя на коленях и, возбужденно водя по ней пальцем, продолжал:

— Вот пожалуйста... Вот вам профиль западного варианта. Он весь изрезан глубокими балками и оврагами. Можно ли при таком обособлении трассы от основного склона Ергеней рассчитывать на дополнительное увлажнение? По-моему, это по меньшей мере наивно. Ведь совершенно же ясно, что сток талых вод будет перехватываться овражной сетью...

Галицкий не согласился с этим. Помимо всего прочего, он считал, что трасса восточного варианта сложнее и по составу почв.

— Если судить по травостою, — сказал он, — то солонцы преобладают на водоразделе...

— Позвольте, Ярослав Иванович! Вы сами себе противоречите! — перебил Щербинский. — Ведь что составляет основной рельеф западного варианта? Длинные пологие склоны. А если учесть, что в основании геологических отложений Ергеней лежат соленосные глины, которые на склонах выходят гораздо ближе к поверхности, чем на водоразделе, то ясно, что засоленность почв западного склона Ергеней должна быть выше!

В спор вмешался Туповлев. Он тоже был за восточный вариант, считая, что нет никаких оснований отступать от основного положения Вильямса относительно облесения водоразделов.

— Да и чего спорить... Вопрос-то уже решен вышестоящими организациями...

«Вот он весь в этой фразе!» — подумал Щербинский, метнув на Туповлева недобрый взгляд. Он не любил Туповлева, считая его ограниченным и даже тупым человеком. И то, что Туповлев разделял его, Щербинского, точку зрения на прохождение трассы, было ему неприятно. Впрочем Туповлева не любили многие в университете. Тяжелая квадратная челюсть и маленькие медвежьи глазки под сильными надбровьями придавали его лицу что-то жестокое.

Денисов сидел в сторонке, прислушиваясь к спору. Ничего, пусть поспорят, поломают копыя,—думал он.— В спорах рождается истина. Если он сам молчал сейчас, то это совсем не значило, что он не имел своего мнения о том, где лучше вести трассу. Конечно, она должна идти по водоразделу. И если он стоял за этот вариант, то уж совсем не потому, что тот принят был «вышестоящими организациями», а просто считал его, как и Щербинский, наиболее пригодным по лесорастительным условиям.

Поезд остановился на полустанке и стоял довольно долго. Туповлев и Ярослав Иванович, взяв фуражки, вышли. Денисов со своего места видел, как они прогуливались возле вагона. Из окна ему видна была и будка путевого обходчика и груша, одиноко растущая под окном. Кто посадил ее? Какие бури ломали ее прежде, чем она выросла? Есть что-то грустное в одиноко стоящем дереве, особенно здесь, в степи.

Поезд снова тронулся. Александр Петрович раскрыл было книгу, но в купе заглянул Володька.

— Александр Петрович! Разрешите наш спор: лес массивами иссушает или увлажняет почву?

— А как вы сами думаете, Володя? — Щербинский, улыбаясь, смотрел на возбужденное лицо Володьки. Красиво очерченные, но еще по-детски пухлые губы и прилька волос, непокорно спадающая на лоб, придавали его лицу задорно-мальчишеский вид.

— Я думаю, что иссушает. А Олег утверждает обратное... Идемте к нам...

Александр Петрович поднялся и пошел в купе к студентам.

Денисов остался лежать на своем месте, подложив под голову руки. «И тут спорят!» — подумал он, прислушиваясь к отдельным словам и фразам, долетавшим к нему из соседнего купе.

«Лес является самым надежным собирателем и хранителем влаги в природе... Докучаев метко назвал лесные полосы «магазинами влаги»... услышал он голос Александра Петровича.

«И верно, что «магазины влаги», — думал Денисов. Для него, выросшего в лесу, это было особенно понятно.

Зима... Густой пеленой идет снег, и как бережно собирает лес этот снег. Ни одна снежинка не вылетит обратно. Ветром ее не выдует. Метель, неистовствующая в открытом поле, в лесу утихает. В открытом поле легко идешь по голой земле, а в лесу по пояс увязаешь в снегу.

Весной снег в лесу тает медленно, и почти вся вода, как губкой, впитывается подстилкой, а в открытом поле она как по железному листу, по промерзшей почве, бесцельно стекает в балки и овраги.

Летом пройдет дождь, и вода бешеными потоками уйдет в ручьи и реки, не успев впитаться в почву, а в лесу, сколько бы ни шел дождь, под деревьями не увидишь лужи.

«В Бузулукском лесничестве, — снова долетело до Денисова, — были сделаны наблюдения. Оказалось, что сосна высотой в семь с половиной метров, в возрасте двадцати четырех лет, собрала на своих ветвях за зиму сто шесть килограммов инея и изморози...»

«Интересно»... Денисов пожалел, что не знал этого примера раньше, а то привел бы его в лекции, недавно прочитанной им на заводе. Он воспользовался тогда данными наблюдений над дождемером, установленным на мысе «Доброй Надежды».

И Денисов полез в карман за записной книжкой. Он привык записывать в нее все, что останавливало его внимание и не стыдился делать этого. Мало ли что могло в свое время пригодиться.

Если бы кому-нибудь попалась в руки записная

книжка Денисова, она много дала бы материала для размышления о ее владельце. Там можно было увидеть — и скупые колонки цифр, отражающие ход лесопосадочных работ в стране, фразы и выражения, ставшие крылатыми в последнее время:

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их — наша задача!»
(Мичурин).

«Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там, где прежде рос один, заслужил бы благодарность всего человечества.»
(Тимирязев).

Были в записной книжке и записи поговорок, пословиц, которые Денисов любил и жадно ловил в речи других. Были выписки из прочитанного, очевидно, в какой-то мере соответствовавшие тому настроению, в каком они заносились на бумагу.

В купе вернулись Туповлев и Галицкий. Денисов поспешно сунул свою записную книжку в карман.

Туповлев забрался на верхнюю полку, напротив Денисова, полежал, скрестив на груди толстые волосатые руки, и вот по купе уже разнесся его храп.

Последним в купе вернулся Щербинский.

— Миновали разъезд, друзья! — сказал он Денисову и Галицкому. Часа через два будем на месте! — Говоря так, Александр Петрович имел в виду и тот путь, который им предстояло проделать на машинах. По голосу Щербинского и по тому, как он с особенным удовольствием щелкнул крышкой своих часов, закрывая их, чувствовалось — он очень доволен был тем, что они скоро приедут. Но как все нетерпеливые люди, хотел ускорить свой приезд: развязал рюкзак и убрал в него книгу, которую читал в дороге, снял с вешалки плащ и, свернув его вдвое, положил поверх рюкзака.

Денисов смеющимися глазами следил за сборами Щербинского: «А ну, что он еще сделает, чтобы скорее выскочить из вагона.»

Но заняться больше было нечем, и Александр Петрович подсел к окну. За окном уже стемнело. Мысленно взору Щербинского представился маленький полустанок, затерявшийся в степи, на котором через час они должны будут выгрузиться и дальше ехать уже на машинах.

Представилась вся та сумятица и неразбериха, которые неизбежно будут при этом. Беспокоила и мысль о первом ночлеге на новом месте.

Далеко в степи вдруг замаячил огонек — свет фар идущей машины. Огонек то загорался, то гаснул, блуждая по степи. Вот справа, в стороне от него, появился еще один блуждающий глаз. Он ярко вспыхнул, взметнулось вверх, ослепительно белым мечом рассек темноту и погас.

И почему-то тревожно вдруг стало на душе Щербинского при виде этих огней. Раздумье о том, что-то даст ему это лето, какие радости, тревоги, удачи и огорчения ждут его, охватило Александра Петровича.

ГЛАВА II

Утро было холодное, ясное. Небольшой иней покрывал землю. Белесая дымка висела над степью, скрывая даль. Александр Петрович, поживаясь от холода, стоял возле своей палатки и оглядывал лагерь, разбитый вчера наспех.

Большой тесовый барак-лаборатория, построенный в этом году, специально для экспедиции, стоял в центре. Справа от него белели двухместные палатки для научных работников, слева разбиты были две большие палатки, где размещались студенты-дипломники. По своим очертаниям эти большие палатки напоминали прямолинейные домики, которые обычно рисуют дети, не отрывая карандаша от бумаги.

Почти вплотную к бараку-лаборатории стояли две машины, крытые зеленым брезентом, и ждали разгрузки. Вчера приехали поздно, Щербинский распорядился было не разбирать палаток, а всем устроиваться на полу в лаборатории. Но молодежь и слышать об этом не хотела. Это было бы так прозаично спать на полу, когда давно мечталось спать в палатках, в спальнях мешках.

— Доставь уж ты им это удовольствие... Утром лишний часок поспят, беда какая! — поддержал студентов Денисов.

Развели костер и при свете его поставили палатки.

Палатка Александра Петровича стояла несколько в стороне от других. Она была довольно просторна и должна была служить ему и рабочим кабинетом.

ректор лесхоза, это было уже на Кубани. Наконец, с тысяча девятьсот сорок восьмого года сажал лес в степи, работая директором лесозащитной станции на гослесополосе Сталинград—Степной—Черкесск.

— Так с чем хорошим пожаловал, товарищ начальник? — спросил Башкиров, когда оба они сели и закурили. Щербинский объяснил зачем он пришел.

— Не могу, Александр Петрович! Ей богу, не могу! Самому, понимаешь, трактора вот так нужны!

Башкиров энергично полоснул себя ребром ладони по горлу.

— И не проси! Раньше, чем через два дня не дам трактор! — решительно сказал он. Щербинский стал доказывать, что на опытном участке нельзя сеять в произвольные сроки.

— Все, все знаю! Но ты пойми, друг, у меня же работы станут на госполосе! На госполосе! — значительно повторил он, подняв вверх указательный палец. Я же преступление сделаю... Чего тебе? — резко спросил он у парня, который уже с минуту стоял у двери с бумажкой в руках.

— Да вот, Алексей Иванович, подписать наряд на горючее...

— Давай! Желудь отвезли на лесополосы? — спросил Башкиров, подписывая наряд.

— Отвезли. В корзинах закопали в снег.

— Вы мне, черти, только поморозьте его! Головы поотрываю!

— Да нет, Алексей Иванович, все в порядке.

— Ладно. Иди!

— Так вот, Александр Петрович, — сказал Башкиров, возвращаясь к прерванному разговору. — Проси, не проси, а трактор дам только через два дня...

Щербинский, нахмурясь, промолчал. Как ни был он недоволен исходом дела, но по собственному опыту знал, что спорить с Башкировым бесполезно.

Башкиров же, точно желая оправдаться, заговорил о том, что по приказу министерства он обязан в ближайшие два дня посадить и посеять четыреста гектаров леса.

— И смех и грех, ей богу! Ни машин, ни тракторов, ни людей. Да что за черт, понимаешь, как же тут сеять! И где были головы, когда планировали!

Он встал с места и в возбуждении прошелся по кабинету. Кабинет был мал, и Башкирову то и дело приходилось поворачиваться, что создавало впечатление, что он кружится на месте.

— Да... Работка... Это тебе не Кубань!.. На Кубани, сам знаешь, какая земля: ткни оглоблю в землю — тарантас вырастет. А здесь земля — лемеха стонут! Солонец на солонце. Мало того, что на нем не растет ничего, так обрабатывать его мука. Весной, пашня поспела, торопишься, понимаешь, прикрыть влагу,пустишь трактор, а он дошел до солонца и стоп! Завертелся на месте: «И ни туды и ни сюды!» Что делать? Снимать агрегат? Перебрасывать его на другой участок? Или ждать, когда этот проклятый солонец поспеет? А весной сам знаешь, как ждать, час дорог! Упустишь, не прикроешь влагу, пиши пропало!

А тут еще телеграмма за телеграммой из области: «Почему задерживаете покровное боронование. Точка. Обязуем личную ответственность закончить боронование ближайшие два дня...»

«Личная ответственность»... Любят у нас, понимаешь, страшать этим. Чуть что — личная ответственность. Да разве это страшно. Страшно то, что дела не будет, дело сорвется, а то, что ты, сукин сын, не справился с ним, так туда тебе и дорога!

Ты слышал, Александр Петрович, что север покоряет? — спросил Башкиров, остановившись перед Щербинским. — Слышал! Ну, так вот и степь так же... Покоряет. Захватывает. Появляется, понимаешь, азарт в работе. Упрямство. Кто кого одолеет. Она тебя или ты ее. Иной раз как припечет крепко, думаешь, вот чертова работка! Ни тебе людей, ни тебе посадочного материала, трактора из ремонта не выходят. Шутка ли вот такие глыбы, с этот стол, ворочают!

Башкиров широко раскинул руки, отмеряя длину своего письменного стола. — Да что мне больше всех что ли надо! Брошу все к чертовой матери и уеду на Кубань! Ей богу, брошу! Вот проведу только посевную!

Башкиров прошелся по кабинету, потом повернулся к Щербинскому, и глаза его хитро сверкнули, когда он, улыбаясь, сказал:

— А кончилась посевная, тут бы тебе и распрощаться. Да нет, где там! Надо же посмотреть, как дубки в

рост пошли, сколько приросту дадут за лето, какими в зиму пойдут, да как перезимуют, да зайцы их не обгложут ли? Морока, понимаешь, да и только!

Башкиров безнадежно махнул рукой.

— Морока... А попробуй сделать так, чтобы этой мороки не было. Что останется тогда? Да ничего. Все мы немножко тронутые, один, понимаешь, помешался на лесе, другой — на хлебе, третий — на хлопке, четвертый — еще на чем-нибудь: на угле, на железе. И нам что ни труднее, то лучше. Силу чуем богатырскую! «Эх, раззудись плечо, размахнись рука!»

Башкиров открыто по-детски расхохотался. Зубы у него были чуть желтоватые, крепкие, казалось, он в состоянии был перекусить ими проволоку.

Приоткрыв дверь, в кабинет заглянула секретарша.

— Алексей Иванович! Ростов звонит... Из питомника...

— А-а-а! Давай, давай! — обрадованно сказал Башкиров и взял телефонную трубку.

— Что? Что? — закричал он. Лицо его напряглось. — Не слышу... Акация не отгружена? Почему? Вагонов нет... Да что ты с нищего, понимаешь, последнюю суму стакиваешь! Мне акация позарез нужна. Работы вот-вот встанут... Гони скорее! Ну, ясно дело!

— Вот черти полосатые! — сказал Башкиров, кладя трубку. — Я думал, акация уже в пути, а она и не отгружена еще. Теперь когда-то она будет здесь. Сели мы в галошу с этим посадочным материалом. Везем его, понимаешь, за тридевять земель, навалом, или пересушим до хруста, или перегреем так, что рукой не возьмешь. Создавали станции, надо было закладывать и питомник, а то понадеялись на посев вместо посадки. А что из этой затеи вышло? Ничего, Пшик!

Башкиров был прав. Расчеты лесоводов на то, что посадку сопутствующих дубу пород и кустарников удастся заменить посевом, не оправдались. Из-за нехватки посадочного материала на огромных площадях дуб оставался и без сопутствующих и без кустарников.

— Теперь вот кусаем локотки! — Башкиров вздохнул. — Эх, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

В кабинет вошел Мулин, уполномоченный Главного Управления полевой охраны лесов. Мулин был

уже не молод. Широкое лицо, мясистый нос и маленькие с хитринкой глазки как-то не вязались с тем надменным видом, который был обычен для него. Коротко бросив: «Здравствуйте», — он направился к столу Башкирова. Грубые сапоги громыхали. На ходу он пытался стащить через голову полевую сумку, и добротное кожаное пальто его при этом слегка поскрипывало.

Мулин бросил полевую сумку на стол директора, сел и, впившись в Башкирова злыми глазами, спросил:

— С твоего ведома Терновой сеет дуб строчно-луночным?

— С моего...

— Так-с... Хорошенькое дельце затевается... — барабанил пальцами по столу и не сводя глаз с Башкирова, сказал Мулин. — Ты что же, инструкцию забыл? Плохо вызубрил? Или тебя умыть надо, чтобы лучше помнилась?

— Умывать меня нечего. Я в трезвом уме и доброй памяти, товарищ уполномоченный... — еле сдерживаясь, сказал Башкиров. Видно было, как на щеке его перекашивался желвак.

— Так чего ж ты на рожон лезешь? Приказ сеять гнездами, а ты сеешь в строчку!

— А я, может, сам хочу, без указки центра сеять так, как мне больше нравится! — Башкиров даже приподнялся слегка и через стол перегнулся к уполномоченному. Весь вид его говорил: «На-ка, выкуси!»

Явная издевка Башкирова привела Мулина в ярость. Захлебываясь, он выкрикивал, что инструкция — ведомственный документ, что нарушать ее — преступление и что Башкиров ответит, где надо, за самоуправство.

— Охолонись трошки, товарищ уполномоченный, а то, неровен час, кондрашка стукнет! — со злым блеском в глазах сказал Башкиров, намекая на солидную комплекцию Мулина. — Я, дорогой товарищ, лучше тебя знаю, как мне сеять — гнездами или в строчку. Что ты, понимаешь, вяжешь меня своей инструкцией.

В столкновении Башкирова с Мулиным Александр Петрович был целиком на стороне директора. Правительственная инструкция, обязывающая сеять только гнездами, сковывала инициативу производителей, и это, по мнению Щербинского, наносило непоправимый вред делу степного лесоразведения. Позиция Башкиро-

ва, давшего Мулину отпор, понравилась Александру Петровичу. Он сам вступил с Мулиным в спор, но уполномоченный, точно испугавшись двойного натиска, поспешил сбежать из кабинета.

— Пошел докладную писать, — сказал Башкиров, когда за уполномоченным захлопнулась дверь. — Он на это мастер, чуть что, докладная. Ну да, черт с ним! «Мели Емеля, твоя неделя..!»

Но по тому, как нервно собрал Башкиров бумаги со стола и, сунув их в ящик, рывком задвинул его, видно было, что стычка с Мулиным была ему неприятна.

— Ты не собираешься на питомник? — спросил он у Александра Петровича, берясь за фуражку.

Щербинскому надо было на питомник и он решил поехать с Башкировым. Когда они, выйдя из кабинета, проходили по коридору, за одной из дверей послышался гулкий шлепок по чьей-то спине и смех Луши, красивой молдаванки, работающей в конторе уборщицей.

— Играют, черти! — внезапно озлясь еще более, сказал Башкиров. — Эта молдаванка мне всех ребят перебаламутила, черт бы ее побрал! Андрей! — крикнул он, распахнув дверь в комнату уборщицы. — Ты почему не на участке?

— Не за мной дело, Алексей Иванович, — ответил парень, приходивший подписывать наряд на горючее. Теперь Александр Петрович уже с большим любопытством разглядывал его. У парня были красивые, почти сросшиеся брови и зеленоватые светлые глаза, хранившие и сейчас еще озорное выражение.

— А за кем же?

— Сергеев не выпускает...

— Это что еще за мода!

— Пробка ему в цистерне не нравится, пошел искать другую.

— Чтоб через полчаса горючее было на участке!

— Есть через полчаса быть на участке!

Парень неумело козырнул и побежал к своей машине.

— Вот тоже сокровище этот наш завнефтебазой, — заговорил Башкиров, спускаясь по ступенькам крыльца. — Пришла посевная, надо горючее отправлять на участки, а у нас ни одного исправного бензовоза. Вон! Взвалили цистерну на машину и пошли! — Башкиров взмахнул рукой в сторону машины с цистерной. — Бла-

го инспекторов на наших степных дорогах нет, не штрафуют. Качков хватились исправных, тоже нет. Ведрами наливают бензин, чертовы дети!

* * *

В машине Башкиров вначале отмалчивался, односложно отвечая Щербинскому, но привычное ощущение езды, сменяющийся по сторонам пейзаж, лента дороги, стелющаяся под колеса машины, привели директора в равновесие. Он заговорил о том, что сейчас особенно волновало их обоих: отпустит ли питомник нужное им количество посадочного материала.

— Не отпустит, труба будет... — сказал Башкиров, — День, два еще продержимся, а там хоть в петлю...

Дорога на питомник шла через первый производственный участок, где начальником был Борис Матвеевич Терновой.

На участке шла посадка леса. По бурой, еще влажной земле, сверху, как пеплом, присыпанной сухой почвой, медленно тащился агрегат из шести посадочных машин.

На каждой машине сидело по две сажальщицы. Слегка наклоняясь, они поочередно опускали в сошник машины тонкие, голые прутики сеянцев. Издали похоже было, что они отвешивали друг другу низкие поклоны. Поклонилась одна, ответила другая и так весь день раскланивались они на всех шести машинах. Пыль плотной дымовой завесой стлалась за трактором, густое душное облако окутывало сажальщиц. Головы женщин были плотно повязаны платками, оставались только щелочки для глаз. Это делало женщин безликими, неуклюжими.

Позади агрегата, перебегая от одной машины к другой, спешила тоненькая девушка. Бежала она легко, чуть касаясь земли. На мгновение останавливалась, приминала ногами неплотно осевшую землю возле только что высаженного деревца и опять устремлялась дальше, догоняя трактор.

Иногда она вскакивала на раму сажальной машины и сама опускала в сошник голые прутики сеянцев, успевая подавать их между двумя поклонами сажальщиц. Это значило, что сеянцы в борозде стояли друг от друга реже, чем надо. Тогда женщины принимались раскланиваться усерднее.

А она уже прыгнула с этой машины и бежала к другой. Снова наклонялась к борозде, снова дергала верхушки прутьев, торчащих из вспаханной земли, проверяя, плотно ли они сидят в почве. Снова уминала землю ногами, снова вскакивала на раму машины. Иногда густое облако пыли скрывало ее из глаз, но ветер относил пыль, и вновь она появлялась легкая неуловимая.

— Набегается девчонка за день-то! — не то с сожалением, не то с восхищением сказал Башкиров, кивнув головой в сторону девушки-агролесомелиоратора.

— Алексей Иванович! — обернулся шофер — Борис Матвеевич что-то машет.

Терновой и в самом деле бежал к ним по пахоте.

— Алексей Иванович! Оштрафовали меня на пятьдесят рублей! — еле переводя дух, сказал подбежавший к машине Терновой.

— Кто? За что?

— Инспектор! За Валерку, прицепщика! За того, что с братом-трактористом работал. Ну да с Андреем...

— А-а-а!

— Пристал к нему, сколько да сколько тебе лет? Тот говорит четырнадцать. И давно, дескать, ты работаешь прицепщиком. Ему бы хоть тут соврать, а он...

Терновой не выдержал и крепко ругнулся.

— А он, дурак, бахвалится: «У-у-у, да еще с прошлого года!» Ну тот и припаял мне полусотку!

Вид у Тернового был такой обескураженный, что Башкиров расхохотался.

— Ну и правильно! Не бери на работу малолетних!

— Да ты что, смеешься что ли, Алексей Иванович! Как план выполнять, так ты требуешь. А рабочую силу я сам шукай, да выходит сам и отвечай. Мне прицепщика караул кричи надо. Небось, когда тракториста нет, так и работы на станции нет, а прицепщика нет, сойдет, мол, и так, сунем кого попало...

— Ладно, не лезь в бутылку, Борис Матвеевич! Прицепщик будет. Обещаю. Как у тебя с посадкой? Давно пустил агрегат?

— Пустил, а что толку-то!

Терновой зло бил себя по колену пыльной фуражкой, поставив ногу на подножку машины.

— В чем дело?

— Да, что тут говорить, Алексей Иванович, сам зна

ешь. Оправка держит. Не оправлять нельзя, оправлять — людей нет. Вон гляди! — Терновой махнул рукой в сторону лесопосадочного агрегата. Бегут за машинами две девчонки да старушонка! Какие это работники. Тут за каждой машиной надо человека ставить, тогда успеют. Вот и выйдет, до обеда будем сажать, а после обеда оправлять сеянцы. Разве это дело...

— Да, задача, — нахмурясь, протянул Башкиров. — Вот тут и подумай!..

— Терновой прав, конечно, — заговорил Башкиров, когда машина, отъехав от полевого вагончика, вновь выбралась на дорогу. — Вопрос рабочей силы — для нас вопрос жизни и смерти. Тут и доказывать, понимаешь, нечего, что такие объемы работ, как у нас, невысказаны без рабочей силы. Возьми посадку леса. Сегодня у меня на машинах одни сажальщицы, завтра другие. А ведь эта работа навыка требует и большого навыка. Это тебе не баран чихнул, посадить в ряду строго через семьдесят сантиметров. Или тот же уход. На ком мы выезжаем? На школьниках, да на комсомольцах. Не дали нам комсомольцев, вот мы и зашились. Лесокультуры такой травой зарастут, что волкам прятаться. Нет, я считаю, так дело не пойдет! Крохоборством тут заниматься нечего. Мы делаем большое дело: преобразуем природу! — Башкиров значительно поднял над головой указательный палец. — Проваливать это дело нельзя. Мы, конечно, делаем все возможное, а порой и невозможное, но мы, понимаешь, лишены волшебства и долго так продолжаться не может!

* * *

На сей раз Щербинскому и Башкирову посчастливилось. Одна из лесозащитных станций не выбрала положенного ей посадочного материала, и директор питомника, расщедрившись, выдал не только все то, что просил Щербинский для своей экспедиции, но и Башкиров, вместо положенных ему сорока тысяч лоха, получил шестьдесят да сверх всего этого еще и скумпии, на что он уж никак не рассчитывал.

— Красота-а! — сказал он, выходя от директора размахивая разрешением на выдачу посадочного материала. — Пошли грузиться, Александр Петрович! Вон и машина подошла!

Но грузиться не пришлось. Наступил час обеденного перерыва, все рабочие ушли в столовую. Отправились обедать и Щербинский с Башкировым.

В столовой было шумно, тесно. Не было ни одного свободного столика. Наконец, Башкирову удалось отыскать два места.

— Александр Петрович! Щербинский! Иди сюда! — крикнул он.

Щербинский подошел. За столом сидели двое: мужчина и женщина.

— Садись, Александр Петрович! Я думаю, товарищи не будут возражать? — сказал Башкиров и взялся за спинку стула.

Женщина кивнула головой, мужчина молча убрал со стола кепку.

Пока Башкиров заказывал официантке обед, Александр Петрович скучающе барабанил пальцами по столу, не обращая внимания на сидевших. Но странное имя: «Манефа Юрьевна», с которым мужчина обратился к женщине, заставило его внимательнее взглянуть на нее. «Некрасивая!» — почему-то с сожалением подумал он.

Женщину и в самом деле нельзя было назвать красивой. Широкое, чуть тронутое оспой лицо, неправильной формы нос. Но глаза голубовато-серые, большие, полуприкрытые веками были хороши. Хороши были и зубы. Перехватив на себе его взгляд, она засмеялась и спросила.

— Вы Щербинский?

— Да, — неохотно ответил Александр Петрович.

— Начальник комплексной экспедиции?

Он снова кивнул.

— Я сразу угадала, как только вы вошли! Щербинский, недоумевая, посмотрел на нее.

— Ну еще бы! Все атрибуты начальника экспедиции налицо: высокие сапоги, ковбойка, бинокль, полевая сумка через плечо и... и суровый взгляд... — смеясь, закончила она.

Александр Петрович тоже невольно рассмеялся, поймав себя на том, что он действительно нахмурился при перечислении своих «атрибутов».

— Ну, довольно загадок! Давайте знакомиться! Ожegovа Манефа Юрьевна! — сказала женщина и протянула

руку. Весь вид ее говорил: «Попробуй-ка ты сказать, что я тебе не нравлюсь!»

Щербинский сдержанно назвал свое имя и отчество. Ему и в самом деле Манефа Юрьевна не понравилась. Он не любил самоуверенных и самовлюбленных женщин, считающих, что все, что бы они ни сделали, мило, красиво и должно нравиться другим.

— А ведь я еду к вам! — весело сказала Манефа Юрьевна. — Да, да, именно к вам!

И письмо везу! Вот оно! — Манефа Юрьевна вытащила из портфеля письмо и передала его Щербинскому.

Письмо было от знакомого Александру Петровичу профессора, почвовед, который просил Щербинского включить в состав своей экспедиции его ассистентку для проведения рекогносцировочных работ на трассе гослесполосы Сталинград—Степной—Черкесск.

Пока Щербинский читал письмо, Манефа Юрьевна непринужденно болтала с Башкировым, точно не пять минут тому назад познакомилась с ним. На вопрос Башкирова о том, каким образом они очутились в столовой питомника, она ответила:

— А как вы думаете, наши бранные тела нуждались в подкреплении или нет? Проезжали мимо, вот и зашли!

Профессор писал, что Манефа Юрьевна знающий, опытный почвовед, что она бесспорно окажется полезной в экспедиции, и что, в противном случае, он не взял бы на себя смелость рекомендовать ее глубокоуважаемому коллеге...

Нельзя сказать, чтобы просьба профессора была приятна Щербинскому. Он не любил, когда дело решалось без него. Да и Манефа Юрьевна, несмотря на солидную рекомендацию, на первый взгляд не внушала доверия. Ну, можно ли считать серьезным, знающим свое дело человека, который то и дело хохочет да так, что все в столовой оборачиваются в их сторону.

«Да-а! Навязали работничка!» — подумал Александр Петрович, бросив неприязненный взгляд на Манефу Юрьевну. Вслух же он сказал суховато:

— Ну что ж, будем работать вместе!

Или уловила Манефа Юрьевна сухие нотки в голосе Щербинского, или, покончив с обедом, не сочла нужным

больше оставаться за столом, только она вдруг встала и, сказав Щербинскому: — Так я жду вас в конторе... — вышла из столовой.

Вашкиров, кивнув ей вслед, подмигнул Щербинскому, как бы говоря: «Какова!» Но Александр Петрович сделал вид, что не заметил этого жеста и продолжал есть, сосредоточенно глядя в тарелку.

После обеда, погрузив посадочный материал, они выехали домой. Александр Петрович пересел в «управленческий» газик, на котором Манефа Юрьевна добиралась до экспедиции.

Ветер дул в спину, и пыль, серым пологом окутывала машину. Манефа Юрьевна то и дело вытирала лицо платочком, обвязанным тончайшим кружевом и каждый раз на нем оставались черные следы. Скоро он совсем превратился в грязный комочек.

Она нетерпеливо выглядывала из машины, не появится ли стоянка экспедиции и рассеянно слушала Александра Петровича, который, показывая ей на холмы, выившиеся справа от дороги, говорил о выходе третичных напластований на Ергенях.

«Как он может говорить о каких-то напластованиях, когда можно задохнуться от пыли! Фанатик какой-то!» — с досадой думала Манефа Юрьевна о Щербинском, все с большим нетерпением выглядывая из машины.

Еще издали увидела Манефа Юрьевна большой сосновый барак и несколько палаток возле него. Барак сверкал на солнце новой тесовой крышей.

Свернув с дороги, шофер по целине подрулил к барачку. Когда машина остановилась, Александр Петрович вышел из нее и протянул руку Манефе Юрьевне. Она легко, почти не опираясь на руку, выпорхнула из машины.

— А умыться у вас, надеюсь, можно? — уже снова кокетливо спросила она, довольная тем, что они, наконец, приехали.

Щербинский показал, где можно умыться. Захватив полотенце и мыло, Манефа Юрьевна направилась к умывальнику. Вода в нем была совсем теплая, даже горячая. Манефа без конца набирала ее в горсточкой подставленные ладони и плескала себе на лицо, на шею. Но только бы она ни лила на себя воды ощущение въевшейся в кожу пыли не оставляло ее. Умывшись, Мане-

фа вытерла полотенцем лицо, шею и, медленно вытирая руки, огляделась. Простиравшаяся кругом степь поразила ее своим унылым видом. Так вот где ей придется жить и работать несколько месяцев! Нечего сказать, веселенькое местечко!

* * *

Манефа Юрьевна была москвичкой. В Москве она родилась, в Москве училась и там же после окончания Тимирязевской академии работала ассистентом у профессора, крупного специалиста по светло-каштановым почвам Юго-Востока.

В экспедиционной работе Манефу больше всего привлекала романтика кочевой жизни. Ради нее она легко отказывалась от удобств городской жизни и каждое лето почти на полгода отправлялась в экспедицию. Ей нравилось из «тошнотворной», как она говорила, среды научных работников, людей убийственно скучных, погруженных с головой в научную работу, попасть в совершенно иной мир, мир мужественных энергичных людей, стремительных в своем движении к цели. И хотя участниками экспедиции бывали в большинстве своем те же научные работники, здесь они в самом деле становились неузнаваемыми. Они сменяли свои модные долгополые пиджаки на выцветшие гимнастерки, лакированные ботинки — на грубые армейские сапоги, портфели — на более удобные полевые сумки. Видно было, что для многих из них эта одежда была привычна еще с военных лет. Вместо расшаркиваний: «Уважаемый Сергей Иванович» да «Многоуважаемый Пал Палыч», здесь скорее можно было услышать: «Черт вас побери, Иван Петрович! Куда вы девали мою бритву!»

Высокая, стройная, с гибкой талией и пышной грудью, Манефа притягивала к себе. Когда она проходила мимо, мужчины оглядывались ей вслед. Она знала это и чтобы лишний раз убедиться, оглядывалась и сама. Ну так и есть! Стоит и смотрит, точно ждет чего-то. Чего он ждет? Чтобы я улыбнулась? Пожалуйста! Жалко что ли! И Манефа улыбалась всепонимающей, призывной улыбкой.

Мужчины смущенно хмыкали, нарочито хмурили брови и следовали дальше своей дорогой, довольно улыба-

ясь про себя, будто произошло с ними нивесть что приятное.

Так и шла она по жизни, озаряя улыбкой радости тех, кто тянулся к ней, не слишком много требуя от жизни, но беря от нее все, что та давала. «В вечную любовь, до гроба, верят только дети да старые девы, — говорила она, — Ну и пусть верят! А я хочу жить так, чтобы черт-тм тошно стало!»

Это «чтоб чертям тошно стало!» поглощало ее всю. Она была хорошим исполнительным работником, но и только. На серьезные занятия наукой не оставалось времени да и желания достичь в ней чего-нибудь тоже не было.

В чем дело? Разве я плохо работаю? Кто лучше меня приготовит профессору необходимый для его лекции демонстрационный материал? Кто образцово поставил этикетирование музея? Кому больше доверяет профессор, когда нужно провести сложный почвенный анализ? Мне, мне и еще раз мне. Так в чем же дело? Расти в научном отношении? Сдавать кандидатский минимум? Писать диссертацию? Благодарю покорно! Не жажду стать синим чулком! Подумаешь, приклеят мне ярлык кандидата наук! Точно от этого я стану лучше. Я и так хороша! Не правда ли? И она смеялась, открывая прекрасные, точно на рекламе зубной пасты, зубы.

У нее был муж, но он погиб в первый год войны. Чем привлек ее Алексей, скромный, незаметный, она и сама понять не могла. Победил ли он ее своим постоянством, молчаливой, но упорной настойчивостью. Так и жили они тихо и спокойно. Он был молчалив и не мешал ей болтать сколько угодно, всегда держался в тени. Она даже не сразу заметила, как он ушел из ее жизни. Первое время ей все казалось, что Алексей уехал в командировку. Как агроном, он часто уезжал и на две и на три недели. Она ждала, что вот-вот он вернется. Только когда пришло извещение о смерти, она поняла, что никакой командировки не было и что никогда больше она не увидит его. Ей стало тоскливо, неудобно.

За годы жизни с ним она привыкла к тому, что возвращаясь домой, всегда видела его несколько сторбленную фигуру, склонившуюся над столом, над книгами. Он вставал, снимал с нее шубку, включал электрический чайник и начинал накрывать на стол. Неторопливыми спо-

койными движениями он доставал из буфета посуду и еще что-то на тарелочке, прикрытое чистой чайной салфеткой. Она уже знала, что это такое, но каждый раз, чтобы сделать ему приятное, приоткрывала кончиками пальцев салфетку и воскликнув: «О! Мой любимый торт! Алешенька, я должна тебя поцеловать!» сочно чмокала его в щеку. Алексей сдержанно, одними глазами улыбался.

С ее приходом в маленькой комнате сразу становилось тесно и порядка как не бывало. Перчатки, муфта валялись на пианино (в двадцать пять лет она брала уроки музыки и пения), ноты лежали на диване. Нередко какой-нибудь этюд, который ей во что бы то ни стало надо было разучить к завтрашнему дню, исчезал непостижимым образом. Она переворачивала все вверх дном и, конечно, только Алексей находил его. Он спокойно оглядывал комнату. Дымя папиросой, прищуривался, точно прикидывая взглядом, куда же в самом деле могли запропасться ноты. Отодвигал диван от стены и находил их за диваном.

— Алеша! Ты нашел! Вот мило, а я все перерыла! — в искреннем изумлении говорила она и, усевшись перед пианино, начинала громко, бравурно играть, не смущаясь тем, что путала и врала безбожно.

Ей постоянно было некогда. Она вечно спешила и никогда не успевала сделать и половины из намеченного. Он не спешил, но успевал за день сделать многое.

Когда она приносила из библиотеки книжную новинку, он всегда прочитывал книгу первым. Как правило, Манефа ложилась с книгой на диван, уютно поджав ноги и закрывшись теплым платком, почти тут же засыпала, уронив книгу на пол.

Алексей подходил к дивану, осторожно, чтобы не разбудить, укрывал Манефу, загораживал свет, садился к столу и перелистывал книгу, над которой она заснула. Иногда книга увлекала его. Тогда он читал не отрываясь, пока не закрывал последнюю страницу. Нередко бывало это уже под утро. Он ложился ненадолго в постель, но как всегда в восемь был уже на ногах. Кипятил чай, готовил завтрак.

Только тогда просыпалась Манефа. Просыпалась недовольная тем, что надо вставать, что небо хмурое, моросит дождь. «Опять слякоты!» — говорила она капризно.

Одевалась, злясь на то, что придется тащиться на работу пешком (трамваи по утрам бывали переполнены). Но умывшись, она вбегала в комнату уже бодрая, смеясь, рассказывала Алексею, как шофер Миша, сосед по квартире, вбежал в ванную (крючок она забыла набросить) и какое он сделал лицо, когда увидел ее полуодетую.

Алексей смотрел в сторону, эта история с крючком ему совсем не нравилась, да и не в первый раз уже повторилась она.

— Ну, что ж тут такого! — говорила, смеясь, Манефа. — Ну, увидел. Что, меня убьют что ли! Ты просто ревнуешь, Алешка! Вот не терплю ревнивцев! Я взяла бы доску, набила в нее гвоздиков и вот так, вот так царапала бы несносного ревнивца!

Острыми, ярко накрашенными ноготками она царапала шею Алексея, пытаясь этой шуткой прогнать хмурое выражение с его лица. Но Алексей в таких случаях был неподатлив на ласку. Они молча пили чай и недовольные друг другом расходились по своим делам.

Но вечером снова (как будто ничего и не было) Манефу встречали ласковые внимательные глаза Алексея, снова на столе появлялся ее любимый торт, а иногда и цветы. И снова Манефу охватывала атмосфера любви и нежности.

Детей у них не было. На первом году замужества Манефа, таясь от Алексея, сделала аборт. Врач, выпысывавший ее из больницы предупредил, что вряд ли когда-нибудь у ней будет ребенок. Манефа и не тужила об этом. Зачем ей дети! Вот еще! Лишняя обуза! Особенно сейчас, когда они с Алексеем молоды и хочется пожить для себя.

После гибели Алексея она тем более не жалела об этом. Ребенок связал бы ее. Говорят, страшно стариться в одиночестве, когда и воды подать будет некому. Может быть, это и так. Но Манефа думать об этом не хотела. Когда-то еще придет старость со всеми ее немощами и болезнями!

Не любила Манефа лишь семейных вечеров. Профессора и доценты приходили со своими женами. Жены молча сидели возле мужей, косили неодобрительные глаза в ее сторону, разглядывали платье.

Что, завидуете? Конечно, завидуете. Смотрите, жалко

что ли! Все равно вам не одеться так, хоть вы лопните от досады. Но и мужья хороши...

А все-таки скучно вот так одной. «Всякой твари по паре», как говорится, а она одна. Чем же провинилась она, что так и суждено ей бесприютной кукушкой мыкаться по чужим гнездам. Разве еще не молода она, разве ей не хочется ласки, разве не приятно ей думать, когда она идет домой, что там ждет ее близкий родной человек, который возьмет ее лицо в свои сильные мужские ладони и спросит:

«Ну что нового, хорошего у тебя сегодня, родная?».

Никто ее не ждет, никто не спросит ни о чем. Холодно, неуютно в одинокой комнате. Так и будет тянуться ее жизнь бесплодная, никому не нужная.

Манефа старалась гнать от себя эти мысли. Нет, так нет! В чем же дело? Значит не судьба. Не была она нытиком и не будет. Она хочет жить, любить, держать в руках счастье, а не томиться по нему. Пусть это счастье будет недолговечным. Пусть оно длится год, день, час! Так неужели же отказываться от него только потому, что оно кратковременно!

* * *

Не прошло и недели со дня приезда Манефы Юрьевны в экспедицию, как Александр Петрович убедился, что поспешил с нелестным выводом о ней.

С первого дня она серьезно и горячо взялась за работу. Все делала быстро с увлечением и, что всем особенно нравилось, была всегда весела. Однажды Александр Петрович предложил Манефе Юрьевне проехать с ним на первый опытный участок, познакомиться с опытами прошлого года. Она охотно согласилась.

Об опытах Щербинского она много слышала в Москве от профессора и сейчас ей нетерпелось поскорее увидеть все самой.

Приехав на участок, Александр Петрович и Манефа Юрьевна долго бродили по нему, увязая по щиколотку в мягкой, влажной еще почве.

На участке было около двадцати делянок. На одних из них даны были чистые ряды дуба, на других — дуб с сопутствующими породами и кустарниками. Но больше всего было опытов с покровными культурами. Год, в который закладывались опыты, был годом увлечения покровными культурами.

— Вы представляете, как заманчива сама по себе идея вырастить лес под покровом сельскохозяйственных культур, — говорил Щербинский Манефе Юрьевне. — Для этого не потребовалось бы никаких дополнительных затрат. Я сам одно время отдал большую дань этому увлечению.

Щербинский улыбнулся.

— Нет, в самом деле, — заговорил он тут же серьезно, точно оправдываясь в наивности этого своего увлечения. — Почему бы готовое, хорошо обработанное поле не засеять пшеницей. И хозяйству выгодно — пшеница даст урожай, и дуб не нуждался бы в уходе. К сожалению, опыт не оправдал себя. Дубки под покровом пшеницы, люцерны, могоара выпали...

Александр Петрович не рассказал Манефе Юрьевне о том, сколько надежд и разочарований у него было связано с гнездовым методом. Как трудно было ему отказаться от него, уж очень заманчивы были перспективы.

Не рассказал и о том, как, доискиваясь причины гибели дубков под покровом, он целые дни проводил тогда на своих опытных делянках. Заложив руки за спину, медленно прохаживался между рядами дуба, останавливался, подолгу смотрел на дубки. Чахлые, пожелтевшие листочки их вяло трепетали на ветру.

В чем дело? — думал он. Почему дубки под покровом чувствовали себя плохо?

То что люцерна угнетала дубок, это было ему понятно. Корни ее шли вглубь и в стороны на несколько метров, они, как спруты, душили все. Ну, а пшеница, корни которой распространялись по поверхности почвы? Почему она угнетала дубок?

Присев на корточки, Александр Петрович подсчитывал количество дубков в гнезде. Почва под ними была сухая, потрескавшаяся. Пробы на влажность давали ничтожный запас воды в ней. «Почему так низок процент влажности в почве? — задумался Александр Петрович. Подъ «покровная культура предохраняет почву от высыхания, сохраняет влагу для дубков». Так, кажется, гласит инструкция по гнездовому посеву дуба? Но почему сохраняет? А сама покровная культура разве не расходует влагу?»

Александр Петрович стал припоминать, подсчитывать только влаги за вегетацию испаряет один гектар пшени-

цы, и получил ошеломившую его цифру. Оказалось, что пшеница испаряла с гектара за лето ни много ни мало как двести тысяч килограммов воды. Двести тысяч! И это в то время, когда всех осадков за год выпадало 318 миллиметров, а испарение с водной поверхности равнялось 900 миллиметрам!

Конечно, он и раньше знал, сколько воды за лето испаряет гектар пшеницы, не мог не знать этого, но он никогда не ставил данные об этом испарении в связи с гибелью дубков. Так вот оказывается почему гибнет дубок под покровом! Пшеница отнимает у него всю влагу. Уже к середине лета остается он с мертвым запасом воды в почве!

Александр Петрович не рассказал Манефе Юрьевне о том, как взволнованный догадкой, сам не замечая того, вышел он на дорогу и пошел по ней, энергично размахивая руками. Стремительное течение мысли ускоряло и шаги его. Опомнился он только, выйдя на гребень балки. Внизу лежала долина лесной дачи, заложенной еще во времена Докучаева. Она вся расчерчена была правильными прямоугольниками лесопосадок. Дальше и кругом, куда ни простирался взгляд, лежала степь. Чуть прикрытая скудной растительностью, она вся изрезана была балками и оврагами. Темные ленты свежевспаханной земли — будущие лесные полосы — уходили в ее сиреневую даль.

Жаркий порывистый ветер приносил запах полыни.

«Хорошо! — думал Александр Петрович, вдыхая всей грудью этот пряный, чуть горьковатый запах. — Хорошо!»

Он был почти счастлив от мысли, что еще один шаг вперед был им сделан. Пусть этот шаг был пока лишь признанием ошибки и впереди предстояло много работы, чтобы исправить ее. Но это не обескураживало Александра Петровича. Только тот не ошибается, кто ничего не делает.

Степь лежала перед ним точно в дреме под палящими лучами солнца. Сколько силы таилось в ней, силы еще не ведомой никому. И какая благодарная задача для науки — вызвать ее к жизни, пробудить!

Щербинский и Манефа Юрьевна продолжали ходить от делянки к делянке, и по тому, как Манефа задавала вопросы, спрашивая о том, что ей было непонятно, Алек

Александр Петрович убедился, что она далеко не так легкомысленна, как казалось ему, и что она, повидимому, действительно толковый работник, хорошо разбирающийся и в почвоведении и в теории создания леса в степи.

— Почему у вас не штамбовый дуб? Что, его зайцы на пень посадили? — спросила она.

Александр Петрович подтвердил, что зайцы сыграли с ним плохую шутку: начисто обстригли весь прирост прошлого года, отчего дуб начал куститься.

— Вот если бы они вам акацию на пень посадили, вы бы, наверное, сказали им спасибо. — Она расхохоталась.

— Да сажать акацию на пень очень трудоемкая работа, но там, где удастся это сделать, она пышно кустится.

Александр Петровичу снова хотелось вернуться к вопросу гнездового посева дуба. Этот посев сейчас занимал его больше всего. Он сделал несколько шагов в сторону, увлекая за собой и Манефу Юрьевну.

— Вот смотрите! — сказал он, показывая на дуб. — Если на этой беспокровной делянке сохранилось примерно одиннадцать—двенадцать тысяч дубков на гектаре, то на делянке рядом, под покровом пшеницы их сохранилось только три тысячи. Да каких дубков! Жалко смотреть на них! Или вот двенадцатая делянка! — живо повернувшись к следующей делянке, сказал он. — Дуб посеян был точно по инструкции академика Власенко. Но дуба нет, как видите. Люцерна удушила его. И не только дубки, но и подгоночные породы. Теперь это чумное место губит всю полосу. Надо что-то делать с ним. Но что? — пока не придумаю.

— Вы ставили опыты с микоризой? — спросила Манефа Юрьевна, и Александр Петрович, обрадованный интересом, проявленным к его опытам, потащил ее к делянкам с микоризой.

— Вы не устали? — спросил он, видя, что она отстаёт от него.

Манефа, смеясь, заверила, что она ничуть не устала. Он правился Щербинский. Такие люди, как он, привлекали ее. Нравилось увлечение с каким он говорил о

* Микориза — гриб. Она образует вокруг корня дуба чехол из нитей — гифов.

своих опытах. Видно было, что ни о чем другом он и не думал сейчас. Какая красивая у него шея... А что будет, если она положит сейчас свою руку ему на плечи. Вероятно, он очень удивится. Удивится и забудет, о чем говорил.

— На этой делянке был дан посев дуба с микоризой, — пояснил Александр Петрович и с удивлением взглянул на Манефу Юрьевну, глаза которой вдруг стали странно рассеянными и потемневшими.

— На этой делянке, — спохватившись, повторила она, — посеян дуб с микоризой...

Когда обход всех делянок был закончен, они направились к машине, где их с нетерпением ждал шофер Тимофей Алексеевич. Но пройдя несколько шагов, Александр Петрович снова остановился.

— Обратите внимание, — сказал он Манефе Юрьевне, показывая на кофейного цвета почву, где ничего не росло, — там, где пятна солонцов, дуб выпал. Для таких почв мы пошли на самый неприхотливый кустарник — лох, но и то, видите, сколько тут лоха выросло. Да, тяжелое пятно! Раньше я распорядился ремонтировать такие участки, делал глупость. Это совершенно бесполезное занятие, мартышкин труд! Надо сажать лох, тамарикс, как наиболее солеустойчивые породы, иначе полоса будет прерывистой.

Манефа Юрьевна отметила про себя, что выражение: «мартышкин труд» — любимое выражение Александра Петровича, вслед за ним его повторяют все в экспедиции, начиная с Володьки и кончая Ольгой Павловной.

«Гора родила мышь» — тоже его любимое выражение. Она улыбнулась этой его слабости, и Александр Петрович заметил ее улыбку. Но так как в том, что он говорил о солонцах, не было ничего смешного, она поспешила сказать ему, что пришло ей в голову по поводу его выражения «мартышкин труд».

Александр Петрович чуть смутился, но тут же сам рассмеялся.

Очевидно, они и в самом деле долго бродили по степи, потому что солнце село, и вокруг стало быстро темнеть. Там, где село солнце, продолжала тлеть, не потухая, полоска заката. Небо над нею было желтовато-зеленое, чуть выше голубое, а еще выше синее. Темнея все

больше и больше, оно уходило в высь, и кое-где зажигались на нем далекие звезды.

— Заждались, Тимофей Алексеевич! — сказал Щербинский, подходя к машине.

Шофер ничего не ответил. Надвинув кепку на глаза, он мрачный сидел, развалясь за рулем и с обидой думал, что у всех работа как работа, оттрубил восемь часов и шабаш, а он, как проклятый, все двадцать четыре часа должен крутить баранку. «Ваш день не нормирован!» — мысленно передразнил он Александра Петровича. «Так что! Я, по-вашему, двужильный!» — про себя воскликнул Тимофей Алексеевич, продолжая мысленно полемизировать с «начальством», и нахохленный вышел из машины, чтобы завести ее.

Александр Петрович открыл дверцу кабины, приглашая Манефу Юрьевну садиться, но она отказалась, сославшись на головную боль.

В машине, покрытой, как и все экспедиционные машины зеленым брезентом, было полутемно. Лишь в откинутое заднее полотнище виднелось вечернее небо и редкие звезды на нем.

Тимофей Алексеевич гнал машину так, что Щербинского и Манефу кидало из стороны в сторону. Для устойчивости Александр Петрович держался рукой за стропила, на которые натянут был брезент. Как ни бросало его, он старался сохранить равновесие, чтобы не задеть Манефы Юрьевны. Ей, наоборот, нравилась эта бесшабашная езда. Когда ее кидало на Александра Петровича, она не спешила отодвинуться. Ей хотелось посмотреть на его лицо, но в полутьме она видела только напряженно согнутую фигуру.

Александр Петрович продолжал говорить о своих опытах. Манефа догадывалась, что этот разговор нужен ему, чтобы избежать той неловкости, которая могла наступить при молчании. Она почти не слушала его. Ей хотелось без конца ехать по этой тряской дороге. Она видела в темноте и ждала, когда новый толчок кинет ее в сторону Александра Петровича.

Машина остановилась. Щербинский подал Манефе Юрьевне руку, и она, тяжело опираясь на нее, прыгнула на землю. Голова кружилась, и несколько мгновений Манефа, чтобы не упасть, стояла, прижавшись к Щербин-

скому. Потом, привычным движением поправив прическу, медленно, пошатываясь, пошла в лабораторию.

В лаборатории ярко горела лампа. Все сотрудники сосредоточенно склонились над столами, занятые своим делом. Манефа Юрьевна, громко смеясь, стала рассказывать, как Тимофей Алексеевич гнал машину, и как они с Александром Петровичем все видели в темноте, потому что у них искры из глаз сыпались, так они стукались лбами друг о друга.

— Галя! Посмотри, нет у меня на лбу шишки? — полусуто, спросила она, откинув со лба волосы.

Александр Петрович перед тем, как войти в лабораторию, долго курил в темноте. Вошел он с преувеличенно серьезным видом, распорядился, кому что делать завтра, и сразу же ушел к себе в палатку.

* * *

После поездки на опытные участки Александр Петрович почувствовал, что не может относиться к Манефе Юрьевне как прежде. Раньше в экспедициях с женщинами у него всегда устанавливались товарищеские деловые отношения. Такие отношения сейчас были с Машей, с Любовью Андреевной. С Манефой же все обстояло иначе. У Александра Петровича все время было ощущение, что между ним и Манефой Юрьевной есть что-то такое, ничего общего не имеющее с их общей работой, о чем знают только они одни. Ощущение нитей, связывающих их незримо, было для Александра Петровича ново. Это волновало его и заставляло думать о Манефе Юрьевне чаще, чем следовало.

Теперь он постоянно ловил себя на мысли о ней. Хлопнула дверь в лаборатории — его непреодолимо тянуло выглянуть из палатки, посмотреть, не она ли вышла. Засмеялась Манефа — он сам улыбался, ему хотелось пойти узнать, чему она смеется.

Вот вернулась машина из степи. Все шумно высаживаются из нее. Александр Петрович подошел узнать, как прошел день? Много ли сделано? Он видел всех, но всех видел вообще, а ее в особенности. Отмечал про себя, что за день она сильно загорела. Слушал, что говорили другие, но, слушая всех, прислушивался к тому, что она сказала или собиралась сказать.

Иногда он перехватывал на себе ее странно рассеянный взгляд и спешил уйти, точно испугавшись чего-то.

Но тут же возвращался и ждал, когда она снова посмотрит на него также. Если она не замечала его, ему становилось грустно, и он, как мальчик, старался привлечь ее внимание, смеялся, острил.

Эта игра, известная только им двоим, и притягивала его и пугала.

Когда Манефа Юрьевна приходила к нему в палатку, Щербинский терялся, старался не смотреть ей в лицо и с излишней торопливостью приглашал сесть, освобождая для нее единственный табурет, всегда загроможденный чем-нибудь.

И только, когда они заговаривали о работе, он чувствовал себя свободнее, проще. Он забывал о своей неловкости, увлекался и выкладывал Манефе все свои планы, чаяния.

В последнее время его очень занимали мысли о таком способе выращивания дуба в степи, при котором бы дуб меньше страдал от засухи.

— Влага, влага и еще раз влага! Она в условиях засушливой зоны решает все! — говорил он, крупно шагая взад и вперед по палатке. Палатка была мала, и ему то и дело приходилось поворачиваться. — Тот, кто решит вопрос о влаге, тот решит вопрос — будет ли лес в степи! Вы видели когда-нибудь, как здесь, на юге, делают гряды? — спросил он, останавливаясь перед Манефой?

— Видела.

— А я никогда не видел! То есть видел, конечно, но никогда не задумывался над тем, почему их так делают, не ставил в связь со своей работой. А подумал над этим, и мне многое стало ясным.

Он рассказал Манефе Юрьевне, как на днях, проходя огородами, остановился поговорить с Ольгой Павловной и обратил внимание на ее гряды.

— Я знал, как их делают на севере. Ведь, я огородником был одно время в колонии правонарушителей... — улыбнулся он, но тут же погасил улыбку... — Так вот там... — сказал он и остановился, очевидно, то, что он вспомнил из детства, мешало ему сосредоточиться, продолжить мысль.

...Там взбивают гряды, поднимают их, как перины. При избыточном увлажнении это необходимо. Вся лишняя вода стекает в борозды. Вы замечали, что она целое

лето стоит в них, делает почву клеклой. Здесь другая картина. Воды нет, и чтобы собрать, сохранить ничтожные крохи ее, которые могут выпасть в виде дождя, гряды делают в углублениях, огораживают их невысокими валиками. Представляете? Получается нечто вроде чаш, в которых собирается минимальный запас воды, необходимой растению. Вода просачивается дальше вниз, в зону корневой системы и таким образом создаются лучшие условия роста...

— И знаете, какая мне пришла в голову мысль... — сказал он, снова остановившись перед нею и открыто глядя в ее лицо. — А что, если использовать опыт местных жителей и попробовать сажать лес не в плоскую почву, а в углубления? А? Как вы думаете? Получится что-нибудь? Если этот опыт оправдает себя, то проблема как создать лес в степи была бы отчасти решена. Тогда бы я мог сказать о себе, что я прожил не даром жизнь...

Последнюю фразу Александр Петрович произнес уже улыбаясь, подчеркивая тем самым, что сказана она, эта фраза, в шутку.

— Ух, черт! — в нетерпении проговорил он и взъерошил волосы. — До чего же интересно жить на свете! Де-ела-а-а сколько!

Он все возбужденнее ходил по палатке, время от времени останавливаясь перед Манефой Юрьевной и развивая перед ней захватившую его мысль.

— Известно, что дубки нередко вымерзают в суровые зимы, но это в плоской почве, а в лунке они лучше сохраняются. Да это и понятно. В лунке дубок будет как в чаше, сюда больше наметет снега. Да и в зиму он уйдет более крепким, потому что его корневая система, достигнув ста сантиметров, выйдет из зоны промерзания. Кроме того, такой дубок отложит больше пластических веществ, кора его одеревянеет, он лучше будет противостоять невзгодам.

Александр Петрович приводил все новые и новые доводы в пользу захватившего его способа посева дуба. Разговор с Манефой Юрьевной помогал уяснить то, что ему самому казалось еще неясным или спорным.

— Лунки надо обязательно мульчировать, посыпать сверху опилками или навозом-сыпцом, иначе почва в лунках будет клеклой...

— Александр Петрович, — перебила Манефа осто-

рожно, боясь разочаровать его, а вместе с тем и себя, так как и ее увлекла его идея, — вы говорите о бороздовании, а не кажется вам, что эти борозды будут способствовать размыву почвы?

Но Щербинский уже предусмотрел все и, обрадованный тем, что она высказала мысль, которая раньше и его тревожила, и усматривая в этой ее тревоге искреннюю заинтересованность, сказал торжествующе:

— А борозды мы сделаем тупые, вот таким образом... — он подошел к столу и уверенными штрихами набросал на бумаге, какими должны быть борозды.

После ухода Манефы Юрьевны он подолгу не спал, мысленно продолжая разговор с нею. На память ему приходила какая-нибудь удачно сказанная им фраза. Но эта фраза уже не удовлетворяла его. Он искал другие, более удачные, мысленно произносил их перед Манефой, слышал ее возражения, отвечал на них.

Он вспоминал лицо, каким оно было, когда она слушала его, и по лицу ее видел, что она понимает его, что все, что он говорит, все так же близко ей, как и ему. Это еще более вдохновляло его. В голове толпились новые мысли. Мысль летела дальше, и это состояние полета давало огромное удовлетворение.

Александр Петрович садился к столу и работал нередко до утра. Только когда в щели палатки начинал проглядывать рассвет, он гасил лампу и ложился спать. Но и в постели долго не мог уснуть, взбудораженная мысль продолжала работать.

Никогда он не испытывал такого подъема духовных сил с Натальей. Она была ему близка, как жена, как мать его детей, как человек, с которым прошла значительная часть его жизни. Все было просто и ровно в их отношениях без всяких взлетов и ощутимых падений. Связанная хозяйством и детьми, она стояла в стороне от того, чем он жил, от его работы. Она попрежнему любила его, попрежнему жила его интересами. Но этого было мало для духовной близости. Она сама не жила этими интересами. Иногда Александр Петрович с удивлением отмечал, что его рассказ о дискуссии, об интересной статье, напечатанной в журнале, оставлял Наталью равнодушной. Со слипающимися от усталости глазами (Юрочка болел корью) она слушала его, и он видел, что она думает не о том, о чем он рассказывает.

Заслышав плач мальчика, она вставала и, сказав: «Одну минутку, Саша...» выходила из комнаты. А когда возвращалась и с виноватым видом говорила: «Я слушаю, Саша...» У него пропадало всякое желание продолжать.

С Манефой Юрьевной все было иначе. Щербинскому казалось, что каждая его мысль близка ей, волнует ее, заставляет задумываться. Теперь в отношении Манефы Александр Петрович уже не чувствовал прежней скованности. С каждым днем она становилась ему все ближе. Он радовался тому, что нашел в ней товарища по работе.

Найдя объяснение и оправдание своему влечению, он перестал избегать ее. Наоборот, его все больше и больше тянуло к Манефе, и он не противился этому, не задумываясь над последствиями.

* * *

Слова Александра Петровича: «У меня было суровое детство» не были рисовкой. У него действительно было тяжелое детство.

Родился он в семье полкового врача.

Сохранился в памяти большой дом с террасой и садом. В саду беседка с окнами из разноцветных стекол. Посмотришь в одно окно, и мир окрашивался в зеленый цвет, глянешь в другое, и он становился синим, желтым, лиловым.

Стояла в саду старая яблоня-китайка. Вяжущие кислые плодики ее казались очень вкусными маленькому Саше, но собирать их с земли, а тем более есть, строгойше запрещалось. Нянька то и дело кричала:

— Брось сейчас же! Бяка! Кому говорят! — и била Сашу по рукам. — Ну и дите! — оправдываясь, говорила она плотнику, перестилавшему полы в беседке. Болтая с ним, она забывала о Саше, он вволю наедался яблок. К вечеру у него поднималась температура.

Мать подходила к его кровати и, положив руку в кольца на лоб сына, тревожно вглядывалась в его пылающее лицо прекрасными синими глазами.

Ему казалось, что она отодвигалась вдаль, становилась маленькой, маленькой, не больше того флакона духов, что стоял у ней в спальне на столике. Все вещи

тоже становились маленькими и тоже куда-то отодвигались.

— Мама, почему ты маленькая? — спрашивал он.

Мать ничего не отвечала, принимая его слова за бред. Вынимала из кармашка часики, висевшие на длинном черном шнурке, и полными слез глазами смотрела на них. Наконец, приезжал отец. Мать бросалась в переднюю и взволнованно говорила ему о чем-то.

Отец высокий, грузный, вытирая на ходу полотенцем большие волосатые руки, входил в комнату, садился возле кровати и говорил: «Что, брат, скапуститься решил!»

Он хватал руку сына, считал пульс. Мял ему живот, щекоча бородой, выслушивал грудь и спину и под конец требовательно говорил:

— Открой рот! Язык высунь! Ну, ясно, опять яблок нажрался. Дать ему касторки!

При слове «касторки» Саша принимался орать на весь дом и колотить по постели ногами. Вкус касторки ему был хорошо известен. Но ничего не помогало. Отец с полной столовой ложкой подсаживался на краешек его постели, плотно обхватывал его своей тяжелой рукой и, скомандовав: «Анюта! нос ему зажми!» — опрокидывал в рот положенную дозу лекарства.

Захлебываясь от слез, пуская касторовые пузыри, Саша долго плакал.

— Ну успокойся же, мой миленький! — говорила мать, целуя жирные от касторового масла щеки сына и давала варенья.

— Вот это зря! — хмурился отец. — Жизнь ему, матушка, не такие дозы касторки преподнесет. А чем их сдобришь? Тоже вареньем?

Из окна дома, стоящего на горе, видна была прямая широкая улица, вымощенная булыжником, она полого спускалась к реке, к пристани. Летом в открытые окна доносилось звонкое цоканье конских копыт о мостовую. Тяжелое, угрюмое, когда в гору поднимался битюг с возом, и легкое веселое, с перебором, когда под гору бежала стройная тонконогая лошадь, запряженная в пролетку. В пролетке под ворохом узлов и чемоданов сидели пассажиры, боявшиеся опоздать к пароходу.

Саше было пять лет, когда он впервые услышал слово «война». Они с матерью возвращались с дачи, ехали

через деревни, погруженные в кромешную тьму, и из этой тьмы далеко в ночи разносился разноголосый вой баб попеременно с руганью мужиков и всхлипами гармошки.

— Эх, как бабы-то убиваются! — сказал, крикнув, ямщик и беспокойно заерзал на облучке.

— Мама! Почему они плачут? — спросил Саша, плотнее прижавшись к матери, ему было страшно.

— Война, Саша, — тихо ответила мать.

Полк отца отправился на фронт, вместе с ним уехал и отец. В доме после его отъезда стало тише, уж не так много бывало народу, как прежде. Два раза отец приезжал на побывку. Приезжал помолодевший, с подстриженной клинышком бородкой. Незадолго до конца войны его убили.

Прочитав фамилию отца в списках убитых, мать несколько дней ходила по комнатам как слепая, натыкаясь на вещи. Прислугу рассчитали. Топить печи и носить воду приходила дворничиха.

В доме то появлялись, то исчезали военные, но это были уже не гости, а расквартированные солдаты и офицеры, то белые, то красные. Город переходил из рук в руки.

Мать пугливо пряталась от тех и других в одной из дальних комнат. На ночь она закрывалась на ключ и, кроме того, придвигала к двери комод.

Однажды, когда красные отступали, сдавали город, мать лихорадочно стала собираться куда-то. Она закутала Сашу в башлык, оделась сама и, взяв маленький узелок, побежала с Сашей к вокзалу.

На улице было морозно. Снег скрипел под ногами. Сквозь слипшиеся от мороза ресницы Саша пытался разглядеть на черном небе среди далеких звезд Малую Медведицу. Мать торопила его.

— Скорее, скорее, Саша! — и почти тащила его за собой.

Они долго ехали в теплушке, набитой до отказа людьми. Мать металась в жару, у ней начинался сыпняк. На одной из остановок их ссадили. В маленьком, битком набитом вокзале, где люди валялись на полу и где негде было упасть яблоку, они прожили несколько дней. Мать уже не приходила в сознание. Саша так и

не слышал, когда она умерла. Проснулся он оттого, что кто-то сказал рядом:

— Кончилась дамочка. Отмаялась. Царство ей небесное!

Сказал эти слова старик в валенках и в полушубке. Он стоял над матерью, сняв шапку. Голова его была опоясана веревочкой от очков.

Мать лежала бледная, с заострившимся носом, плотно сжав оскалившиеся зубы. Пришли двое в серых халатах и понесли ее куда-то. Саша кинулся было за нею, но его удержали. Он сел на чью-то котомку и заплакал.

— Ох, горе ты горе горькое!—сказал старик и, взяв Сашу за руку, повел с собой. Дорогой он вытащил из кармана горбушку ржаного хлеба и дал Саше. Горбушка была круто посолена. Саша съел ее с жадностью — в последние два дня он ничего не ел.

Они дошли до желтого здания с белыми колоннами. «Соцвос». — прочитал Саша. Сдав мальчика заведующему сектором детских домов, старик распростился с ним.

— Живи, парнишка, не унывай. Оно всяко бывает в жизни. Иной раз она, жизнь-то, мачехой обернется, а другой раз лучше матери приголубит. Свет не без добрых людей. Ну, оставайся с богом, а я пойду! — И он ушел, шаркая подшитыми валенками по соцвосовскому коридору.

Детдом, куда попал Александр, ему сразу не понравился. Размещался он в здании бывшего женского монастыря. Холодные мрачные комнаты с низкими потолками и угрюмыми окнами протапливались редко. Дров не было. Воспитанники ночью ломали изгороди в соседних огородах. Им жестоко доставалось от хозяев за это, но соблазн погреться у топящейся печки, испечь картошку, украденную с того же огорода, был слишком велик.

Днем спальни детдома пустовали. Обитатели их отправлялись в город на промысел: с питанием в детдоме было плохо. Зато вечером все собиравшись к огоньку назябшие, усталые. Одни играли в карты на «пайку» хлеба, другие обсуждали события дня, третьи просто сидели у печки, уставившись в огонь, наслаждаясь теплом.

Раз в неделю к ним приходила девушка-вузовка проводить политбеседы. Она долго топталась в коридоре, сби-

вая с каблуков намерзший лед. Потом подходила к топящейся печке и, улыбаясь озябшими непослушными губами, протягивала к огню красные, как гусиные лапы, руки.

Ребята, неохотно отрываясь от своих дел, брели в пустой и холодный зал и там слушали очередной доклад девушки: о революции, о гражданской войне, о походе Антанты.

Скамеек в зале не было, сидеть было не на чем, они стояли перед сценой, переминаясь с ноги на ногу, и терпеливо ждали, когда девушка кончит. И была в этой их покорности не только усталость людей, которые провели на холоде целый день, промышляя кусок хлеба, но и трогательная чуткость к ней, к вузовке, которой, повидимому, тоже приходилось нелегко.

После доклада снова разбредались по своим углам и занимались прерванными делами. Иногда студентке удавалось организовать хор. Она подсаживалась к группе ребят, ожесточенно дующихся в карты, рассказывала им что-нибудь из прочитанного и, завоевав их внимание, предлагала:

— Давайте споем, ребята!

И чуть сиповатым от простуды голосом начинала:

«Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...»

По одному они вплетали свои голоса в ее голос, и к концу вечера низкие своды монастыря оглашались дружной песней, популярной в те годы.

Слишком не похожа была обстановка приемника на ту, что была в родном доме, и Александр несколько раз пытался бежать. Он тосковал по матери. Ему казалось, что она жива, что не было той страшной сцены на вокзале, когда ее уносили люди в серых халатах, что если он найдет тот город и тот дом, где жил, все будет прежним. Но после каждого побега его ловили и возвращали в детдом.

Однажды Александр все-таки попал в родной город. В поисках чего-нибудь съестного он забрел на знакомую улицу, вымощенную булыжником, полого спускающуюся к пристани. И вдруг увидел свой дом. Он замер от неожиданности и долго стоял, издали разглядывая его.

Дом оставался прежним. Тот же сад примыкал к не-

му со стороны реки. Но раньше и дом, и сад казались Саше больше, светлее.

Александр перебежал дорогу, подошел к парадному крыльцу. На дверях была небольшая дощечка с надписью: «Коллегия адвокатов».

Дверь распахнулась и вышел внушительного вида гражданин в золотых очках, солидно придерживая пухлый портфель. Он скользнул глазами по оборванцу, который стоял в засаленном ватнике, скрестив на животе длинные до колен рукава, и, подумав: «Классическая поза, вызванная отсутствием пуговиц!» — прошел мимо.

Он не признал в этом грязном оборванце сына изящной, благоухающей духами Анны Александровны, частым гостем которой он бывал когда-то.

Александр подошел к воротам дома, они были открыты, но, почему-то побоявшись через них войти во двор, он обошел дом с угла и прильнул глазами к щели забора, огибающего сад.

В саду было пусто. Осенние дожди обесцветили траву, и она лежала желтая, поникшая. Яблоня-китайка стояла голая, сбросив свою листву, кое-где висели на голых сучьях сморщенные, потемневшие яблочки. Только астры на клумбе перед беседкой (кто-то все-таки посадил их!), несмотря на осень, цвели ярко, лиловыми шапками.

Оглянувшись (в переулке никого не было), он перемкнул через забор, для него это было уже привычным делом. С волнением прошелся по саду. Опавшие листья шуршали под его босыми ногами. Зашел в беседку. Она была уже не та. Выбиты были цветные стекла, и кто-то оставил свои следы по углам.

Медленно побрел он к дому. Вот и терраса, на которой летними вечерами они пили чай. Сейчас на ней протянуты веревки с бельем. Вот тут, под ступеньками террасы, он хранил свои сокровища: дверную цепочку, сверкавшую точно серебряная, резинку для рогаток, коллекцию черепков битой посуды и многое, многое другое, чего не разрешалось вносить в комнаты, но без чего скучно было играть.

Александр присел на корточки и заглянул в темноту под лестницу, может быть, что-нибудь осталось от его сокровищ?

— Ты что тут, шантрапа, делаешь? А?

На грозный окрик он поднял голову и увидел толстую бабу. Она стояла, подоткнув подол юбки, держа в руках ведро с помоями.

— А ну, марш отседова! Ишь, подбирается! Я тебе покажу, шаромыжник!

Александр бросился бежать.

Спустившись к реке, сел в стороне от сновавших возле пристани людей, и скупые мальчишеские слезы навернулись на его глаза. Он понял, что никакого дома нет, что зря в поисках его убегал из приюта. Вот он и нашел его, этот дом, а что толку. Живут в нем чужие люди, и нет им дела до него, до бездомного.

В тот же день он пошел в Соцвос и попросил отправить его обратно в детдом.

Заведующий спросил, сколько раз он убегал оттуда. Александр признался.

— Ведь опять сбежишь! — сказал заведующий, испытующе глядя на него.

— Нет, не сбегу, — упрямо сказал Александр. — Больше не сбегу, — уже тише добавил он.

Заведующий продолжал смотреть на него пристально, раздумывая, что могло стрястись с этим парнем, что он пришел сам и просится обратно. Как быть с ним?

— Ладно, друг, поедешь в другое место! — решительно сказал он, придя к какому-то своему выводу, и крикнул в другую комнату, дверь в которую была открыта.

— Константин Иванович! Твоего полку прибыло! Забирай еще одного хлопца!

Так Александр стал воспитанником детской колонии имени Феликса Дзержинского.

В колонии Александр прожил до шестнадцати лет. Рабфак, потом университет, потом самостоятельная научная работа. Но до сих пор при воспоминании о колонии, Александру Петровичу становилось тепло от мысли, что есть где-то друзья, которые думают о нем. Все годы он поддерживал связь с колонией. Ездил туда на каникулы, в дни отпуска и только со смертью Константина Ивановича связь эта несколько ослабела.

ГЛАВА III

Александру Петровичу необходимо было съездить на озеро и взять там с солонца почвенные пробы. Манефа Юрьевна, узнав об этом, тоже захотела поехать. Ее давно интересовал этот солонец.

Так как одна машина была в городе, а другая стояла на профилактическом ремонте, то к озеру решено было поехать на лошади. Собирались отправиться пораньше, чтобы засветло вернуться, но неожиданно явился директор соседней лесозащитной станции и задержал Александра Петровича. Выехали с обеда. Разумнее, пожалуй, было отложить поездку до следующего дня, но Александр Петрович не любил откладывать намеченное.

До озера было часа два езды. С пробами пришлось повозиться. Земля была такой плотной, каменистой, веками скипевшейся от солей, что кайло и лопата с трудом брали ее.

Пока взяли пробы и описали почвенные ямы, солнце краем своим коснулось горизонта. Степь и дорога в пыли теперь казались розовыми. Но вот небо на западе стало зловещим. Оттуда наползала огромная черная туча. Она охватила полнеба, через несколько минут упали первые, редкие капли дождя, в воздухе запахло пылью.

Манефа, втянув голову в плечи — от холодных капель, падающих на шею, было щекотно — смеясь, вытаскивала из-под ящиков брезент и, устроившись в телеге, укрылась им.

— Александр Петрович! Будет вам там возиться! Идите сюда! Щербинский, который с Иваном Кузьмичем упаковывал образцы, подошел к Манефе. Лицо его было хмуро.

— Боюсь, что нам придется заночевать здесь, — сказал он.

— Вот ужас-то! — воскликнула Манефа. На самом деле в том, что придется заночевать в степи, она не находила ничего ужасного. Наоборот, ей стало весело от того, что путешествие их, так скучно начавшееся, закончится приключением.

— Влезайте сюда! — сказала она и приоткрыла брезент. — Вы совсем промокли.

Александр Петрович сел возле нее на телеге, свесив ноги. Она закрыла ему голову брезентом, и сразу стал

уютно в темноте. Слышно было, как дробно стучит дождь по брезенту, и казалось, что он стучит по их головам.

— Бросай, Иван Кузьмич! Полезай сюда! — крикнул Щербинский. Но Иван Кузьмич взял с телеги мешок, накинул его себе на спину и полез под телегу.

Манефа Юрьевна сидела, тесно прижавшись своим сильным телом к Александру Петровичу. Ей было интересно наблюдать, как действует на него эта вынужденная близость.

Александр Петрович, оживленный вначале, вдруг стал молчалив. Он рассеянно отвечал ей, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда он закуривал, Манефа, при свете вспыхнувшей спички, видела, как у него дрожали руки. Она еще сильнее прижалась к Александру Петровичу и почувствовала, что ей стало жарко.

Она откинула голову и закрыла глаза. Ей казалось, что она слишком громко дышит. Она задержала дыхание, чувствуя, что вот, вот задохнется. Это было почти мучительно и в то же время не было сил, чтобы прервать это душное молчание.

— Вот и дождик перестал! — услышали они возле себя голос Ивана Кузьмича.

Щербинский откинул брезент. Дождя действительно не было. Но небо над головой было еще в тучах. Слева, над горизонтом всходила, хмурясь, луна.

— Что, Александр Петрович, домой пробираться будем, али здесь переночуем?

— А сам, как ты думаешь, Иван Кузьмич? — уклонился от ответа Щербинский.

Ему хотелось, чтобы тот сказал, что ночевать придется в степи, и в то же время страшно было, что он скажет именно это.

— Я думаю, придется, Александр Петрович. По такой дороге далеко не уедешь. Вон как раскисла, дорожка-то. Лучше обождать, пушай маленько подветреет.

Оттого, что они остаются в степи, Александр Петрович не почувствовал испуга, как ожидал. Он оживился, принялся помогать Ивану Кузьмичу располагаться на ночь. Распрягли лошадь и пустили ее пастись. Решили развести костер. На растопку пошел один из ящиков. Нарвали камыша. Но камыш был сырой, да и доски ящи-

ка успели отсыреть, и костер разгорался плохо. Иван Кузьмич стоял перед ним на коленях и дул изо всей силы под сложенные грудкой щепы.

Манефа сидела на телеге, зябко кутаясь в стеганку. Изредка поднимала голову, оглядывала небо. Оно было в низких рваных тучах, которые стремительно неслись куда-то, набегали на луну и на мгновение закрывали ее. Казалось, что не тучи плывут по небу, а плывет луна, покачиваясь, как буюк в волнах.

Сырой камыш, наконец, загорелся. Белый, как пар, дым потянулся от костра, ветер трепал его, то относил в сторону, то бросал на Ивана Кузьмича, который стоял на коленках перед костром. Старик чертыхался, кашлял, тер слезящиеся от дыма глаза и, выбирая пучки камыша посуше, осторожно подкладывал их в огонь.

— Эх, чайку бы вскипятить! — сказал он. Манефа прыгнула с телеги, отвязала ведро и пошла к озеру.

— Подождите! Куда же вы! Я сам принесу! — крикнул Александр Петрович, молодое вскакивая на ноги.

— Догоняйте! — крикнула Манефа и, позвякивая ведром, изо всех сил, как девочка, побежала к озеру.

Александр Петрович пробежал за ней с полсотни метров и перешел на шаг. Сердце давало себя знать. Сильными глухими ударами оно билось в груди. Отчего оно билось? Оттого ли, что он бежал, или билось в ожидании чего-то? Было немножко неловко перед Иваном Кузьмичем за свою резвость. Скажет старик:

«Разыгрались детки!»

Камыш на берегу слегка шелестел от ветра. Вода у берега была совсем черной, только на середине озера, тронутая легкой рябью, пролегла лунная дорожка. Неровная колеблющаяся она исчезала, как только луна накрывалась облачком.

Зачерпнув воды и поставив ведро у ног, Манефа стояла на берегу, у самой кромки воды и не отрываясь смотрела на лунную дорожку. Фигура Манефы с закинутыми назад руками, с тонкой, гибко выгнутой талией и высокой грудью была очень хороша сейчас. Темным силуэтом вырисовывалась она на фоне серебрившейся воды.

Александр Петрович подошел к Манефе. В лунном свете лицо ее показалось ему голубым, глаза темными и глубокими. Александру Петровичу почудилось в них ожидание, когда она взглянула на него. Не думая боль-

ше ни о чем, ни о том, что от костра их может увидеть Иван Кузьмич, ни о том, что он нехорошо поступает в отношении Натальи, Александр Петрович шагнул к Манефе, обнял ее и, крепко прижав к себе, поцеловал в шею, смутно белевшую в темноте.

* * *

Денисов проснулся как всегда рано. Утро было ветреное, пасмурное. Высокие свинцовые облака сплошь затягивали небо и только на востоке, там, где всходило солнце, прорывалась алая полоска зари. После вчерашнего дождя было прохладно и сыро.

Денисов пошел было к Щербинскому, но тут же вспомнил, что Александр Петрович не вернулся вчера с озера.

«А может быть, все-таки приехал ночью», — подумал Денисов и заглянул в палатку Щербинского. Но нет, постель Александра Петровича была не тронута. «Не приехал!». Значит, на сегодня придется заменить начальника экспедиции. Ну что ж, заменим. Какие же работы были сегодня намечены? «Да! Посадка ясеня!» и, вспомнив о ясене, который вот-вот должны были привезти со станции, Денисов пошел в лабораторию уточнить схему сегодняшней посадки.

Этого ясеня они ждали как манны небесной. Из-за него задерживались работы на гослесополосе. Еще две недели тому назад из Ростова была получена телеграмма о том, что ясень отправлен и только вчера он, наконец, прибыл на железнодорожную станцию. Вчера же была выслана и машина за ним.

«Да вот она, кажется, возвращается!» Денисов прислушался, вышел из лаборатории. Ну так и есть. Машина была уже близко. Шофер высунулся из кабины и, завидя Денисова, направил машину прямо на него.

— Привет! — сказал он, и прикоснулся к старой промасленной кепке.

— Здравствуй, Тимофей Алексеевич! — ответил Денисов и, видя, что шофер продолжает сидеть за рулем, ожидая дальнейших распоряжений, сказал:

— Отдыхай пока, а после завтрака отвезешь ясень на второй участок.

— Ладно.

— Все привез?

— Привез! — скупо ответил Тимофей Алексеевич и было в его голосе что-то такое, что заставило Денисова внимательнее взглянуть в лицо шофера.

Тимофей был чем-то расстроен. Обойдя машину, Денисов не нашел никаких поломок и заглянул в кузов. Почти до самого брезентового верха она была нагружена сеянцами ясеня, связанными в пучки по сто штук. Подтянувшись на руках, Денисов легко перебросил свое тело через борт машины. В нос емушибанул горьковатый запах сухого голя, знакомый с детства. Такой запах стоял у них на чердаке, где на длинных шестах связанные попарно висели веники.

Денисов переступил и услышал, как под его ногами ясень захрустел.

«Ай-яй-яй! Как пересушили-то! И это посадочный материал!» — с горечью подумал Денисов. Он протянул руку, чтобы вытянуть из пучка сеянец и укололся о него, такой он был сухой. Надломив прут, Денисов не поверил своим глазам: древесина в изломе была сухая, мертвая. Все еще не желая поверить в это, Денисов лихорадочно стал вытаскивать из пучков один сеянец за другим и надламывать их, в надежде, что ошибается в догадке. Но нет, каждый раз слышал он при надломе сухой ломающийся треск.

«И это посадочный материал!» — снова сказал себе Денисов, почти с отчаянием глядя на возвышавшуюся перед ним гору ясеня. Он подумал о том, как ждали они этот ясень, с каким нетерпением высчитывали дни, когда, наконец, он прибудет к ним. И вот на тебе! Все пошло прахом!

Угроза остаться без ясеня ужаснула Денисова. Но в то же время мысль о том, чтобы разрешить посадку, была им тут же отвергнута. Он представил себе как этот ясень, высаженный в степи на знойном ветру в горячую, как пепел, сухую землю, будет безжизненно торчать из земли на сотнях гектаров голыми почерневшими прутиками.

Денисов прыгнул на землю и с нахмуренным лицом, не разгибаясь, резкими жестами смахивал с колен приставший мусор. Шофер стоял тут же и выжидательно смотрел на него.

— Вот что, Тимофей Алексеевич, — сдержанно ска-

зал Денисов. — Ясень на участок не повезешь. Свалишь его вон у того сарайчика... Ольге Павловне на хворост...

Тимофей ничего не ответил. Он озадаченно сдвинул кепку с затылка на глаза и полез в кабину. «Да... Дела...» — Только и мог подумать он, круто поворачивая машину к сараю.

Башкиров, которому Денисов вынужден был рассказать о случившемся, вначале опешил, а потом разразился бранью в адрес Гослесопитомника.

— Так значит все сорок тысяч стряпухе на подтопку!.. Ловко! — Шлют, понимаешь, всякое дерьмо. То перегреют так, что рукой не возьмешь, то пересушат до хруста...

— Сама себя раба бьет! — сказал хмуро Денисов. — Давно пора свой посадочный материал иметь. А потом почему ты думаешь, что питомник виноват? За две недели ясень и в дороге мог высохнуть.

Но у Башкирова были свои счеты с питомником и он продолжал метать громы и молнии.

— Да, кстати, где этот твой шофер? — спохватился он. — Надо же акт составить. Сколько, говоришь, там было ясеня?

Иначе отнесся к делу Мулин, узнав, что Денисов свалил на «хворост» сорок тысяч сеянцев ясеня.

— Нет, ты понимаешь, что он наделал твой Денисов! Он нас без ножа зарезал! Сорок тысяч кошке под бантик! Сорок тысяч!

Мулин схватился за голову и закатил глаза под самый лоб.

— А план! — вскрикнул он вдруг, точно ужаленный. Как ты теперь план выполнишь? Где возьмешь ясень для посадки?

Башкиров молчал. Он понимал, что Мулин был прав. С выполнением плана было действительно туго. Но не сажать же было эти «веники» только для того, чтобы выполнить план! Он сказал об этом Мулину. Того точно шилом в спину ткнули. Нелепо изогнувшись, уполномоченный качнулся, оперся руками на стол Башкирова и, глядя директору прямо в глаза, сказал неожиданно тихо.

— Ты, Алексей Иванович, хочешь быть набожнее попа со своим Денисовым! За то, что сеянцы не прижились бы, ты не был бы в ответе, а за то, что ты не высадил их, ты ответишь... Ясно..?

— Поди ты к черту! — обозлившись, стукнул по столу кулаком Башкиров. — Не желаю я разбазаривать государственную копейку! И не позволю! Ясно?

Башкиров встал и, чтобы отвязаться от Мулина, велел подавать машину.

Вернувшись с озера, Щербинский был несколько удивлен тем, что Денисов в какой-то мере превысил свои полномочия парторга, забрав без ведома начальника большую партию посадочного материала. Правда, Александр Петрович должен был сознаться себе, что Денисов поступил правильно, что сам он тоже не разрешил бы посадку этого ясеня. Но во всей этой истории Щербинского удивило другое. Удивила та твердость, решительность и принципиальность, которую проявил парторг. До сих пор Александру Петровичу казалось, что Иван Иванович Денисов уж слишком мягкий, нерешительный и даже... безвольный человек. В спорах, которые то и дело возникали в столовой, в лаборатории о том, как лучше, как скорее вырастить лес, Денисов обычно помалкивал, хотя и выслушивал внимательно все, что говорилось. У Щербинского создавалось даже впечатление, что Денисов многого еще не решил для себя. Нерешительность Денисова сказывалась в его обращении с людьми. По мнению Щербинского, Денисов был излишне мягок с ними, деликатен. Когда ему надо было что-нибудь от них, он не приказывал, а просил. Правда, на его просьбы люди почему-то стеснялись ответить отказом, и Щербинский видел, что выполняются они, пожалуй, охотнее, чем приказания его, начальника экспедиции. Но натуре Щербинского, кипучей, деятельной, чужда была эта мягкость, он хотел бы, чтобы парторг, его правая рука, был смелее и требовательнее.

История с ясенем показала Александру Петровичу, что он заблуждался в оценке Денисова. Когда надо было, парторг проявлял и энергию и инициативу и мог принимать решения не менее смелые, чем сам Щербинский.

«Ну, что ж, тем лучше, что я ошибался в нем!» — думал Александр Петрович, проникаясь еще большим уважением к парторгу.

Ольге Павловне, стряпухе экспедиции, не спалось. Беспокоилась, как бы опара для блинов не перекишла: «дрожжи дюже сильные». Потом думала, где бы достать кислого молока, чтобы не очень кислое было, но и не пресное. Разве у Ивановны спросить?.. То-то, чай приятно будет молочка кисленького похлебать, как приедут со степу. Истомятся за день-то: жара не приведи господи...

Манефа Юрьевна любит кисленькое. В тот раз, как села к столу, так аж руками всплеснула: «Ряженка! Ольга Павловна, я должна вас поцеловать!» Целуй, пожалуй, коли больше некого. А некого ли? Что-то частенько видать их стало с Александром Петровичем. На работу вместе, с работы вместе. И в такое время все друг около дружки. Уж ладно ли тут? Не дай бог! Ведь жена у него, детки...

— Кузьмич! А Кузьмич! — толкнула Ольга Павловна мужа в бок.

— Чего тебе? — недовольно спросил Иван Кузьмич спросонья.

— Слышь, Кузьмич, ты ничего не примечаешь?

— Да чего тебе?

— А я примечаю, Ваня... Прислоняется Александр Петрович до Манефы Юрьевны...

— Тю! Дура баба! Такое выдумает, что и во сне не приснится!

— А ты не тюкай, не слепая, вижу, как свозил ты их тогда на озеро, так с той поры они вместе и вместе. Ай схлестнулись там?

Ольга Павловна настороженно ждала ответа. Ей хотелось, чтобы муж сказал, что ничего такого там не было, но старик молчал и только по тому, как беспокойно шевелил он под одеялом пальцами ног, она догадывалась, что он не спит.

— Не наше дело, — сказал Иван Кузьмич равнодушно и деланно зевнул.

— Как так не наше дело! — вспыхнула негодованием Ольга Павловна и так повернулась на кровати, что та жалобно скрипнула под нею. — А чье же это, по-твоему, дело?

Но вопрос ее так и повис в темноте без ответа. Иван Кузьмич отмолчался. По правде сказать, он и сам тогда, на озере, кое-что заприметил, но не трепать же язы-

ком об этом. Бабы они что сороки, живо на хвостах разнесут.

Через несколько минут до него донеслось ровное дыхание жены. Заснула. Зато ему не спалось. Потревожила сон старая! Иван Кузьмич встал, пошарив в темноте, нашел табак, спички и, закулив, вышел на крылечко.

«Грех да беда с кем не живет!» — думал он, глядя в темное звездное небо.

* * *

Ольге Павловне было далеко за пятый десяток. Была она с виду еще крепкая, несмотря на излишнюю полноту, подвижная, но любила при случае посетовать, пожаловаться на годы:

— Нет, бабоньки, видно отошла моя пора, — говорила она, легко перекладывая с плеча на плечо коромысло с тяжелыми ведрами, с которыми уже добрых полчаса стояла у крыльца, судача с соседками.

— Бывало, пойдем со свекором-упокойником, царство ему небесное, камыш резать, замаю мужика: он сноп, а я два, он сноп, а я два. А сейчас куда там! И половины того нет! Да и к слову, бабоньки, долог ли наш бабий век. Недаром пословица говорится: «Бабий век—сорок лет». Только и покрасуешься, пока в девках, пока замуж не вышла, а там...

Ольга Павловна машет рукой, но тут же, точно спохватившись говорит:

— Мне, конечно дело, грех на своего Кузьмича обижаться. Ни словом, ни чем другим меня не обидел, даром, что живем без малого сорок лет. А другие? Как они измываются над нашей сестрой? И пьют-то, и дерутся-то, и по чужим бабам таскаются. Не приведи господь!

— Старуха! — кричит, выглядывая в окно, Кузьмич. — Ты дратву с полки не убираала?

— Сдалась мне твоя дратва! Сам куда ни на есть сунул да и ищешь вчерашний день!

Голова Кузьмича скрывается в окне.

— Ну так вот я и говорю, как только они не измываются над нашей сестрой, — возобновляет прерванный разговор Ольга Павловна, но видно, что разговор уже не доставляет ей прежнего удовольствия. Она перекладывает коромысло с одного плеча на другое и, сказав:

— Пойти, поискать старику потерю, — плавно покачивая ведрами, идет к дому.

Стариком и старухой они стали называть себя чуть ли не с двадцати лет. Но ни Ольге Павловне, тогда молодой, краснощекой женщине, ни Ивану Кузьмичу, молчаливому, несколько угрюмого вида парню, это не казалось ни странным, ни обидным. Так называли себя их отцы и матери, хотя им тоже далеко было до старости.

Старуха — это значило жена, хозяйка. Старик — муж, хозяин, глава дома. Как же еще иначе называть на людях друг друга? Ласковое: Оля, Олюшка, Ваня приберегалось для других минут, когда была уверенность, что никто посторонний тебя не слышит.

Жили Иван Кузьмич и Ольга Павловна дружно. Хотя и любила Ольга Павловна в молодости попеть, поплясать, но считалась с характером своего мужа, хмурого, малоразговорчивого, сидела больше дома. Вечера они коротали вдвоем. Иван Кузьмич любил читать, читал он вслух, а Ольга Павловна сидела напротив его, слушала и, двигая спицами, вязала.

Читал Иван Кузьмич плохо, чуть не по складам, но и это чтение доставляло ей огромное удовольствие. Сама она когда-то кончила ликбез и все уже забыла.

Если Иван Кузьмич начинал вдруг читать про себя или переворачивал несколько страниц, которые казались ему почему-либо неинтересными, Ольга Павловна кричала:

— Ты мне читай все! Нечего из пятого в десятое скакать, и так сколько страниц пропустили!

Если вечерами Иван Кузьмич долго задерживался в конторе после работы, Ольга Павловна говорила:

— Не иначе, как в «козла» засел мой старик! — и шла в контору учинять разгром.

Торжествующая приводила Ивана Кузьмича домой.

— Связался черт с младенцем! — ворчала она, под «младенцем» разумея Валерку, с которым Иван Кузьмич не прочь был составить партию.

Накормив старика ужином и несколько поостыв, уже дружелюбно говорила, пододвигая к нему книгу:

— Читай!

Иван Кузьмич напяливал на нос очки и глухим замогильным, точно придушенным голосом начинал читать.

В интересных местах она оставляла вязанье и напря-

женно смотрела Ивану Кузьмичу в рот. Иногда спрашивала:

— Это кто сказал-то? Гришка?

— Нет, Подтелков.

— А-а-а, Подтелков...

В другом месте она комментировала:

— Что он, дурак, не убил его! Убить бы такую сволочь и дело с концом! — Ольга Павловна вздыхала.

— Ох, господи, господи... — говорила она, слушая описание смерти Натальи, жены Григория. — И что уж она и сделала так. И дите сгубила и сама с тем. Чать, прожила бы одна с детишками-то, старики помогли бы, за дочь почитали.

Она не сомневалась в том, что Пантелей, Ильинишна и другие герои «Тихого Дона» существовали в действительности.

— Ох-хо-хо! Все уже забыли про гражданскую-то, а какие страсти были! Боже мой!

Когда Иван Кузьмич ленился читать, Ольга Павловна говорила с тоской:

— Эх, была бы я грамотная, не кланялась бы тебе извергу! Сама бы все от корки до корки прочитала. Не учили меня. Мачеха, бывало, скажет: «Пеленки-то стирать можно и не учёной!» А оно вон как обернулось дело-то, не пришлось мне и стирать-то их!

В последних словах жены Ивану Кузьмичу слышался уже упрек ему самому. Поэтому, когда Ольга Павловна, внося из сеней самовар и легко поставив его на стол, говорила:

— Кузьмич! Чай пить!

Он хмурился и пил чай молча.

— Чего насупился? — спрашивала Ольга Павловна, для которой молчание мужа было непереносимо. И, видимо, догадавшись в чем дело, говорила без всякого перехода:

— Оно еще неизвестно, какие деточки-то и уродились бы. Вон встретила ноне Макарьиху, горькими слезами обливается. Петька-то отказался от нее. Ты, говорит, мне не мать, и я знать тебя не желаю. Вот и возьми его. А она его, мерзавца, в масле катала. Да ты, сукин сын, спасибо скажи, что она тебя шарлотом не вырастила, и люди произвела!

Ольга Павловна с ожесточением дунула на блюдце с чаем.

— А все через кого? Все через сношеньку, не угодила ей, вот та его и настропалила. Да я бы его, подлеца, враз в порядок произвела. Нет таких законов советских, чтобы мать бросать. Я ей говорю: подавай, сваха, в суд, платить будет! Ну, кажись, уговорила... — удовлетворенно закончила Ольга Павловна, вытирая пот с лица.

— А тебе до всего дело...

— Мне! — снова воинственно спросила Ольга Павловна. Мне до всего дело! Беззакония я не терплю. Когда только оно у нас и выведется. Но думаю скоро...

Когда вблизи лесозащитной станции расположилась и начала свою работу экспедиция, Ольга Павловна сгорала от любопытства: Что за люди? Чем занимаются? Долго ли здесь пробудут?

Каждый вечер, как только Иван Кузьмич, устроившийся в экспедицию разнорабочим, приходил домой, она одолевала его вопросами:

— Ну, как там? Чего сегодня делали?

— Известно что, работали! — степенно отвечал Иван Кузьмич. Он сидел на крылечке и стаскивал с себя шерстяные носки, которые и летом носил с галошами, вправив в них выцветшие галифе защитного цвета.

— Сама знаю, что не играли! — говорила Ольга Павловна обиженная тем, что муж не собирался поделиться с нею подробностями дня, проведенного им среди интересных людей. — Язык-то не отвалился бы у тебя сказать!

— А я что, понимаю что ли в их делах! — говорил Иван Кузьмич. — Одни ходят бычки по степу собирают, другие мышей ловят да чучела из всякой живности делают, третьи в яму глядят.

— В яму?

— Ну да. Описывают, где, какая почва: какие, станут, деревья на ней произрастать могут. Начальника ныне отвозил на станцию. Советовался дорогой, не знаешь ли, мол, Кузьмич, женщины какой подходящей. Стряпуха, мол, нам нужна.

— Ой, Ваня...

— Чего, Ваня?

— Может я сгодилась бы им..?

— Тю, старая! Не едали они твоих борщей да каш.

Им пища, чать, городская требуется: рагу, шашлык, антрекоты...

Бывая в городе, Иван Кузьмич заходил иногда в столовую. Наименования незнакомых блюд казались странными, загадочными. Повертев в руках меню и не зная, что выбрать, Иван Кузьмич заказывал борщ по украински и гречневую кашу с маслом. Так было вернее. А то, кто его знает, какую чепуху на постном масле подадут, если закажешь «антрекот». Было же так, заказал цветную капусту, принесли пареную кочерыжку, политую маслом. Он до сих пор отплевывается, как вспомнит это блюдо.

— Им, чай, в городе приелись эти антрекоты-то, — не сдавалась Ольга Павловна, — пушай хоть здесь поедят по-русски.

Она целый вечер убеждала Ивана Кузьмича в том, что ей следует пойти в стряпухи.

— Да на самом-то деле, Кузьмич, кругом только и слышишь, что лес да лес. Все как помешались на этом деле. Одна я ни к чему не причастная. Да что, моя копейка щербатая что ли? Охота и мне, чай, послужить общему-то делу. На машину садиться, лес сажать мне поздновато, не угнаться за молодыми, а тут бы мне в самый раз...

Иван Кузьмич, наконец, сдался, обещал поговорить с начальником. Но что-то не по душе ему была затея старухи. Ложась спать, он продолжал еще бурчать про себя. Слышно было что-то вроде: «Куда крестьяне, туда и обезьяне...»

Ольга Павловна знай посмеивалась да помалкивала.

Уж кто-кто, а она знала, что будет так, как она захочет, сколько бы не ершился старик.

Через три дня она уже кричала на него в кухне, когда он замешкался с доставкой воды для столовой:

— Тебя только за смертью посылать, старый черт! Люди со степу приедут, а у меня и обеда нет!

* * *

Жарко в палатке. Душно, несмотря на откинутый пол. Белый треугольник лунного света лежит на земле у входа, от него в палатке светлый полумрак.

Не спится. Денисов встал, натянул сапоги, мягкие, отсыревшие после вчерашней поездки на озеро и тихонь-

ко, чтобы не разбудить спящего Ярослава Ивановича, вышел из палатки.

Тихо в лагере, залитом лунным светом, только изредка с центральной усадьбы лесозащитной станции доносится лай собак, но доносится еле слышно, от станции до базы экспедиции больше километра.

В зеленоватом свете маленькой высокой луны все кажется странно застывшим. Черные короткие тени падают от белых палаток, от полуторки с брезентовым верхом, от бачка, опрокинутого возле потухшего костра.

Спят люди, утомленные трудовым днем на горячем степном ветру, под лучами раскаленного добела солнца.

Пусть спят, набираются сил. Завтра ждет их такой же трудный день. И завтра, и послезавтра и так до глубокой осени.

Денисов всмотрелся в даль. Безжизненной сейчас лежала степь перед ним. Залитая лунным светом, она казалась пустыней. Сколько лет пройдет, прежде чем поднимутся здесь широколиственные дубравы? Тридцать? Сорок? Пусть пятьдесят лет!

«Самое главное, верить в то дело, которое ты делаешь», — подумал Денисов, точно подводя итог своим мыслям и медленно пошел по лагерю.

Вот палатка начальника экспедиции Щербинского. В палатке Александра Петровича свет. «Работает», подумал Денисов и тут же услышал из палатки женский смех. Смеялась Манефа Юрьевна, новый почвовед экспедиции. С первого дня приезда не понравилась она Денисову. Его раздражал ее постоянный и, как ему казалось, беспричинный смех, а так же манера кокетничать со всеми мужчинами.

Денисов считал, что в условиях жизни и работы в полевой обстановке нужна особенная чистота и целомудренность в отношениях. Многие отрывались от семьи надолго, и очень важно было, чтобы в коллективе была здоровая товарищеская атмосфера. Она и была такой до приезда Манефы Юрьевны. Манефа же вносила в эту атмосферу недопустимый, с точки зрения парторга, тон. И Денисов видел, как все мужчины, невольно подчиняясь этому тону Манефы, становились в ее присутствии легкомысленнее, игривее. Не избежал этого и Щербинский. В последнее время Денисов все чаще и чаще видел их вместе.

«И чего вяжется к человеку!» — подумал он неприязненно о Манефе Юрьевне. Конечно, в работе их много общего, оба они почвоведы, это сближает их, но совершенно не обязательно еще и ночью торчать в его палатке.

Да и Щербинский тоже хорош... У самого жена, дети, а он глаз не сводит с этой Манефы Юрьевны...

«Надо завтра же поторопить его с приездом жены», — решил Денисов и пошел дальше. Миновал палатку девушек, постоял возле палатки ребят, прислушиваясь к сонному бормотанию кого-то из спящих и направился к лаборатории. По обе стороны от нее было отгорожено по комнате с отдельными ходами. В одной из них жил Воронцов, геолог экспедиции, в другой — зоолог Варнс.

Открыв дверь, Денисов вошел в лабораторию. Тихо, сумрачно было в ней сейчас. Тени лежали по углам. Полоса лунного света падала на стол с химической посудой, поблескивало горлышко колбы с какой-то жидкостью. Пахло реактивами, было тихо и жарко от того, что целый день работали сушильные шкафы. Постояв немного в лаборатории и, вспоминая зачем он здесь, Денисов вышел и сел на ступеньках. Идти в палатку не хотелось. Он знал, что все равно не уснет. На часах была половина второго, но ничто еще не говорило о приближении рассвета. Денисов никак не мог привыкнуть к тому, что рассветает на юге позже.

«А у нас сейчас светло уже», — подумал он. «У нас» — это было на Урале. И, хотя Денисов только родился и вырос там, а большая часть его сознательной жизни прошла совсем в других местах, он всегда с большой теплотой вспоминал этот суровый край. Вот и сейчас, подумав о том, что «там» уже светло, он вспомнил, как мальчишкой утрами выезжал с отцом на рыбалку.

Тяжелое, весомое всходило солнце. Оно куриным желтком повисало над горизонтом. Кайма соснового бора отражалась в спокойной глади воды. Вода была розовой, плотной, маслянистой, легкий парок поднимался над нею.

Отец работал на заводе. По вечерам Денисов, тогда шестилетний мальчишка, убегал из дому и с плотины заглядывал в широкие окна заводских корпусов.

Одетые в одинаково черные промасленные комбинезоны, обливающиеся потом люди сновали у печей. Судорожными движениями хватали они из огня раскаленные

добела полосы железа и совали их под гулко ухающий молот.

Уханье сменялось глухим шлепаньем. Обрушиваясь на раскаленный металл, чудовище-молот тискал, мят его. Белые искры летели в стороны. Когда железо остывало, его вновь бросали в печь, вытаскивали другое. Так ковали косы-литовки. Они славились по ту и по другую сторону Урала. Под взмахом их падала пахучая стена Ивановского разнотравья, никла скудная типчаковая поросль Барабинской степи.

Отцовский дом стоял на тракту. Осенью и зимой по нему тянулись подводы. Это мужики окрестных деревень везли косы на станцию.

Сеял нудный осенний дождь, визжала галька под колесами. Крупы и спины лошадей были мокрыми от дождя и пота. Мужики, накрывшись рогожами, шагали возле телег, понукая лошадей.

Зимой было веселее. Искрился снег, вспыхивал под солнцем голубыми огоньками, взвизгивали полозья саней. Мужики шли в больших тулупах, похлопывая себя крест на крест руками в больших рукавицах, бороды и усы их были в ледяных сосульках.

Но лучше всего было лето, короткое уральское лето. Можно было целый день не уходить с реки. Дома было плохо. Отец пил. Когда он приходил пьяный, мать выпроваживала ребят на улицу:

— Идите, идите с богом, нечего вам тут делать!

Как-то раз, забравшись на завалинку, маленький Ваня заглянул в окно. Отец лежал на кровати, задрав бороденку вверх. Волосы его были всклокочены, он расслабленно взмахивал руками, плевался и ругал «начальство».

Мать, стоя на коленях, стаскивала с него сапоги. Отец дрыгал ногами и мешал ей. Вдруг он согнул ногу в колене и, с силой выбросив ее, ткнул сапогом матери в лицо. Мать охнула, закрыла лицо руками и сползла на пол.

Ваня спрыгнул с завалинки, опрокинул в темноте своей пустое ведро, с грохотом покотившееся по полу, и ворвался в избу. Отец, приподняв голову с подушки, тупо уставился на него.

— Не смей бить маму! Не смей! — тонко, пронзительно закричал Ваня, захлебываясь от слез, и с кулаками кинулся к отцу.

Точно вспружиненный вскочил отец с кровати. Схватив болтавшийся на спинке стула ремень, крутя в воздухе его тяжелой пряжкой, зарычал:

— Убью, змееныш!

Мать схватила сына и, пряча его за спиной, сказала твердо:

— Меня бить — бей, а ребенка не трожь!

Но отец изловчился и ударил сына по лбу тяжелой пряжкой. Мать целый вечер прикладывала сырую тертую картошку к лиловой шишке, вздувшейся на лбу сына. Шишка была с гусиное яйцо. Прикладывала, приговаривала:

— «У сороки боли, у вороны боли, у нашего Ванюшке скорее заживи». — И, обращаясь к старшим ребятам, просила:

— Уж вы не шибко серчайте на него, робята. Не от радости он пьет да куражится. Чай, сами видите, робит день и ночь, а все с хлеба на квас перебиваемся.

Сыновья угрюмо молчали, девочки шмыгали носами.

С годами отец пил все больше и больше. Напившись, валялся где-нибудь в канаве. Мать находила его и приводила домой; нередко карманы его бывали уже очищены, и в доме тогда не на что было купить хлеба.

Как-то раз мать пошла к «казенке», где после получки пил отец. Он стоял на высоком крылечке в компании таких же, как он, гуляк. Подойдя, мать подняла лицо вверх и сказала с укором.

— Отец! У робят сколь ден маковой росинки во рту не было!

— А-а-а... — заорал отец, и на мать обрушился поток брани. — На... на... — истошно вопил он, выворачивая карманы, — забирай все... все... На!..

Из вывернутых карманов посыпались медяки и серебряшки. Захватив горсть монет, отец швырнул их матери. Медяки, подпрыгивая, покатались по ступенькам. Мать собирала их под улюлюканье пьяной компании. Собрав все до копейки, она поклонилась отцу в пояс, сказала:

— Спасибо, Митрич! — И пошла от крыльца своей неторопливой походкой. Была она высокая, статная, красивая, отец казался перед ней замухрышкой.

Она никому не жаловалась на свою жизнь. Иной раз бабы-соседки, жалея ее и любопытствуя, спрашивали:

— Ты что, Васса, платком-то закуталась? Али опять твой-то фонарей понаставил?

— Зубы болят, — глухо отвечала она.

— Гордая ты, Васса, а ни к чему.

— Какая есть, — говорила мать и переводила речь на другое.

С ребятами она была строга, но справедлива, ласкала редко, мимоходом. От нужды и побоев рано постарела. Еще тщательнее стала она прятать свои косы под платок и, глядя шершавой, с потрескавшимися ногтями рукой голову младшенького своего, говорила:

— Вот он, заскребушек-то мой!

С тринадцати лет Ваня пошел на завод, где работал отец и старшие братья. Три года он проработал подручным мастера, вытаскивая из печи железо и подавая его под молот.

Мастер, довольный своим неторопливым, но сноровистым помощником, уже стал поговаривать: «Пора тебе, парень, самому к молоту становиться». Но парня тянуло другое, ему хотелось учиться. Это были годы, когда молодежь от станков хлынула в вузы и рабфаки.

Иван заявил о своем желании отцу. Отец не возражал. В семье можно было уже обойтись без заработка младшего сына.

— Что же, валяй, Ванюшка, валяй! — сказал он, — Может статься в инженеры выйдешь. Не все нашему брату-рабочему на горбу возить.

Отец был стар, мучила его одышка. Он сидел на скамейке, опершись старческими скрюченными руками на суковатую палку, с которой не расставался, сдавали ноги. На заводе он уже не работал. Его перевели сторожем на пожарную каланчу.

Каланча стояла на людном месте. Мимо туда, сюда шли люди. Они почтительно здоровались со стариком. Как ни как, а на заводе он проработал полвека, не часто такое встречается.

— Доброго здоровья, Иван Митрич! — говорили они.

— Доброго здоровьица, — степенно отвечал старик и, опасаясь, как бы поздоровавшийся тут же не ушел по своему делу, торопился спросить:

— А что сынка-то у тебя, Алексей Гаврилыч, не видать давно. Али подался куда?

Вопрос о сыне задавался только для того, чтобы поговорить о своем собственном сыне.

— Да вот мой меньшой тоже нацелился на ученье. Оно, конечно, верно говорят: «ученье свет, неученье тьма». Ученье—дело хорошее. Нам не довелось поучиться, так пускай хоть дети за нас поучатся. Только я то скажу, Алексей Гаврилыч, на ученье средства нужны, а где их взять? Я плохой, старуха хвора, у братьев своя жизнь, своя семья. Вот я и говорю Ванюшке-то, поезжай, мол, не препятствую, только вот, мол, тебе бог, а вот порог. На меня, мол, не полагайся, потому как и рад бы я, да...

В ту же осень, по путевке райкома комсомола Ваня уехал учиться на рабфак. Три года рабфакской жизни пролетели быстро, и вот Иван Денисов — студент агрономического факультета университета.

Почему он избрал именно этот факультет, а не технический, и не стал инженером, как в свое время располагал отец? Виной этому была любовь к природе. Суровая красота природы Урала еще в детстве пленяла его. Но не только это повлияло на его выбор.

Помимо любви к природе, было в нем и недовольство ею. Уж слишком скупа она была в своих щедротах. Со скрежетом зубовым приходилось северянину вырывать у нее насущный кусок хлеба. Иной раз, если и родила что-нибудь тощая подзолистая почва, то все равно преждевременной была радость земледельца.

Начинались проливные осенние дожди, и хлеб сгнивал на корню. А если и успевали его сжать и уложить в суслоны, сиротливо стояли они на оголенном поле. Низкое хмурое небо висело над ними, чернел невдалеке угрюмый лес, и стая воронья справляла возле них свое пиршество.

Что могло быть унылее этого осеннего уральского пейзажа!

И неужели нет такого способа выращивать хлеб, чтобы он успевал вызреть до осенней непогоды? Наверное, есть такой способ, надо только найти его, надо учиться, и он учился.

Учиться было интересно. В новом свете представало все, что он видел вокруг себя и любил: лес, вода, воздух, земля.

Два раза: на третьем и четвертом курсах — его вы-

бирали председателем профкома. Его уверенная спокойная манера держаться привлекала к нему симпатии, внушала доверие.

После окончания института несколько лет практической работы, затем война, одна, другая... Снова работа агрономом, затем работа в университете. И вот экспедиция...

На востоке небо начало светлеть, а Денисов все еще сидел на крылечке, покуривая. Наконец, встал, расправил плечи и пошел к себе в палатку. Когда он проходил мимо палатки Щербинского, там уже не было света.

«Завтра же поговорю с ним!» Еще раз подумал Денисов, забыв, что «завтра» это было уже сегодня. Был пятый час утра.

Александр Петрович, с жаром убеждавший Наталью в том, что ей пора «вылезти из семейной скорлупы», пора включиться в работу, казалось забыл о необходимости приезда Натальи в экспедицию. И, не напомним ему Денисов о его намерении включить Наталью в штат геоботаником, кстати крайне нужным для экспедиции, возможно, сам он так и не вернулся бы к этому вопросу.

У Денисова создалось даже впечатление, что хотя он и согласился с тем, что Наталье следует приехать, и написал ей об этом сам, в душе же он не был рад приезду жены.

«Знаю, почему ты не рад ей, но потому-то и следует ей поскорее приехать» — подумал Денисов.

Наталья ответила телеграммой, что выезжает в понедельник.

ГЛАВА IV

Поезд отходил в два часа. Наталью провожали дети. Девочкам непременно хотелось посмотреть, как устроится мать в купе, и они полезли в вагон. Вслед за ними вошел и Юрка, втаскивая тяжелый чемодан Натальи.

— Сколько же вас едет? — подозрительно спросила проводница. Она держала один билет в руках, а в вагон прошли четверо.

— Не беспокойтесь! Мы провожающие! — подарила ее милой улыбкой Таня. Проводница проворчала что-то и занялась новым пассажиром.

Все места в купе, кроме наталиного, были заняты и, когда Наталья и дети вошли с вещами, в нем стало

совсем тесно. С большим трудом разместились все. Юрка сидел в самом проходе, низко пригнув голову. Его то и дело просили: «Молодой человек, разрешите пройти!» Он вспыхивал от непривычного обращения и спешил убрать ноги.

Наталье все казалось, что она забыла сказать детям что-то такое важное, без чего ей нельзя уехать. Припоминая это важное, она уже в который раз говорила:

— Таня, не забудь, что тебе скоро получать паспорт. Лена, напомни ей!

— Хорошо, мама.

— Что еще я хотела сказать вам..? Да! Если заболит кто из вас, телефон Якова Абрамыча 3-10-49. Запиши, Лена.

— Мамочка, я еще дома записала.

— Ах, да, я и забыла! Ну, идите, милые, а то поезд тронется.

Дети поднялись и, простившись с матерью, направились к выходу. Наталья вышла проводить их. Она стояла на площадке, не сводя глаз с детей. Ее толкали пассажиры, входящие в вагон с чемоданами, с мешками, но ей трудно было уйти. Первый раз оставались дети одни!

Вон у Танюши слезы на глазах. Лена смеется и говорит что-то матери, а у самой глаза грустные. Юрка насупил белесые брови. Уж он-то не заплачет! Мужчины! Но что-то уж очень старательно прикрывает глаза ресницами, а они у него светлые пушистые, точно два крыла.

— Юрочка! Будь осторожен на реке! Пиши мне! Пишите девочки! — крикнула Наталья, когда поезд тронулся.

Девочки и Юрка со взволнованными лицами пошли рядом. Но вот поезд ускорил ход, и они отстали.

Некоторое время Наталья продолжала еще различать в толпе красную кофточку Тани, косынку Лены, которой та взмахивала над головой, полосатую тельняшку Юры. Но скоро все это слилось в одно пятно, и трудно было уже различить, где свои, где чужие.

Она вернулась в купе и, чтобы отвлечься от грустных мыслей, стала рассматривать соседей. Напротив сидела немолодая уже женщина в накинутой на плечи шелковой шали с длинными кистями. Ее простое русское

лицо понравилось Наталье. Верхние полки занимали мужчины. Над головой Натальи долго возился какой-то парень в рабочей одежде. Ноги его никак не хотели уместиться на короткой полке, и он протянул их до следующих. Растянувшись, парень удовлетворенно вздохнул.

— Ну теперь можно храпануть! Сказал, как бы про себя и почти тут же уснул.

На противоположной полке, не торопясь, располагался мужчина с умными живыми глазами. Волосы его были чуть тронуты сединой. По тому, как легко заговаривал он со всеми, видно было, что он привык ездить и в дороге быстро знакомился с людьми. Благодаря ему, скоро все непринужденно разговаривали.

Стало известно, что пожилая женщина — учительница, ехала отдыхать в санаторий. Старик, что сидел через проход, у окна, — колхозник-садовод, возвращался домой из Мичуринска. Мужчина с черными живыми глазами оказался инженером-лесоводом.

Тыча пальцем в окно, он объяснил, где со временем пройдет зеленое кольцо вокруг города, которое приостановит движение песков и защитит город от пыли. Все прильнули к окну, пытаясь представить себе это будущее кольцо, но пока видели только голую степь, протянувшуюся на сотни километров. Инженер же с увлечением говорил об этом зеленом кольце, как будто оно уже существовало. Наталье понравился этот энергичный, влюбленный в свое дело человек.

Он напоминал ей мужа, такого же неистового и упорного в работе.

В открытое окно дул легкий сквознячок.

— Может быть, закрыть окно? — спросил инженер, обращаясь к женщинам.

— Нет, не надо, — ответила учительница и плотнее запахнула шелковую шаль, накинутую на плечи. На мгновение из-под шали блеснула бронзовая медаль, приколотая к платью. Инженер-лесничий успел заметить ее.

— Простите за нескромность. Это что за медаль у вас?

— Медаль материнства.

— Э-э-э, да вы героиня!

— Полгероини, — мягко пошутила женщина.

— Сколько же деток имеешь в живых? — спросил старик.

— Пятерых, дедушка!

— Пятеры-ы-ых! — с уважением протянул старик. — Ладно ты, девка, отхватила. Чать, пособие получаешь от государства?

— Получаю, дедушка.

— Ну то-то же! — старик удовлетворенный замолчал.

Наталья с возросшим уважением посмотрела на учительницу. Вот работает же она, даром, что детей столько. Ей захотелось узнать, как успевала учительница и работать, и воспитывать детей.

— Трудно было, пока маленькие были, а сейчас старшие помогают. Вот уехала, оставила малышку на них, — ответила женщина, но видно было, что она волнуется за маленького, которому было всего три года.

Они заговорили о детях, о том, как трудно порой бывает с ними. Для обеих женщин эта тема была интересна. Учительница рассказала несколько «трудных» случаев из своей школьной практики. Наталья слушала ее и думала, как бы ни было трудно с детьми, а хорошо, что они есть.

Хорошо в ясное, после дождя, утро (зелень деревьев тогда кажется особенно ярка!) стоять у окна и смотреть им вслед, когда они вышли из дому, сказав на прощанье:

«Мама, я пошел!» «Мамочка, я пошла!» «До свиданья, мамуся!»

Нет, хорошо, что у тебя есть дети! И хорошо, что в такое чудесное утро они могут пойти в школу!

Время в разговорах прошло быстро. Незаметно за окном стало темнеть. Наталья уже с тревогой думала, встретит ли ее Александр Петрович, получил ли он ее телеграмму?

Поезд подходил к какой-то маленькой станции. На следующей остановке нужно было выходить. Наталья стала собирать вещи.

— Подождите, я помогу вам! — сказал инженер и слез со своей верхней полки.

Простившись со спутниками, сопровождаемая их добрыми пожеланиями, Наталья пошла к выходу. Инженер шел сзади с ее чемоданом.

Поезд остановился. Наталья спрыгнула с подножки, едва смогла принять из рук инженера чемодан, как поезд тронулся.

— Всего доброго! — успел только крикнуть инженер.

Громя колеса, поезд умчался в ночь. Наталья огляделась. На перроне никого не было. Одиночество и растерянность охватили ее. После ярко освещенного вагона, такого уютного и уже обжитого, несмотря на тесноту в нем, здесь было темно и пусто. На минуту Наталье жаль стало, что она не поехала с этими милыми людьми дальше.

Несколько пассажиров, также сошедших с поезда, прошли мимо, оживленно переговариваясь. Наталья позавидовала им. Они знали, куда идти в этой ночи. А куда пойти ей?

— Наташа! — услышала она голос мужа и тут же увидела его.

Это было так неожиданно и так хорошо после горьких раздумий на перроне, что Наталья, обрадованная, бросилась к нему на шею.

— Ну, ну довольно, — сказал он, разнимая ее руки. — Я почему-то решил, что ты будешь в том конце поезда, и ждал там.

— А я решила, что ты не встретишь меня и уже гадала, что делать, куда пойти?

— Это твой багаж? Ого, тяжесть какая! Вот женская непоследовательность: едешь в экспедицию и набираешь, черт знает, сколько вещей.

В голосе Александра Петровича Наталья уловила нотки раздражения. Это показалось ей странным для первых минут встречи. Ведь не виделись они больше месяца.

— Пойдем, нас ждут лошади, — сказал Александр Петрович и пошел с вещами впереди Натальи.

Из темноты вдруг выросли лошади, впряженные в бричку. Кучер сидел на козлах. Заслышав шаги Щербинских, он перегнулся с сиденья, всматриваясь в темноту.

— Встретили, Александр Петрович? — спросил он.

— Встретил, Иван Кузьмич! Познакомься, Наташа, Иван Кузьмич, конюх нашей экспедиции.

Наталья пожала руку, протянутую ей. Рука была жесткая, точно из коры.

— Работать к нам, али только погостить?

— Работать.

— Ну, в добрый час!

— Поезжай, Иван Кузьмич! — сказал Щербинский.

— Сейчас тронем, — перебирая в руках вожжи, ответил Иван Кузьмич и, обернувшись к Наталье, предупредил ее:

— А вы дюжей держитесь. Они, чертеняки, и понести могут. На днях директора с жинкой сбросили. Он в одну сторону, она в другую. Да как еще бог миловал, обошлось благополучно.

Наталья в невольном страхе прижалась к мужу, взяла его под руку.

— Ты держись лучше за облучок! — сказал Александр Петрович, высвобождая свою руку, — а так мы оба полететь можем.

«Что с ним сегодня?» — подумала Наталья с удивлением. Там, на вокзале, он торопился высвободиться из ее объятий и вот сейчас...

Чтобы отогнать эти мысли, она стала рассказывать мужу о детях, о том, как они провожали ее.

Александр Петрович слушал рассеянно, и как показалось Наталье, без всякого интереса. Только, когда она говорила о Юре, о том, что он целые дни проводит на Волге и что она боится, как бы он не утонул, Александр Петрович сказал:

— Не под стеклянный же колпак посадить его!

И снова Наталье послышалось в его голосе раздражение. Ей стало грустно. Радость от встречи с мужем померкла. Она сидела молча, прислушиваясь к тому, что говорили между собой Иван Кузьмич и Щербинский.

— Я эти места, Александр Петрович, скрость знаю, — говорил Иван Кузьмич. — Сильные тут леса были в балке, можно сказать, таежные. Птиц видимо-невидимо. Тополь на сорок метров кверху тянулся. Про дуб и говорить нечего. Дубы лет по двести стояли, как не боле. Фашисты в войну все повырубали, гады! Тыловые части их стояли. Каски да противогазы доси в степу валяются. На днях рыли колодец, нашли одного в обмотках. Сохранился гад! Но, милые! — прикрикнул Иван Кузьмич на лошадей, хотя они без того резво бежали по накатанной, как асфальт, дороге.

Узкий серп месяца повис над самым горизонтом и

не мешал появлению звезд. На фоне легких, похожих на туман облачков, вырисовывались смутно очертания гор.

— Да, это Ергени, — подтвердил Александр Петрович предположение Натальи. — Мы едем по восточному склону их.

Красота мягкой ночи действовала на Наталью умиротворяюще. То неясное, тревожное, что шевельнулось было в ее душе при встрече с мужем, несколько утихло.

«Устал он, вероятно, да и по работе что-нибудь не ладится», — подумала она.

Хороша была степь ночью. В темноте она казалась Наталье волнующе таинственной. Вот по обочине дороги выросла стена кустарника, прямая дорога сделала неожиданный поворот, вот она спустилась в балку и дальше снова взбежала в горку, но самой балки не было видно, чувствовалось только, как бричка кренилась куда-то вниз, вперед, да неожиданно выросшими казались кони, когда миновав балку, они стремительно, рывком брали крутой подъем.

Все чаще по краям дороги вырисовывались кустарниковые заросли, все свежее и прохладнее становился воздух, и вот бричка въехала в густую аллею. В темноте Наталье не видно было, какие деревья составляли плотную густую стену этой аллеи, но ее поразила та удивительная свежесть и прохлада, и тот совсем лесной запах, которые были здесь в отличие от остальной степи.

— Саша! Ты замечаешь, как пахнет грибами? — спросила она мужа.

— Ну, грибов, положим, ты не найдешь. Но микроклимат здесь совсем иной, так что фраза: «Лес изменяет климат» — не голая абстракция, как видишь.

— Просто не верится, что здесь нет грибов, — сказала Наталья, вдыхая в себя знакомый с детства запах прелой листвы и сырости.

— Помнишь, Саша, я рассказывала тебе о Степково, осиновой роще за нашим хутором? Там был такой же запах.

— Не помню.

— Ну, как ты мог забыть! — огорчилась Наталья. — Я столько раз рассказывала тебе, как девчонкой бегала туда за грибами!

Она представила себя этой девчонкой, идущей по

осиннику в ненастье. По пояс мокрая, на голове мешок от дождя, в руках корзина с грибами. Брела, заглядывая под каждый кустик, а грибы, прикрытые прошлогодними листьями, точно прятались от нее.

— Господи! Как хорошо-то было тогда! — неожиданно вырвалось у Натальи, вырвалось таким тоном, точно она хотела сказать, что сейчас ей плохо, и она жалеет о том, что она уже не та девчонка, которую радовал каждый найденный гриб.

Александр Петрович беспокойно двинулся на месте и взглянул искоса на Наталью. Она сидела, слегка откинув голову назад, и смотрела прямо перед собой. В темноте Александру Петровичу не было видно выражения ее лица, но чутьем человека, прожившего вместе многие годы, он угадывал, что на душе ее сейчас неспокойно.

«Разве тебе уж так плохо со мной, Наташа?» Мог бы спросить он у нее и еще месяц тому назад наверняка спросил бы. Сейчас же, задетый ее тоном, он только сказал сухо:

— Вот и усадьба лесозащитной станции. Мы почти приехали.

Наталья огляделась. Несколько новых домиков, выстроившихся в ряд, поблескивали стеклами окон. Высокие пирамидальные тополя стояли вдоль дороги. Стройные, как свечи, они казались серебряными в лунном свете. Тишина стояла вокруг. В этой тишине далеко разносился цокот лошадиных подков и стук колес по укатанной дороге. Залаяла одна потревоженная собака, ей ответила другая, третья и вот уже надрывной собачий лай несясь по спящей усадьбе.

— А! Чтоб вам сдохнуть, окаянные! — сердито сказал Иван Кузьмич и, щелкая кнутом то в одну, то в другую сторону, норовил достать им особенно назойливого пса. Собаки с визгом откатывались от колес и с новой яростью кидались вслед за бричкой. При выезде в степь они отстали, но позади долго еще слышалось их обиженно-ворчливое тявканье.

Дорога сделала крутой поворот, обогнула кусты, и Наталья увидела белый барак и несколько палаток возле него.

— К лаборатории не надо подъезжать, Иван Кузьмич, а то перебудим всех, — сказал Щербинский.

Иван Кузьмич откинулся всем туловищем назад, натянул вожжи, лошади остановились.

— Здесь вылезете, али еще подвезти?

Но Щербинский прыгнул уже с брички и подал руку Наталье.

— Здесь, здесь, Иван Кузьмич. Можешь ехать домой.

— Ну, коль так, будьте здоровы. Счастливо вам!

Иван Кузьмич стал заворачивать лошадей.

— Ну ты! Бойся! — прикрикнул он на пристяжную и отъехал прочь.

Наталья постояла, прислушиваясь к стуку колес удалявшейся брички, вздохнула и пошла вслед за мужем.

Вот и приехала. Хорошо, что они снова вместе. Но почему к радости от встречи с мужем примешивалось какое-то странное тяжелое чувство?

Сама не понимая, что с нею, обеспокоенная этим смутным состоянием тревоги Наталья шла за Александром Петровичем.

От одной из палаток отделился человек в наброшенном на плечи кителе. Наталья узнала Денисова. Вспыхнувшая в последней затяжке папираса, которую он тут же бросил, притоптав ее каблуком, осветила на мгновение его приветливое лицо.

— Здравствуйте, — сказал он вполголоса, точно боялся разбудить спящих в палатках. — Как доехали?

— Благодарю. Хорошо.

— Идите, отдыхайте. Устали с дороги. Ужин, Александр Петрович, у тебя в палатке. Он тут за эти дни совсем извелся, все вас поджидал, — сказал Денисов Наталье.

Наталья улыбнулась.

«Значит, он все-таки ждал меня, а мне показалось, что он и не рад моему приезду». — подумала она о муже.

Они подошли к палатке Александра Петровича. Оставив чемодан Натальи у входа, Щербинский откинул полог. Войдя в палатку, он зажег спичку.

На Наталью пахнуло знакомым запахом табака, который обычно курил муж, запахом кожи и еще чего-то. Чего, она сразу не разобрала. И только когда сделала движение вперед, она услышала:

— Осторожнее, Наташа! У входа ящики с монолитами!

Она поняла, что это был запах земли.

«Ну, так и есть. Наташил к себе почвенных образцов по обыкновению, разве он может без этого», — подумала Наталья, и нежность к мужу, охватила ее.

Александр Петрович зажег лампу, Наталья осмотрелась.

Небольшая квадратная палатка, достаточно высокая, так что Александр Петрович мог ходить в ней не наклоняя головы. Столб посредине, на котором держались стропила, небольшой столик, застланный газетой.

На столе в беспорядке валялись книги, бумаги, мешочки с почвенными пробами. В одном углу постель — спальный мешок, разостланный на фанерном щите. В другом углу постель, приготовленная для Натальи.

Неуютным показалось Наталье жилье мужа. Уж кто кто, а она знала, что никогда он не умел устраиваться в быту. Взять хотя бы эти ящики с монолитами. Неужели нельзя было их дальше убрать от входа, чтобы каждый раз не спотыкаться о них. Или стол с ворохом бумаг, с кучей окурков.

А пыли-то сколько на всем! Пыли!

Она провела пальцем по книгам, лежащим на столе.

— Вот так и живем, Наташа! — сказал Александр Петрович, видя, с каким вниманием оглядывает она его жилье.

— Ты, наверное, умыться хочешь с дороги? Сейчас я принесу воды из кухни.

Александр Петрович взял стеклянную банку и вышел. Наталье показалось, что он рад был этой возможности уйти.

Не возвращался он довольно долго. Наталья успела разобрать вещи, приготовить ему и себе постель.

Наконец Александр Петрович появился с полным ведром воды.

Наталья пошла умываться, а когда вернулась, муж сидел за столом и работал. Она подошла к нему, обняла прохладными еще влажными руками и прижалась щекой к его щеке.

— Ты ложись, спи, Наташа, — сказал он, не отрываясь от книги.

— А ты? — хотела спросить Наталья, но женская гордость помешала ей спросить. И, словно отвечая на безмолвный вопрос, Александр Петрович, все также избегая смотреть на нее, добавил:

— А мне придется посидеть... Надо еще кое-что сделать...

С чувством недоумения Наталья отошла от мужа и легла.

— Может быть, ты поужинаешь? — виновато, как ей показалось, спросил он. Наталья покачала головой. Нет, есть ей не хотелось. Все происходящее сегодня так непохоже было на то, что всегда бывало между ними после разлуки. Никогда Александр не был таким равнодушным и отчужденным.

Наталья лежала на постели и смотрела на склоненную голову мужа. Все то же милое лицо, дорогое для нее, с высоким лбом, с упрямым раздвоенным подбородком. Но было что-то новое в этом лице. Что? Она никак не могла понять. Выражение растерянности ли? Виноватости ли? Не было в нем прежней ясности, откровенности и доверчивости.

Вот он, нахмурясь, шевельнул губами, и Наталье казалось, что хмурился он и шевелил губами нарочно, чтобы показать ей, что он очень занят, и что этой своей нарочитой занятостью он старался прикрыть свое смущение.

Милый! Разве в этом дело? Ты можешь только подойти ко мне, поцеловать и сказать: «Я рад, Наташа, что мы снова вместе!» А потом сесть и работать хоть до утра.

Говорят, если все внимание сосредоточить на одном желании, то человек невольно подчинится этому желанию и сделает то, что ты захочешь.

«Я хочу, чтобы ты сейчас подошел ко мне и поцеловал меня...» Мысленно твердила Наталья и большими темными глазами пристально смотрела на мужа.

«Я хочу...»

— Тебе мешает свет, Наташа! — сказал Александр Петрович и, поставив стоямя газету, отгородился ею от Натальи.

Наталья вздохнула. Нет, раньше он подошел бы к ней, а не стал бы прятаться за газетой.

Утром, когда Наталья проснулась, Александра Петровича уже не было в палатке. В углу, где была его постель, белел лишь вкладыш спального мешка.

В палатке стоял полумрак, но чувствовалось, что за

пологом буйствует солнечное ликующее утро. Над голо-
вой Натальи виднелась синяя заплатка неба; брезент в
этом месте был порван.

Наталья лежала, прислушиваясь к звукам, донося-
щимся извне. Похоже было, что кто-то, куда-то собирал-
ся ехать.

— Володька! Положи фляги в машину!

— Сколько? Одну? Две?

— Хватит одной. Ведь хватит одной, Манефа Юрь-
евна?

— Разве ты не берешь сегодня на влажность? — вме-
сто ответа спросил глуховатый женский голос.

— Беру. Володька! Клади две фляги, нет три!

Слышно было, как в машину с грохотом одна за дру-
гой упали три фляги.

— А лопат сколько мы берем?

— Бери три, вдруг сломается, будет чем заменить.
Мотыг бери больше!

— Товарищи! Сколько человек нас едет? Кому нуж-
ны мотыги?

— Значит, так, Володя! — услышала Наталья голос
мужа. — Вместе со всеми вы едете до первого опытного
участка, ссаживаете на нем всех, а сами отправляетесь с
Тимофеем Алексеевичем дальше, на третий опытный уча-
сток. Там сегодня будет работать культиватор, и очень
важно, Володя, проследить, чтобы он не затрагивал бо-
ковых лунок гнезда. Понятно?

— Понятно, Александр Петрович.

— Можете ехать.

— По машинам! — крикнул молодой задорный голос.
Повидимому, все полезли в машину, со смехом и гвалтом
стали рассаживаться в ней.

— Ой, Володька, медведь! Ногу отдавил!

— Да уберите вы в сторону эти мотыги! Еще поре-
жете о них!

— Манефа Юрьевна! Вы в кабину? А то идите сюда,
здесь есть место!

«Кто такая Манефа Юрьевна?» — подумала На-
талья. — Странное имя. — «Мать Манефа» — мелькну-
ло в памяти. И воображение рисовало Наталье строгую
женщину в монашеском одеянии с черными обугливши-
мися глазами.

Машина отошла, и сразу наступила тишина. Возле палатки слышались шаги Александра Петровича.

— Спим! — сказал он, откидывая полог, отчего сразу в палатку ворвалось солнце. — Вставай, там тебя Ольга Павловна ждет с завтраком. Все уже позавтракали и уехали в поле.

Александр Петрович говорил оживленно. Наталье показалось, что он чувствовал себя неловко за вчерашнее и этой оживленностью прикрывал свою неловкость.

— Сейчас я отведу тебя к Ольге Павловне, познакомлю с ней, а сам пойду в контору станции. Я обещал директору проехать с ним сегодня по производственным участкам.

Александр Петрович собрал со стола бумаги и положил их в полевую сумку.

— Ты готова? — спросил он, надевая сумку на плечо. — Умыться можешь там, возьми с собой полотенце и мыло.

— Ну вот, Ольга Павловна, еще вам одна подшефная! — весело сказал Щербинский, входя с Натальей в кухню. — Знакомьтесь, моя жена!

Ольга Павловна, чистившая картошку, торопливо вытерла руки о фартук и поздоровалась с Натальей.

— Добро пожаловать! — сказала она и пододвинула к Наталье табуретку, размашистым жестом смахнув с нее пыль.

— Так я пошел, Наташа! — сказал Щербинский. — Вернусь, очевидно, к вечеру.

Наталья ничего не ответила, подумала только, что совершенно не обязательно было оставлять ее одну в первый день приезда.

К Ольге Павловне Наталья почувствовала сразу симпатию. Ей понравилась полная добродушная стряпуха, ее простое бабье лицо. Наталья с удовольствием следила за тем, как ловко двигалась Ольга Павловна по кухне, делая сразу десять дел.

Вот она оторвалась от мытья посуды и кинулась перевернуть блинчик на сковородке, мимоходом сунула полено в печь, сняла с плиты закипевший чайник. Все спорилось в ее руках.

— А я уж привыкла, — сказала она, когда Наталья спросила ее, не трудно ли ей одной готовить на всех. —

Это ведь мужик одно дело знает, а баба она сорокоделка, ей везде поспеть надо.

Ольга Павловна добродушно засмеялась. Видно было, что она считала это в порядке вещей и как будто гордилась тем, что одна управлялась с такой уймой дел.

— Бывало аж гудит во мне все! Что ни больше дела, мне веселее, больше делать охота! Так бы взяла да и перевернула все верх дном! — Ольга Павловна стояла посредине кухни и энергично взмахивала большим кухонным ножом, которым только что перевортывала блинчик.

Пока Наталья завтракала, она успела узнать все, что интересовало ее в жизни Щербинских: Сколько лет живут вместе? Как поженились? Детей сколько? Какого возраста? Сколько лет самой Наталье?

— Ничего, бог милует, обойдется все, не маленькие, не о двух годах на третьем! — сказала она о детях, успокаивая Наталью. — А с мужем-то надолго разлучаться тоже не след. Всякие мужчины бывают: сильные, а есть и слабые.

Какой-то отдаленный намек послышался Наталье в словах стряпухи. Смутившись, сама не зная отчего, она поторопилась заговорить о другом.

Ольга Павловна словоохотливо отвечала, а сама, поглядывая на Наталью, думала:

«И-и-и-их, Александр Петрович! И на кого же ты, ее милушку, променял!»

Все в Наталье нравилось ей: и тяжелая коса, свернутая на затылке в тугой узел, и спокойная, сдержанная манера речи, и лицо с темными глазами под красивыми изломами бровей.

«Ох, и не люблю же я, грешница, этих стриженных. С косою-то женщине все приличнее быть».

Выйдя из столовой, Наталья встретила Денисова. Он возвращался из степи. Лицо его было красно от загара, гимнастерка на спине и груди в темных пятнах от пота.

— Ну и жарыща-а! — сказал он, здороваясь с Натальей — Вот будет трудно сегодня людям! В степи знаете как печет!

Он снял фуражку, вытер пот со лба. Лоб у него был удивительно красивой формы. Большой, широкий, он чуть покато уходил вверх. У самых волос кожа была белой, не тронутой загаром.

— Вы не видели еще нашей лаборатории? — спросил Денисов. — Идемте, я вам покажу ее.

Барак-лаборатория восково желтел на солнце свежеструганными досками. Из досок вытапливалась смола, и резкий удушливый запах стоял в воздухе. В самой лаборатории этот запах был еще сильнее. Казалось, что находишься в густом сосновом бору в полдень.

За большим столом, сколоченным из досок, сидел Ярослав Иванович Галицкий и просматривал гербарий, собранный студентами-дипломниками. Наталья знала Галицкого, поэтому, когда Денисов представил его, сказала:

— А с Ярославом Ивановичем мы уже знакомы!

Галицкого любили и уважали в университете, но это не мешало всем, начиная с ректора и кончая уборщицами, слегка подсмеиваться над его невероятной рассеянностью, о которой в университете ходили анекдоты.

Ярослав Иванович мог вместо носового платка вытащить из кармана детскую распашонку, стереть ею с доски, бросить, а в карман взамен положить грязную тряпку, которой стирают с доски. Рассказывали даже, как однажды на лекции, забыв, как называется корова, он так и не вспомнил и вынужден был сказать: «теленкина мама». Прозвище «теленкина мама» прочно закрепилось за ним среди студентов.

Лекции он читал прекрасно, с большим увлечением. С меньшим увлечением их слушали студенты, забывавшие о звонках на перерыв.

Наталья с волнением оглядывала лабораторию. Все так знакомо ей было здесь! В каждой лаборатории имеются предметы, которые совершенно обязательны для нее и которые делают похожими одну на другую десятки лабораторий. Вот сушильные шкафы, например. Наталья приоткрыла дверцу одного из шкафов. В жаркой полутьме его стояли рядами алюминиевые стаканчики. В стаканчиках сушилась почва, взятая при бурении на влажность.

— Это что, первая, вторая сушка? — спросила Наталья у Галицкого.

— Вторая, — ответил Ярослав Иванович и взглянул на часы. — Сейчас должна прийти Маша взвешивать.

Наталья подумала, вот придет эта Маша (вероятно, ее она видела у Ольги Павловны), вынет из шкафа ста-

канчики, поставит их на ветерок, чтобы поскорее остыли, и будет взвешивать. А она, Наталья, даже забыла, как обращаться с аналитическими весами.

Их было несколько. Они стояли на маленьких столиках у окон, прикрытые бумажными колпачками от пыли. Колпачки были сшиты чьими-то заботливыми руками. «Наверное Машина работа...» — подумала Наталья и перешла к следующему столу.

Сразу видно было, что за этим столом работали физиологи растений. Стол заставлен был штативами, деревянными стойками с пробирками. Бутили с дистиллированной водой, колбы с красивой разноцветной жидкостью. На одной из колб с золотисто-изумрудной жидкостью была предостерегающая надпись: «Не трогать!».

Наталья подошла к Ярославу Ивановичу. Ей хотелось вместе с ним посмотреть растения, чтобы проверить себя, не забыла ли она их. А что, если она уже не отличит Артемизию маритима от Артемизии пауцифлера?

Наталья разглядывала разложенные на столе растения, чуть сморщенные, побуревшие.

«Кохия Седоидес», «Кохия прострата», — мысленно произносила она, бросая беглый взгляд на этикетку, чтобы проверить себя, не ошиблась ли. Нет, не ошиблась.

Осмелев, Наталья теперь уже уверенно произносила целух латинские названия растений, ей хотелось слышать как они звучат.

— Мелилотус официналис... донник.

— Да, — подтвердил Ярослав Иванович. — В прошлом году я сделал попытку откопать его корни, шли до шести метров.

— Вот здоровый черт! — удивился Денисов.

— Цератокарпус аренариа, катун, — обратил ее внимание Ярослав Иванович на одно из растений.

Наталья наклонилась ниже, разглядывая растение. Да, она узнала его. Вообще из всех растений, что они сейчас просмотрели, она не забыла ни одного. Очень хорошо! Завтра она может смело выйти вместе со всеми в поле.

Вечером, наконец, Наталья смогла познакомиться с остальными членами экспедиции. Все собрались в столовой за ужином. Было шумно, делились впечатлениями дня, то и дело слышались взрывы смеха по поводу какого-то забавного происшествия, случившегося днем. На-

талье показалось, что ее присутствие за общим столом несколько стесняло всех, как всегда бывает, когда в коллектив, спаянный общей жизнью и работой, попадает новый человек. Стесненность эта сказывалась в той предупредительности, с какой все относились к ней.

Только Денисов держал себя непринужденно, и Наталья была благодарна ему за это.

Сама она тоже чувствовала себя стесненно. Улыбалась, когда за столом раздавался взрыв смеха, но улыбалась не тому, над чем смеялись, это было еще далеко от нее, а тому, как безудержно, хорошо смеялась молодежь.

Только смех Манефы Юрьевны глуховатый, словно надтреснутый, почему-то не понравился ей, как не понравилась и сама Манефа. Игривое, не по возрасту кокетливое веселье ее было чуждо Наталье. А та сегодня разошлась как никогда. И даже осуждающий взгляд Денисова не остановил ее.

— Александр Петрович! — крикнула она вошедшему в столовую Щербинскому. — Хотя вы защитите меня! Иван Иванович считает, что я должна стать монашкой. Он говорит, что мое имя обязывает меня к этому! Вот уж дал бог имячко, и не захочешь, да станешь монашкой!

Щербинский смущенно улыбнулся, и Наталье показалось, что улыбается он как-то не по-своему, неуверенно. Поймав на себе внимательный взгляд Натальи, он нахмурился и принялся за еду, не поднимая глаз.

«Чем он смущен?» — удивленная думала Наталья. Вот он поднял глаза на Манефу Юрьевну и точно спросил ее о чем-то. Еще более удивил Наталью ответный взгляд Манефы. В нем было приказание.

«Что может приказывать ему эта чужая для него женщина?» — подумала Наталья и с обостренным вниманием стала следить за ними обоими. Наталью поразило выражение лица мужа, с каким он обратился к Манефе Юрьевне, спрашивая ее взяты ли сегодня пробы на влажность. Ничего особенного не было в этом вопросе, но лицо Александра Петровича светилось, когда он смотрел на Манефу. Поймала Наталья и быстрый лукавый взгляд Манефы Юрьевны, брошенный на него. Этот безмолвный разговор между мужем и Манефой привел Наталью в смятение. Сердце ее глухо стучало, щеки

жег румянец. Она почти не слышала, что говорили сидящие за столом. Ей непреодолимо захотелось встать и уйти. Когда она поднялась, Александр Петрович рассеянно взглянул на нее, сказал:

«Я сейчас, Наташа!» — и остался на месте.

Наталя вышла одна. Темная ночь охватила ее. На небе не было ни луны, ни звезд. Почти ошупью добралась она до палатки и, не зажигая огня, легла в постель.

На следующий день, закончив работу, Галицкий возвращался домой. Сокращая дорогу, Ярослав Иванович шел напрямик, пробираясь сквозь кусты. Как все рассеянные люди, он шел, не замечая окружающего. Ветки хлестали его по лицу, он отводил их машинально.

Нырнув в просвет кустарника, он очутился на поляне и увидел Щербинского и Манефу Юрьевну.

Манефа Юрьевна сидела, а Щербинский лежал лицом вверх, положив голову к ней на колени. Оба они не заметили Галицкого. Несколько мгновений он стоял, не зная, что делать. Дать ли знать о себе или незаметно ретироваться. Пожалуй, последнее было лучше. В самом деле, в каком неловком положении очутились бы они все трое, если бы те увидели его!

Втянув голову в плечи, Ярослав Иванович на цыпочках стал пятиться назад и только, когда кусты скрыли его, выпрямился, вздохнул с облегчением.

«Бывают же на свете такие глупые положения!» подумал он. Но не успел он сделать и несколько шагов, как снова остановился в растерянности. Навстречу ему шла Наталя. Она шла медленно, низко опустив голову.

«Сейчас увидит их!» — подумал он испуганно и совсем не потому, что мог стать свидетелем тяжелой сцены, а просто ему было жаль этой женщины с хорошим милым лицом.

«Надо задержать ее!» — мелькнула мысль, и он ускориł шаги.

Наталя вздрогнула, когда перед ней, точно из-под земли вырос Ярослав Иванович.

— Добрый вечер! — сказал он.

— Здравствуйте! — ответила Наталя и выжидательно остановилась.

— Как вам нравится здесь? — спросил Ярослав Иванович, не найдясь сказать ничего другого, и смутился, вспомнив, что и вчера, и сегодня утром он уже спрашивал ее об этом.

Наталья, слегка удивленная, посмотрела на него:

— Я люблю степь, — сказала она и сделала движение, чтобы пойти дальше.

— Позвольте! Одну минутку! — взмолился он, забегая вперед нее. — Я хотел вас спросить...

О чем спросить... Ярослав Иванович решительно не знал и стоял перед Натальей, в замешательстве потирая лоб.

Она смотрела на него, такого растерянного и беспомощного. И вдруг за его широкой спиной увидела Александра Петровича и Манефу. Держась за руки, они вышли из зарослей орешника. Белая кофточка Манефы казалась ослепительной на темной зелени кустов.

Сердце Натальи метнулось и остановилось. Чтобы унять начавшуюся дрожь, она стиснула руки и прижала их к груди.

По ее переменившемуся лицу Ярослав Иванович понял, что она увидела Щербинского с Манефой. Он оглянулся и успел заметить только, как Манефа и Александр Петрович, низко пригнувшись, нырнули в кусты.

Когда Наталья снова посмотрела в ту сторону, ни мужа, ни Манефы уже не было. Кругом было тихо. Не качнулась даже ветка орешника, скрывшая их.

* * *

— Фу, черт, как все глупо получилось! — с досадой сказал Александр Петрович, когда густая стена орешника скрыла их.

Он простить себе не мог того, что, поддавшись первому побуждению, спрятался. В сущности ничего не было бы особенного, если бы их увидели вместе. А теперь...

И, представив себе, каким смешным и жалким он выглядел в тот момент, когда прятался, он сморщился и помотал головой, точно у него заболели зубы.

— Глупо! — снова сказал он, боясь поднять взгляд на Манефу. Что подумает она о нем? Во всяком случае, и в ее глазах он выглядит далеко не рыцарем. Но, взглянув на Манефу, Александр Петрович удивился. Манефа без-

звучно смеялась, грудь ее вздрагивала от смеха. «Ну и дурацкий же сейчас вид у начальника экспедиции, — думала она. — Как у мальчишки, которому надрали уши». Что касается ее, то она не намерена переживать случившегося. Вот еще! В таких ли переделках она бывала!

Домой они пришли порознь и раньше Натальи.

Весь остаток дня и весь следующий день Александра Петровича мучила неизвестность — видела их Наталья или нет.

Он вглядывался в лицо жены, но по лицу трудно было что-либо понять. Оно было спокойно, пожалуй, даже излишне спокойно. Вот это-то и сбивало с толку Александра Петровича.

«Если знает, то как она может быть спокойна, — думал Александр Петрович, — если не знает, то что знает ее пристальный, изучающий взгляд».

Этот взгляд раздражал его.

«Удивительная манера влезать в чужую душу. Как будто каждая моя мысль должна обязательно принадлежать нам обоим. Не хочу этого. Всю жизнь терпеть этого не мог!»

В раздражении Александру Петровичу уже казалось, что никогда он не любил Наталью и все то, что было у него в молодости с ней и продолжалось долгие годы, было не настоящим. А что настоящее большое чувство у него только к Манефе.

«Ну да, люблю ее, несмотря ни на что!» — мысленно говорил он себе, страдая от невозможности ежеминутно, ежесекундно быть возле Манефы.

В том, что он лишен был этой возможности, Александр Петрович винил Наталью, и от этого она становилась ему еще более неприятна. Злоба на жену делала Щербинского грубым, раздражительным. Наталья старалась меньше говорить с мужем. Однажды она спросила у него название растения, найденного ею в степи. Он не дослушал ее и грубо оборвал на полуслове. Наталья удивленно посмотрела на него, встала и вышла из палатки. Испугавшись, что Наталья может догадаться об истинной причине его раздражения, он быстро вышел за нею и, злясь на себя за вынужденное притворство, с отвращением в душе заговорил с нею.

Наталья отвечала спокойно, но чувствовался в ее ответах неуловимый холодок. Александру Петровичу так

был ненавистен этот тон, так ненавистна она сама, что он поторопился уйти, чтобы вновь не сорваться.

Прошло несколько напряженных дней. Александр Петрович уже не в силах был дальше переносить состояние неизвестности. Желая во что бы то ни стало, любым способом выяснить все, он подошел к Наталье и обнял ее.

— Не надо! — испуганно вскрикнула она, отшатнувшись.

У Александра Петровича опустились руки, он понял, что Наталья знает. Мучительно захотелось курить. Достал папирсы, непослушными пальцами долго вылавливал из коробка спичку, закурил и вышел из палатки.

Садилось солнце. Длинные косые лучи его ложились по степи. Небо в перистых облаках было багровым, предвещая ветреный день.

От мысли, что жена знает все, было смутно, нехорошо на душе. Представилось, что Наталья потребует выбора или она или Манефа. И он вынужден будет сделать этот выбор. Неужели ему придется отказаться от Манефы? Нет, никогда он не сделает этого. Она дорога ему как никто никогда не был дорог. Ему совершенно все равно, что будут думать о нем люди.

Если Наталья будет настаивать на своих правах, тем хуже для нее. Это только ускорит их разрыв. Он немедленно уйдет к Манефе и даже дети не остановят его. Да что дети! Дети уже большие и не так важно с кем они будут с отцом или с матерью. Если она согласится, он возьмет их к себе, они достаточно взрослые, чтобы обойтись без матери.

Щербинскому и в голову не приходило, что дети захотят остаться с матерью. Он не задумывался и над тем, как и где они будут жить с Манефой. Он знал только одно, что без Манефы он и дня не может прожить.

Александр Петрович так проникся доводами, приготовленными на случай объяснения с Натальей, что чувство виноватости и неловкости перед ней исчезло бесследно.

«Удивительная манера усложнять все!» — с новым приливом раздражения подумал он, забывая о том, что сам усложняет их жизнь, что не будь его любви к Манефе, все было бы просто и ясно в его отношениях с Ната-

лшей, как было ясно и просто до сих пор. Теперь же ему казалось, что виновата во всем жена.

Из палатки вышла Наталья. В лучах заходящего солнца ее лицо казалось розовым. Это ли молодило ее, или гладко причесанные на прямой пробор волосы, как обычно носила в молодости, а теперь причесывалась только на ночь, но в эту минуту она казалась моложе.

Наталья подошла к мужу и, положив, как бывало прежде, руку на его плечо, но избегая смотреть в глаза, сказала:

— Ты извини меня, Саша, мне что-то не здоровится.

Александр Петрович взял ее руку и недоверчиво посмотрел в глаза. То, что она подошла к нему, обезорижило его, заставило забыть все свое раздражение против нее. Сейчас он почти готов был сам ей во всем признаться.

Но Наталья, точно боясь того, что он скажет, отняла свою руку и торопливо отошла.

Щербинский растерянно посмотрел ей вслед. Вдруг его обожгла мысль, что Наталья навсегда уходит от него. Все его существо метнулось за нею. Захотелось побежать, догнать, спросить, как бывало после ссоры: «Ты сердишься на меня, Наташа?»

Но Наталья уходила, а он стоял, точно ноги его приросли к земле. Щербинский понимал, что побеги он сейчас за Натальей, объяснение будет неизбежно. Между тем, он и хотел и боялся этого объяснения.

Багровый теплый вечер, напомнил ему такой же вечер на берегу Камы. Он ждал Наталью. Она опаздывала. Вдруг он увидел ее бегущей с откоса. Раскинув руки точно крылья, она не бежала, а летела навстречу счастью. Светлые косы подпрыгивали на спине, щеки горели румянцем, темные глаза влажно блестели. Она подбежала к нему и, с трудом переводя дыхание, виновато спросила: «Ждал?»

Александр Петрович тряхнул головой, прогоняя это воспоминание. «Да, пожалуй, надо кончать эту историю», — подумал он. И острое сожаление, что не может он сохранить их обеих вместе, овладело им.

Наталья вернулась поздно. Александр Петрович сделал вид, что спит. Боясь пошевелиться, чтобы не выдать себя, он прислушивался к звукам затихающей степи, к шорохам, которые слышались за пологом палатки.

Вот проскакал на лошади Валерка, отводя ее пастись в балку, где трава сочнее. Потом Валерка прошел обратно, волоча узду по земле, узда слегка позвякивала. Вот раздался визг Шарика, попавшего под ноги Валерке. «А чтоб тебя разорвало!» — в сердцах сказал Валерка. Шарик подбежал к палатке и, жалобно скуля, стал тереться о колышек ее.

В палатке девушек тихонько, в два голоса, запели «Рябину». В одном из них Александр Петрович узнал голос Манефы. Потом пение неожиданно оборвалось. Манефа сказала что-то, громко засмеялась, и все стихло.

У Александра Петровича забилося сердце. «Рябина» и смех были условными знаками. Это значило, что Манефа ждет его.

«Не пойду... Не пойду и все...» — думал Щербинский. «Нет, пойдешь... — говорил другой голос. Вот встанешь и пойдешь».

И Александр Петрович, с ужасом сознавая, что не может заставить себя не пойти, встал, пошарив в темноте, нашел спички и, согнувшись, осторожно, чтобы не разбудить Наталью, вышел.

Но опасения его были напрасны. Наталья тоже не спала. Это была не первая ночь, которую она проводила без сна, напряженно думая, как быть, как дальше жить с таким отчаянием в душе.

Александр Петрович вернулся на рассвете. Заслышав его шаги, Наталья закрыла глаза и притворилась спящей. Александр Петрович вошел, воровски поглядел на нее. «Спит» — подумал он. Не раздеваясь, стащив только сапоги, он лег на свою постель и заснул почти в то же мгновение, как только закрыл глаза.

* * *

В лесхозе была небольшая банька. Раз в неделю ее топили для работников экспедиции. Но молодежь неохотно мылась в ней:

«Ну ее эту баню! И без нее жарко!» — говорил кто-нибудь из ребят и шел мыться в озеро, пополняемое родниковой водой.

Зато «старички» вроде Денисова, Ярослава Ивановича любили помыться в баньке по русскому обычаю. Особенно любил баню Денисов. Влезая на полук, он

каждый раз с сожалением вспоминал о березовом венике: «Эх, жалко веника нет!»

Ольга Павловна, узнав, что для Денисова без веника и баня не баня, наломала прутьев тальника, сделала из них веник и положила в бане на полук.

Денисов обрадовался. Ошпарил веник кипятком, плеснул воды на каменку. В жарком облаке потряс растрепанным веником и несколько раз хлестнул себя по телу. Но все это было не то. Далеко было тальниковому венику до березового. Тот был шелестящий, жаркий, обжигал тело, а этот только дразнил его. Денисов с досадой швырнул веник в угол.

Когда он возвращался из бани, ему встретились Наталья с Ольгой Павловной, они тоже шли мыться.

— С легким паром вас, Иван Иванович! — сказала Ольга Павловна. — Как веничек? Хорош ли?

— Хорош! — ответил Денисов, а сам, улыбаясь, про себя подумал: «Ты бы еще из лопуха его сделала, старая!»

* * *

Наталья вымыла голову, заплела косы. Разморенная теплом бани, она сидела на полке и, не отрываясь, глядела, как зачарованная, на мигающий огонек коптилки, чадившей на окне.

— Дай-ка съ, Наталья Михайловна, спину потру! — сказала Ольга Павловна и, взяв мочалку, принялась тереть спину Натальи. От жесткой мочалки кожу саднило, Наталья ежилась и слабо протестовала:

— Не надо, Ольга Павловна, я сама.

А та уже, натерев спину, намыливала плечи, грудь. Приятно было отдаться во власть ловких проворных рук этой доброй, расторопной бабы.

— Вот гляжу я на вас, Наталья Михайловна, и не пойму, что Александру Петровичу надо? Али вы урод, али дура какая, что он вас на Манефу Юрьевну поменял? Скажи, как прилепились друг к дружке. Все вместе, да вместе...

Наталье показалось, что она вот-вот задохнется, так внезапно был удар, нанесенный этой старой женщиной. Она сделала над собой усилие, отвела руки Ольги Павловны и сказала твердо:

— Ольга Павловна! Все, что вы сказали сейчас об Александре Петровиче, неправда. Они потому вместе, что

у них работа совместная, они не могут иначе. Я прошу вас никогда не говорить мне об этом. Я не хочу слышать...

Прыгающими от волнения руками Наталья налила воды в тазик, окатилась и стала одеваться. Она долго рылась в ворохе белья, перебирая его и не видя того, что держала в руках.

— Да вот она, рубаха-то! — грубовато сказала Ольга Павловна, подавая Наталье чистую рубашку. Она была обижена на Наталью.

— Работа совместная... — ворчала она про себя — Сама знаю, что совместная. Все сообча работают не они одни, а только безобразия этого нет. Взять что Ивана Ивановича, что Ярослава Ивановича...

«Значит, правда, если об этом знают другие. Значит, правда...» — стучало в висках Натальи.

Она натягивала через голову платье. Узкое, оно льнуло к горячему потному телу, душило ее. Сердце Натальи неистово колотилось.

— Оно может и не след было мне говорить вам, — услышала она голос Ольги Павловны, — только сказала я это не со зла, а жалеючи вас. Чтобы вы знали и, в случае чего, не уронили себя перед ними. А насчет того, что я брешу, так напрасно вы это, Наталья Михайловна, говорите. Стара я, стара брехать-то. Сама видела не раз, как она из его палатки по утрам выскакивала. Ну раз все ж таки я не утерпела, сказала ей: «А не гоже, говорю, Манефа Юрьевна, чужих-то мужей приманивать». А она этак руки в боки и говорит:

«Был когда-то чужой, а теперь мой!» Вот и возьми ее.

Или оттого, что Наталья никак не могла справиться с платьем, надевая его, она забыла расстегнуть крючки, и сейчас оно душило ее, как мешок, надетый на голову, или оттого, что в бане было очень жарко, только Наталья вдруг ощутила тьму вокруг себя и почувствовала, как падает в эту тьму.

Она не слышала, как Ольга Павловна с испуганным вскриком: «Господи сусе!» — подхватила ее, положила на скамейку, засуетилась.

Очнулась Наталья оттого, что Ольга Павловна плескала ей в лицо воду из ковшика и приговаривала:

— Да что это, господи, твоя воля! Сомлела-то как милушка!

Платье на груди Натальи было мокрым. Ольга Павловна приподняла ее за плечи и поднесла ко рту ковшик с водой.

— Испей водички!

Наталья сделала несколько глотков. Вода была теплая, противная. Но эта теплая вода, чуть пахнувшая дымом, словно растворила в Наталье ту горечь, что накопилась в ней за последние дни. Из глаз ее хлынули слезы, и она не удерживала их, радуясь тому, что не надо больше стыдиться их.

Ольга Павловна снова поднесла было ей воды, но Наталья не могла пить, зубы ее стучали о железо ковшика, и вода проливалась на платье.

Полуодетые они долго сидели в бане. Когда пламя коптилки начинало метаться на окне, на стенах и потолке плясали их большие расплывшиеся тени. Наталья плакала, Ольга Павловна, не утешая, приговаривала:

— Поплачь, поплачь, милушка. Отойдет сердце, а то закаменело оно у тебя. Это плохо, когда закаменеет, в сто раз тяжелее тогда. Эх, все мы бабы — дуры! Как прилипем к одному, так только и свету в окошке. Ничего не поделаешь, Наталья Михайловна, милушка. Не ты первая, не ты последняя. Терпеть надо, перемелется — мука будет. Сколь не повертится на стороне, опять к тебе вернется. Это ведь спервоначалу новая-то подружка слаще жены кажется, а потом о жене спохватится, нет, мол, лучше ее на свете.

Только ведь мы, бабы, дуры, ох и дуры! Где бы смолчать, переждать, авось одумается, так мы его точить, мы его пилить. Ну дело-то и пошло на разлад. Другой, может, и не собирался жену-то бросать, так просто блажь в голову полезла, а тут бросит — и без стыда бросит. На черта, скажет, она мне такая вредная сдалась, житья от нее нет. И деток не пожалеет, бросит, и это бывает. А разве им, деткам-то, хорошо без отца будет! А то так еще, возьмут да и поделят деточек-то, как щенков промеж себя. Энтото, мол, тебе, а энтото мне. Разве можно такое. Об детках первая думка должна быть!

Трудно тебе, Наталья Михайловна! Знаю, что трудно, и только убиваться так не след. Свекруха-покойница все бывало говорила: «Держи хвост трубой!» Так и ты, Наталья Михайловна, ни единой слезинки чтоб у

тебя никто не видел. Тебе приbedняться нечего. Ты жена, ты мать. Закон на твоей стороне, держи себя высоко. Стара пословица: «Полюбовница ждет за углом, а жена за столом».

А то, что ты интерес Александра Петровича соблюдаешь, это хорошо. Дома хоть скалкой его колоти, а на людях «не виновен» тверди. Он тебе муж, он тебе глава, унижать его не след.

Долго еще говорила Ольга Павловна. Наталья понемногу утихла. Они вышли из бани. Небо было звездное, ночь казалась мягкой.

— Пойдем-ка, Наталья Михайловна, ко мне, у меня и переночуешь, — предложила Ольга Павловна.

После того, что произошло в бане, она стала говорить Наталье «ты». Как будто то, что она видела Наталью в минуту душевной слабости давало ей право на это.

Наталье было приятно это «ты». Сейчас ей необходимо было хоть чье-нибудь участие. И Наталья была благодарна Ольге Павловне за него. Рядом с ней она чувствовала себя слабой, беспомощной, но это состояние беспомощности теперь было даже приятно.

Эта женщина знала о ней все. Перед ней не надо было притворяться, играть ту трудную роль, которую она, Наталья, вынуждена была играть все эти дни. И оттого, что перед ней не надо было лгать, с нею было легко и спокойно.

Наталье хотелось продлить это состояние временного покоя, этой тишины в себе, и она с радостью пошла к Ольге Павловне. Вернись она сейчас к себе, от этого ее состояния не осталось бы и следа.

— А старик-то, поди, заждался! Где, скажет, ее старую, черти носят? — говорила Ольга Павловна. — Старик! Кузьмич! Спишь что ли? — крикнула она с порога.

— А! Что! — отозвался Кузьмич из-за перегородки, слышно было, как он повернулся на кровати.

— Я говорю, спишь что ли?

— Вздремнул маненько, — протяжно зевая, ответил Кузьмич. — И де тебя, старую, черти носили?

— Где была, там нет! С молодым гуляла, пока ты храпел, старый! — сказала Ольга Павловна, зажигая лампу и подмигивая Наталье.

Лампа осветила стол, накрытый клеенкой поверх до-

матканной скатерти, самовар, чайную посуду, вазочку с медом.

— Самовар-то вскипятил ли? — спросила Ольга Павловна, хватая самовар ладонями. — Ой, батюшки, да он остыл совсем! Иди, Кузьмич, подогревай его сызнава!

— А что я тебе подрядился по десять раз подогревать его! — сказал Кузьмич, выходя из спальни и шурясь на свет лампы, но самовар взял и вышел с ним на крыльцо. Через открытую дверь в сени слышно было, как он продувал самоварную трубу сапогом.

За чаем Ольга Павловна и Иван Кузьмич продолжали беззлобно перебраниваться между собою. Но Наталья уже знала, что это их обычная манера разговаривать. Ей было удивительно хорошо с ними.

После чая Ольга Павловна постелила ей в горнице на полу. Наталья лежала, прислушиваясь к шороху ночных бабочек, облепивших окно. Сквозь дрему слышала она, как в окно кухни кто-то легонько постучал, как Ольга Павловна, шлепая босыми ногами, подошла к окну, спросила тревожно: «Кто там?» и как потом вышла на крыльцо и разговаривала с кем-то.

Наталье показалось даже, что говорила она с Александром Петровичем, но этого не могло быть. Зачем ему приходить сюда?

Вот Ольга Павловна засмеялась и сказала: «Да здесь она, здесь ваша пропажа!» О какой пропаже она говорит?

Наталья почти уже спала, когда в комнату вошла Ольга Павловна и свистящим шепотом, наклонясь к ней, сказала:

— Твой прибегал, Александр Петрович. Обеспокоился, куда, мол, делась. Это хорошо, что прибегал, значит, не все равно ему, где ты и что ты. Ничего, что пробежался. Ноги молодые, длинные. Пушай поразомнется. А ты спи себе. Все хорошо будет. Все перемелется. Ну спи себе с богом!

Она ушла. После ее ухода Наталья повернулась на бок, поджала ноги, как бывало в детстве, и, подложив под щеку ладони, заснула со слабой улыбкой на губах.

В город по делам экспедиции чаще всего ездил Денисов. Требовалось ли во время получить наряды на горючее, на лабораторное оборудование, — лучше всех, скорее всех с этим делом справлялся Денисов.

В этом его умении четко, до конца разрешать затруднения немаловажную роль играла длительная практика администрирования, которая была у него за плечами, и тот здравый смысл, который не изменял Денисову никогда.

Но главное, в нем была твердая убежденность в важности и необходимости того дела, которое он делал, и эту свою убежденность он умел внушить людям, с которыми сталкивался.

Когда он, невысокий, плечистый, подтянутый по-военному, не смотря на свой штатский костюм, входил в кабинет начальника учреждения, от которого зависело, получит ли экспедиция сегодня требуемое количество материалов, или за ними придется приехать еще раз, ему трудно было отказать.

Люди понимали, что от него нельзя отмахнуться, и он сам знал это. Он знал, что от энергии и настойчивости, какие он проявит, зависит успех экспедиции, а значит, зависит успех того дела, которому он призван был служить.

Поэтому, когда экспедиции требовались сушильные шкафы, он ехал в город и привозил их. Требовалось стекло, ящики, проволока, он ехал и привозил и то, и другое и третье. Так уж повелось, что когда люди испытывали недостаток в чем-нибудь, они говорили:

«Скоро Иван Иванович поедет в город и привезет».

Людям казалось это просто: пришел на склад, выбрал что надо, погрузил в машину и дело с концом. На самом деле это было не так просто. Прежде чем получить что-нибудь, надо было пройти в учреждение от начальника к начальнику, получить несколько подписей. Потом долго ждать кладовщика, который целый день торчал на складе, а потом взял да и отлучился куда-то. Потом надо было посмотреть в оба, чтобы этот кладовщик не подсунил какой-нибудь дряни. Их повадка была известна: сплавить в первую очередь то, что поплоще...

Нет, не легко было получить рулон брезента или не-

сколько бутылей с дистиллированной водой. И хотя важность того дела, для которого нужны были брезент и дистиллированная вода, понималась всеми, но находились люди, которые неизвестно почему, может быть, по привычке «тянули за душу», как любил выражаться Яша, сопровождавший Денисова в поездках.

Иногда в город по делам ездил сам Щербинский. Обычно это совпадало с каким-нибудь совещанием. Попутно Александр Петрович брался разрешать и хозяйственные дела.

Возвращался он из города радостно возбужденный. Не заходя к себе, в пыльных сапогах и плаще проходил в лабораторию, собирал вокруг себя людей, рассказывал, о чем толковали на совещании, что им предстояло сделать в свете принятых совещанием решений, какие ошибки они допускали в работе, как надлежало их исправить, намечал новое в решении той или иной проблемы.

Ему напоминали об ужине, он отмахивался: «Успеею!» — и продолжал с увлечением рассказывать.

Завхоз Брынза, сидя тут же в лаборатории, с нетерпением ждал, когда Александр Петрович покончит с «научковыми» проблемами и перейдет к «делу».

— А как, Александр Петрович, насчет горючего? — спрашивал он, когда терпение его истощалось. — У нас бензина самая малость осталась. Вот съездят завтра ботаники на озеро и все, на мель сядем...

Щербинский сразу терял все свое оживление, хмурился и говорил:

— Придется тебе, Иван Иванович, самому съездить на горючим. Тянут с нарядами. Вы, говорят, свою норму выбрали. Поругался я с ними, бюрократами!

На следующий день Денисов ехал в город и привозил горючее.

Когда с вечера становилось известно, что Денисов идет в город, к нему начиналось паломничество. То и дело в палатку просовывалась чья-нибудь голова.

— Иван Иванович! На почте будете? Конвертов купите? — спрашивала Галя, не сомневаясь в том, что Денисов будет на почте, что он купит конвертов.

Чтобы не забыть, не перепутать, кому что купить, Денисов все поручения записывал в книжечку. Скоро у него составлялся целый реестр: две фотованночки и

стекло для фонаря Володе, три тубика закрепителя и три проявителя ему же, батарейку для карманного фонаря Олегу, Гале две катушки ниток черных и белых сороковой номер, Ольге Павловне иголок швейных и липучек от мух, Манефе Юрьевне флакон духов «Белая сирень», Ярославу Ивановичу третий том избранных сочинений Тимирязева.

Список можно было продолжать без конца. Были и неожиданные просьбы. Маша, например, настойчиво просила купить ей хромовые сапоги.

— Да ты сама, Маша, купишь их, — пробовал отказаться Денисов.

— Иван Иванович, купите! Прошу вас. Сама я еще когда выберусь в город, а мои сапоги совсем развалились.

И точно, сапоги никуда не годились. Но все-таки, как покупать их заочно?

— Чудачка ты, ведь их примерять надо. Куплю, а они тебе не будут годны...

— А вы на дивчину какую-нибудь примеряйте, какая мой, тридцать седьмой размер носит.

Пришлось вписать и этот заказ в книжечку. Невозможно отказать, когда так просят.

Все поручения всегда исполнялись Денисовым. Ему было очень неприятно, когда почему-либо не удавалось выполнить просьбы и приходилось говорить:

«А вам так и не удалось ничего купить»...

Поэтому, чтобы не произносить этих слов, Денисов, не считаясь со временем, обходил все магазины и покупал то, что просили.

Ему волей-неволей пришлось взять на себя часть обязанностей завхоза. Брынза, который считался на этой должности, был скорее кладовщиком. Он очень рьяно охранял в своей кладовой все, что туда попадало, но что-нибудь достать самому, проявить при этом необходимые настойчивость и оборотистость было не по нему. И экспедиция очень страдала от этой его нерасторопности.

Если он вез в город буры, чтобы отдать их в ремонт, то возвращался без буров, потому что ему обещали отремонтировать их только через неделю. Если же с бурами ехал Денисов, он привозил их тут же с собой, годными для работы.

Необходимость постоянно отрываться от своей научной работы тревожила Денисова, но в то же время он понимал, что надо же кому-то обеспечивать бесперебойную работу экспедиции.

Ну, хорошо, не будет он заниматься хозяйственными делами, а будет сидеть на своих опытных делянках. Что же получится? Работа, которая до сих пор шла в экспедиции слаженно и четко, пойдет с перебоями. Вряд ли сможет сейчас экспедиция найти нового завхоза, который оказался бы лучше Брынзы. Сам Щербинский не будет заниматься хозяйством, ему не до того, да и не умеет он заниматься хозяйственными делами.

«Конечно, необходимость постоянно отрываться от дела, скажется на сроках выполнения диссертации», — думал Денисов. — Но в конце концов, что важнее? Защитит ли он диссертацию, и ученый мир пополнится еще одним кандидатом наук? Или то, что он обеспечит бесперебойную работу экспедиции и тем самым поможет ей выполнить большое дело? Денисов считал, что последнее важнее.

Для того, чтобы работа Денисова не очень страдала от постоянных отлучек, Щербинский закрепил для наблюдения за его опытами двух студентов.

Однажды Денисов вернулся из города с гостем.

Был час, когда закончив работу, все собрались в ожидании ужина.

Машина остановилась возле лаборатории. Денисов вылез из нее и, представляя высокого красивого человека, приехавшего с ним, сказал:

— Волошин Павел Иванович! Прошу любить и жаловать!

У Волошина было бледное лицо. Темные большие глаза его были полуприкрыты тяжелыми веками, казалось, что они существовали сами по себе, независимо от лица. Такие глаза встречаются на старинных портретах.

Волошин возвращался из Ставрополя, где только что закончилось техническое совещание по степному лесоразведению.

— Думаю, что Павел Иванович мог бы много рассказать нам интересного об этом совещании, — сказал Денисов.

— Да, собственно, о чем рассказывать, — пожал плечами Волошин. Видно было, что ему не очень хоте-

лось говорить о том, о чем, должно быть, он много раз уже говорил. Наверняка везде, где он бывал, от него требовали подробного отчета о совещании.

— Э-э-э, нет! Так мы вас не выпустим! — весело сказал Денисов. — Извольте нам все подробно доложить! — Он взял Волошина под руку и повел его в лабораторию, взглядом приглашая всех следовать за собою.

В лаборатории все разместились и приготовились слушать.

— Так что ж, товарищи, — сказал Волошин, очутившись в центре и оглядывая всех своими странными глазами, — я вижу, что мне от доклада по всей форме не отвертеться. Начнем, пожалуй, Иван Иванович!

Он с улыбкой оглянулся на Денисова, как бы говоря ему: «Ну что ж, голубчик, уж ежели ты завез меня сюда, так пеняй на себя, что тебе придется выслушать доклад по всей форме».

— Я постараюсь, товарищи, покороче изложить материалы совещания, — начал Волошин, — и остановлю ваше внимание на одном, кардинальном вопросе, который вызвал больше всего споров при обсуждении. Это вопрос о покровных культурах. Как сеять дуб? С покровной культурой или без покровной культуры?

Большинство выступавших на совещании товарищей высказались за то, чтобы сеять дуб без покровной культуры. В обоснование они приводили данные о том, что под покровными культурами дубок либо погиб, либо находится в жалком состоянии.

Покровную культуру они рассматривали, как сорняк, оставляющий в почве для дуба мертвый запас воды. Некоторые из выступавших прямо ставили вопрос: «Снять покровные культуры с повестки дня!»

— Правильно! — бросил реплику Щербинский.

— Что правильно? — спросил Волошин, откинув голову назад и разглядывая Щербинского полузакрытыми глазами, отчего лицо его казалось надменным. — Снять покровные культуры с повестки дня?

— Да! — резко сказал Щербинский. Ему безотчетно не нравился Волошин. Не нравилось то, что он так методически бесстрастно излагает вопрос о покровных культурах. Что ему? Сел в машину, да и уехал. Где ему понять всю ту горечь, что испытали производственники от этого эксперимента с покровными культурами!

Волошин отвел от него свой тяжелый взгляд и, смотря теперь уже на других, продолжал:

— Лозунг: «Долой покровную культуру!», мне кажется преждевременным. Если в ряде лесозащитных станций мы имеем печальный опыт внедрения покровных культур, то у нас нет оснований заключать, что они не нужны совсем. Отступать от инструкции академика Власенко...

— Из-за этой инструкции дубок гибнет! Так что же, по-вашему, мы должны продолжать следовать ей! — снова не выдержав, зло сказал Щербинский.

— Александр Петрович! Ты после выскажешься! — остановил было его Денисов, но Щербинский, не слушая парторга, резко кинул:

— Мы что охраняем метод определенного автора или охраняем дубки!

— Да тут и охранять-то нечего! — вдруг подал с места реплику Туповлев. Все невольно посмотрели в его сторону.

Корней Степанович поднялся и стоял высокий, точно глыба, высеченная из камня. Тяжелая квадратная челюсть его была выпячена вперед.

— Вы гнездовой метод и так похерили! — сказал он и вписал в пространстве перед собою отчетливый крест.

Все невольно улыбнулись той запальчивости, с какой Туповлев произнес свою фразу. Сел он с обиженно-мрачным лицом.

Волошин сделал вид, что не придавал значения разыгравшейся сцене. Он снисходительно улыбнулся, как бы оправдывая Туповлева, сказал:

— Я вижу, наша беседа приняла, так сказать, полемический характер. Горячая полемика всегда признак того, что мы не равнодушны к делу. Это хорошо. Но все-таки вы разрешите мне продолжать дальше, Александр Петрович?

Александр Петрович, насупясь, кивнул головой. Ему все больше и больше не нравился этот прекрасно владеющий собой человек. Его манера говорить ровными закругленными фразами вызывала в Щербинском раздражение. Александр Петрович слушал его с неприязнью.

— Можно ли отказываться от покровных культур везде, — говорил Волошин. — Если они не оправдали

себя в засушливой зоне, то нет ни малейшего сомнения в том, что в черноземной зоне их следует оставить.

— А у вас есть основания сказать, что они там будут полезны? — снова не выдержав, насмешливо спросил Щербинский. — Умозаключительно можно сказать, что и там, кроме вреда, они ничего не принесут!

— Александр Петрович! — с укоризной сказал Денисов.

— Нам довольно умозаключений! — неожиданно резко бросил Волошин и в упор посмотрел на Щербинского. Теперь его глаза уже не были полузакрыты. Все увидели, что зрачков у него нет, они сливались с радужной оболочкой глаз, и глаза от этого казались темными, тяжелыми.

Наталя волновалась за мужа. Она всегда боялась этой его манеры цепляться, как репей, к каждому слову противника, задирать его иногда просто из чувства протеста. Ей было бы очень неприятно, если бы в споре с этим, повидимому, умным человеком, последнее слово осталось не за Александром Петровичем, а за Волошиным.

Что бы ни было между нею и мужем, она никогда не смогла бы сказать:

«А! Что получил! Поделом тебе! Не лезь в драку!»

Нет, его поражение было всегда и ее поражением. Вот почему это «Нам довольно умозаключений!» — резко брошенное Александру Петровичу Волошиным, отзывалось в ней испугом и болью.

Она, не отрываясь, смотрела в лицо Волошину и со страхом ждала, что он скажет еще такого оскорбительного ее мужу, отчего тот почувствует себя униженным, а вместе с ним почувствует себя униженной и она, Наталя.

Волошин заметил на себе напряженный взгляд женщины со светлыми волосами, загоревшее лицо которой казалось темнее волос и, продолжая говорить, несколько раз останавливал на ней свой взгляд.

Наталье становилось неловко от этого. Она отводила свои глаза в сторону и старалась глядеть мимо Волошина, но даже не глядя на него, знала, чувствовала, что он продолжает смотреть на нее.

Поэтому Наталя была рада, когда к ней подошел Денисов и, наклонясь к ее уху, сказал тихонько:

— Как бы там насчет ужина сообразить, Наталья Михайловна? Найдется что-нибудь у Ольги Павловны? Как вы думаете?

— Сейчас пойду, узнаю.

Она встала и пошла к выходу. Волошин проводил ее глазами. Оглянувшись, Наталья перехватила его взгляд. Ей вдруг без причины стало весело. Взгляд Волошина сказал ей, что она красива и может нравиться, что не все еще потеряно и есть еще маленькая надежда на то, что к ней вернется любовь мужа. Как утопающая за соломинку ухватилась Наталья за этот взгляд. Для нее, утратившей веру в себя, надо было очень немного, чтобы почувствовать себя уверенней.

Оживленная она вошла в кухню и стала помогать Ольге Павловне готовить ужин.

— А хватит ли всем вилок, Ольга Павловна! — спохватилась она, когда было решено, что на ужин дополнительно к тушенке с кашей будет подан салат из огурцов и помидоров.

— А не хватит, так и ложками обойдутся. Беда какая! — невозмутимо ответила Ольга Павловна.

— Ой, что вы! — запротестовала Наталья.

— Что-то ты больно, бабонька, расхлопоталась. Аль, знакомые какие хорошие приехали?

— Нет, Ольга Павловна, нет! — засмеялась Наталья, вспомнив проводивший ее взгляд Волошина. — Просто хочется, чтобы все было хорошо.

Перед тем, как вернуться в лабораторию, Наталья на минуту зашла к себе в палатку, сбросила с ног тапочки и надела туфли. Хотела надеть свое любимое платье из синего легкого шелка, которое очень шло к ее светлым волосам. Ей хотелось быть сегодня красивой, нарядной. Но потом подумала, что это может показаться странным и с сожалением повесила платье обратно.

Уже выходя из палатки, мимоходом заглянула в маленькое зеркальце, перед которым по утрам брился Александр Петрович. Заглянула и удивилась. На нее смотрело не печально-строгое лицо, которое она привыкла видеть в зеркале в последнее время, а розовое помолодевшее, со счастливым ожиданием в глазах.

«Напрасно ты думаешь, что я уже никому не могу нравиться!» — мысленно сказала она мужу.

Когда Наталья вернулась в лабораторию, там все еще продолжался разговор о покровных культурах. А может быть, за то время, пока она ходила, говорили и о другом, ведь не только одни покровные культуры сейчас волновали лесоводов.

Наталья вошла, тихонько села у двери. Говорил Александр Петрович.

— Уважаемый Павел Иванович оборвал меня. Довольно, дескать, нам умозаключений, пора проверить вопрос о покровных культурах на черноземе серьезно поставленными опытами. А я скажу вам, уважаемый Павел Иванович, не довольно ли печальных опытов? Не пора ли основательно подумать прежде, чем ставить опыты? В прошлом году был дан прогноз в отношении покровных культур, его не приняли во внимание, опыт все же решили внедрить в широких производственных масштабах. А результат печальный. Вы не найдете теперь ни одного производственника, который бы поддерживал покровные культуры. Надо смотреть вперед, а не тащиться в хвосте у жизни. Умозаключительно, — Щербинский упрямо выделил это слово. — Умозаключительно я утверждаю, что такая же неудача с покровными культурами ждет нас и на черноземе. Ибо черноземная зона так же страдает от засухи. Возьмите курские, орловские, воронежские черноземы, все они подлежат орошению. Я считаю, что покровные культуры должны быть сняты с черноземной зоны вообще и тем более их надо снять здесь, в зоне полупустыни...

Щербинский сел. По его сердито нахмуренному лицу видно было, что раздражение против Волошина усилилось.

— Есть еще желающие высказаться? — спросил Денисов, с улыбкой оглядывая всех. Его улыбка относилась к тому, что собрание шло по всем правилам, хотя это была ни больше, ни меньше, как дружеская беседа.

— Нет больше желающих? — Денисов остановил свой взгляд на Варно, который сегодня против обыкновения отмалчивался. — Ну что ж, тогда разрешите мне сказать несколько слов. Я считаю, что, критикуя метод академика Власенко, мы никакими вредными делами не занимаемся. Убедившись в неудаче с покровными культурами на каштановых и светло-каштановых почвах, мы отвергаем их. Для нас неважно, что этот метод предло-

жен крупнейшим ученым страны. Наш долг, не взирая на авторитет, не боясь обидеть академика Власенко, отместить все, что нам мешает выращивать дуб. Я убежден, что если бы мы сейчас сказали Ефиму Даниловичу, что в условиях засушливого Юго-Востока покровные культуры наносят вред дубкам, он сказал бы: «Дуб надо сеять так, чтобы он рос. Я никогда не настаивал и не настаиваю на трафаретном выполнении моей инструкции...»

Так-то, товарищи. Ну, что ж, на этом, пожалуй, мы закончим наше собеседование. Поблагодарим Павла Ивановича за интересное сообщение и попросим его, как представителя Главного Управления по полезащитному лесоразведению, хоть изредка, но заглядывать к нам.

Волошин несколько театрально раскланялся. Мужчины вышли покурить.

— Дорогой шефповар! Как там с ужином? — крикнул Денисов Ольге Павловне, показавшейся на пороге кухни.

— Готов! Пожалуйста кушать!

— Иван Иванович, — вмешалась Наталья, — может быть, мы по случаю гостей, накроем стол в лаборатории, в кухне жарко.

— А и в самом деле, давайте-ка сюда. Володя! — крикнул Денисов Володьку. — Приготовьте столы и стулья. Наталья пошла предупредить Ольгу Павловну в дежурящих по кухне девочек, что ужин будет в лаборатории.

— Канитель одна, поужинали бы и здесь, — сказала недовольная Ольга Павловна. Она устала за день, возясь у раскаленной плиты. Хотелось поскорее добраться до постели, сказать: «Ну ка, Ваня, подвинься трошки». Лечь на свое место у стенки и спать до утра.

— Да не хватай ты, девка, чего попадай. Неси вот это сперва!

Девочки принялись бегать взад вперед из кухни в лабораторию и обратно. Все, что они приносили, Наталья расставляла на длинном столе, застланном листами чистой белой бумаги. Накрывая на стол, она прислушивалась к голосам курящих на крылечке мужчин.

— Вот вы говорите, что гнездовой метод захваливается! — услышала она густой баритон Волошина и с тревогой ждала ответных слов мужа. Конечно, он рад

будет выложить «начальству» начистоту все, что думает о гнездовом методе. Ну так и есть...

— Да! Захваливается! На пропаганду его брошено все: газеты, радио. В единой стандартной форме его навязывают для всех районов и областей, не считаясь ни с чем. Что это такое? Конечно, гнездовой гнет! В вопросах степного лесонасаждения сейчас создан такой аракчеевский режим, что о творческой инициативе и речи не может быть. Дана производственным командам инструкция, и от этой инструкции они не имеют права отступить ни на шаг. Посмел бы Алексей Иванович Башкиров отступить от нее! С работы бы сняли и из партии, чего доброго, выгнали. Сказано в инструкции высевать кустарники семенами, он высевает семенами, хотя у него, у старого лесовода, кошки на сердце скребут. Уж он-то знает, что ничего здесь из этой затеи не выйдет, и зря он бросает семена в землю! Сказано высевать в лунку 35—40 желудей, он бросает шапкой, хотя совершенно очевидно, что зря расходует дорогой материал. Все равно большая часть дубков выпадет, сильный придушит слабого. Для дубков нужна определенная площадь питания. Там, где пищи хватает на одного, там ее определенно не хватит на сорок!

— Можно подумать, Александр Петрович, что вы стоите на позиции признания внутривидовой борьбы...

— Э, думайте, что хотите!..

— То есть, как, что хотите? Я могу подумать, что вы сторонник реакционной теории мальтузианства...

— Материалистическая диалектика учит нас, что недопустимо переносить закономерности жизни и развития человеческого общества в растительный мир и обратно. Еще Энгельс, как вам известно, сказал «борьба за существование в природе может происходить помимо какого бы то ни было мальтузианского ее истолкования». — Ясно вам?

Александр Петрович засмеялся. И, не видя его, Наталья знала, какое у него сейчас довольное, мальчишески задорное лицо. Ну еще бы, положил противника на обе лопатки!

— Насчет аракчеевского режима вы, Александр Петрович, перегибаете палку. Это опасно...

— Что это? Угроза?

— Нет, зачем же! Просто дружеский совет.

— Благодарю. Но какое же это преувеличение, когда на статью о гнездовом посеве редакция журнала отвечает: «Статья ваша не может быть напечатана. Вы критикуете метод гнездового посева, а он признан ведущим!» Ловко ответили умники! А вы мне говорите, нет аракчеевского режима...

Володька, помогавший Наталье накрывать на стол, тоже прислушивался к разговору Щербинского с Володиным. Он боялся упустить хоть одно слово из того, что говорил Щербинский.

В спорах, которые тот вел со своими противниками по гнездовому посеву дуба, Володька всегда был на стороне Александра Петровича, как впрочем и все студенты в экспедиции. Когда спор принимал особенно ожесточенный характер, Володька с горящими глазами готов был ринуться на защиту Александра Петровича, и если удерживался от этого то только потому, что своим вмешательством боялся испортить дело. Да в этом его заступничестве вряд ли и была надобность. Александр Петрович и один справлялся неплохо.

Если почему-либо при споре не присутствовал Олег, то Володька, рассказывая ему о стычке, с восторгом вспоминал каждую удачную реплику Щербинского и в заключение неизменно говорил:

«Наш да-а-а-л! Знаешь ведь, как он это может!»

— Володя, поставь-ка вот эту тарелку на тот конец стола, — сказала Наталья, протягивая Володьке тарелку, и вдруг услышала голос Манефы. Это было так неожиданно, что у нее чуть тарелка не выпала из рук.

«Приехала!» — почти с ужасом подумала Наталья, прислушиваясь к ненавистному ей голосу.

А Манефа Юрьевна, только что вернувшаяся из города, между тем докладывала Щербинскому.

— Все, все успели сделать, товарищ начальник. И купили все, что нам приказано было, и в теруправлении были, и в университете. А Воронцова не стали ждать, снова от него телеграмма, что задерживается, приедет только двадцатого. Так что нам ничего не оставалось с Яшей, как сесть в машину и домой. Хотели было в театр махнуть, да ладно уж, думаем, оставим до другого раза, когда от начальства будет увольнительная. И Манефа громко рассмеялась.

— И бывает же на свете такой противный смех! Глу-

хой, надреснутый. Другая на ее месте старалась бы пореже смеяться, а этой все равно, что подумают о ней другие. Вот опять: «Ха-ха-ха!»

Наталья поежилась, точно за ворот ей попала колючка.

Ну, кажется, все готово, можно садиться за стол. Только Володя еще возился с бутылками портвейна, откупоривая их.

— Фу, черт, проскочила! — с досадой сказал он.

— Не важно, Володя. Поставь эту бутылку сюда. Девочки! Можно приглашать к столу!

Когда все рассаживались за столом, Наталья нарочно села подальше от Манефы, на другом конце стола. Александр, конечно, сядет с ней, с женой, и хоть на этот вечер будет разлучен с Манефой.

Наталья оставила ему место возле себя. Но Александр Петрович, точно не видя жены и свободного стула возле нее, глядя куда-то поверх голов, прошел вдоль стола и сел рядом с Манефой.

Наталья видела, как Манефа подняла к Александру Петровичу улыбающееся лицо, точно ни минуты не сомневалась в том, что он придет и сядет рядом с нею. Как будто она имела право ждать его и смотреть на него такими глазами.

У Натальи жалко дрогнули губы. Она с преувеличенным вниманием стала передвигать на столе тарелки, предлагая гостям то одно, то другое блюдо. Но предательская краска уже заливала ее лицо, выжимала из глаз слезы. Она боялась поднять глаза. Ей казалось, что сейчас все смотрят на нее, для всех ясно, почему так напряженно, неестественно ее лицо, так очевидно ее старание принять безразличный вид.

Выручил ее Денисов. Он встал, чтобы предложить первый тост.

— Товарищи! Лес в степи — большое счастье. И наши потомки спасибо скажут нам за него. «Нет ничего на свете прекраснее сбывшейся мечты!» Так выпьем же, товарищи, за претворение нашей мечты!

Шум, который поднялся за столом после слов Денисова, дал Наталье возможность овладеть собою. Она вместе со всеми встала с поднятой рюмкой. Когда рюмки наполнились снова, поднялся Волошин. Он предложил тост за передовую мичуринскую биологическую на-

уку, которая открывает безграничные возможности в деле преобразования природы.

— За тесное содружество науки и производства! — сказал он.

— За тесное творческое содружество науки и производства! — поправил Щербинский.

Волошин кивнул головой в знак согласия и, протягивая рюмку через стол к Наталье, галантно поклонившись ей, сказал:

— За ваше здоровье!

— Почему за мое? — спросила Наталья, невольно улыбаясь в ответ на его улыбку. — Разве вы не хотите выпить за свой тост, с поправкой Александра Петровича?

— Ну, хорошо, мы выпьем сейчас за мой тост, а потом поднимем рюмки за ваше здоровье.

Наталья медленными глотками пила вино. От него горячо становилось у нее в груди.

Волошин снова наполнил ее рюмку. Так много Наталья еще никогда не пила, но сейчас с каким-то неведомым ей самой озорством выпила и эту рюмку. Ей вдруг показалось странным, что она так болезненно восприняла поступок Александра Петровича.

«Ну, и пожалуйста!» — думала она, пытаясь убедить себя в том, что это ей совершенно безразлично. Ну, сидят вместе, ну, разговаривают о чем-то оживленно. Ей-то что до этого!

Безудержное желание веселья овладело ею. Она чувствовала себя молодой, легкой, красивой. Ей хотелось, чтобы Александр видел, какой интересной она может быть, как все любят ее, и как Волошин, этот умный красивый человек, открыто ухаживает за нею, отдавая ей предпочтение перед всеми остальными женщинами.

«Что с ней сегодня?» — думал Денисов, с удивлением наблюдая за Натальей. И он пристально вглядывался в ее оживленное преобразившееся лицо.

А Наталья, видя, что взоры всех невольно тянутся к ней, сознавая, что сегодня она хороша, хотела быть еще лучше, еще красивее, еще веселее.

— Павел Иванович! — кричала она через стол Волошину, оживленно блестя глазами. — Почему вы ничего не кушаете?

И спрашивала не потому, что была обеспокоена отсут-

ствием аппетита у Волошина, а просто ей приятно было, что она нравится этому умному, красивому человеку, и что это видят все, а, главное, видит это Александр Петрович.

— Павел Иванович! Пересаживайтесь сюда!

Волошин со своим стулом перешел к Наталье.

— Так о чем же мы будем разговаривать? — спросил он, слегка склоняясь к Наталье, и положил свою руку на спинку ее стула.

Она испуганно отстранилась, но тут же, словно решившись на что-то, вновь откинулась на спинку и, смело взглянув на Волошина, выдержала его томительно тягучий взгляд.

— Вы курите? — спросил он, вынув портсигар.

— Нет! Хотя, да. Сегодня я с удовольствием закурю.

— Почему сегодня? — настойчиво спросил Волошин. Эта женщина все больше и больше нравилась ему.

— Так почему же вы решили курить сегодня?

— Просто так. Дурачусь. Вероятно, я много выпила, — сказала Наталья с напускной беспечностью.

Несколько раз она ловила на себе недоуменный взгляд Денисова, но от этого взгляда ей становилось только веселее.

«Ну, да вам странно видеть меня такой, — мысленно отвечала она Денисову и другим, — вы привыкли к унылому виду жены, которой пренебрегает муж. Вам было жаль меня. А я не хочу больше жалости. Я хочу быть смелой, свободной во всем: в своих желаниях, в своих поступках. Разве я не вольна поступать так, как мне вздумается? Разве муж мой всем своим поведением не дал мне права на эту свободу? Вот он сидит с этой ненавистной женщиной, рассказывает ей, очевидно, что-то забавное, она хохочет и смотрит на него влюбленными глазами. Если он дал право смотреть на него так, то почему я не могу позволить делать то же самое!»

И она повернулась к Волошину, уже второй раз спрашивающему ее о чем-то.

За столом становилось все более шумно. То и дело раздавались взрывы смеха.

Наталья смеялась вместе со всеми, а сама нет, нет да и прислушивалась к тому, что говорилось на другом конце стола.

С левой стороны от Александра Петровича сидел Туповлев.

Опять они затеяли этот давний спор о гнездовом посеве. Но в общем шуме до Натальи долетали только отдельные фразы.

Вот Туповлев, нагнувшись над тарелкой, деревянно пробубнил:

— Для того, чтобы вырастить на одном квадратном метре десять растений, надо посеять сто...

— Чепуха! — голос Александра Петровича на мгновение перекрыл общий шум. — Мы не можем отрывать организм от среды. Растение требует определенного количества воды, пищи...

— Требовать может сознательный организм...

— Нельзя придирается к формулировке... Для того, чтобы превратиться в пар, вода требует ста пяти градусов...

Дальнейших слов мужа Наталья не слышала. Молодежь с грохотом сдвигала стулья, чтобы образовать круг для танцев.

Молодежь рада была возможности повеселиться. Не утерпела и Ольга Павловна, пошла плясать, потом под общий смех в круг вытащили и Ивана Кузьмича.

Наталья смеялась вместе со всеми, шутливо принимала ухаживания Волошина, но постепенно оживление сходило с нее. Все чаще и чаще бросала она украдкой тревожный взгляд на мужа.

Но Александр Петрович ни разу не взглянул на них, казалось, он не замечал ни ее, ни Волошина.

Это задело Наталью. «Ах, так, ну хорошо же!» — мысленно воскликнула она и обратила все свое внимание на Волошина, стараясь даже не смотреть в сторону мужа и Манефы.

Когда Волошин, наклонившись поднять носовой платок Натальи, положил свою руку на ее колено, она продолжала сидеть и смеяться, пока он не поднял платка и не отдал ей. Она только покраснела и украдкой бросила взгляд в сторону мужа: видит он или не видит? Ей хотелось, чтобы видел.

Но ни Александра Петровича, ни Манефы за столом не было. Как будто морозом повеяло на Наталью. Окружающее утратило для нее всякий смысл. Теперь не надо было играть комедии.

Она посмотрела на Волошина, на его чувственные полные румяные губы, и отвращение к нему и к себе охватило ее. Не в силах больше оставаться за столом, она стремительно поднялась, с грохотом отодвинула стул и, не отвечая на вопрос Волошина, пошла к выходу.

После ярко освещенной лаборатории непроглядная темнота окружила ее. Спотыкаясь, ничего не видя и от темноты и от слез, застилавших глаза, Наталья сделала несколько шагов в сторону и присела на опрокинутый ящик.

Темное небо как бы повисло над головой. Кое-где мигали крупные редкие звезды. С центральной усадьбы лесозащитной станции доносилось обиженное тявканье собачонки. Кто-то играл на гармонии. Играл задумчиво, для себя.

Временами и тявканье собачонки, и грустная музыка покрывались голосами и взрывами хохота из лаборатории. Жизнь шла своим чередом. Люди отдыхали и веселились в меру положенного им, и никому до нее не было дела.

Никогда еще Наталья не чувствовала так остро и свое одиночество и свою старость. То, что еще полчаса тому назад она казалась себе молодой, красивой, это состояние прошло бесследно, и от воспоминания о том, как она кокетничала с Волошиным, улыбалась ему, ей стало стыдно.

Она сидела, сжимая пылающие щеки ладонями, и твердила: «Господи, ну до чего же я была жалка! До чего же я была жалка!» Ей вспомнился удивленный взгляд Денисова. Он точно ужалил ее. Как от нестерпимой боли она замотала головой и, крепко стиснув лицо ладонями, уронила голову в колени.

«Нет, пусть Александр не любит меня, — думала она, — пусть ему ближе, дороже эта женщина, но я не хочу унижаться до мелкой, отвратительной мести. Я хочу уважать себя. Да, он меня не любит, но я люблю его. И если у него оправданием может быть то, что он любит эту женщину, то что может быть моим оправданием?»

* * *

На другой день Наталья, к своему удивлению, увидела Волошина, прогуливающимся возле лаборатории. На нем был все тот же прекрасный серый костюм, но

брюки были вправлены в сапоги, и на голове, вместо велюровой шляпы, была надета кепка.

Он так оживился при виде Натальи, что ей показалось, будто именно ее-то он и поджидал здесь.

— Доброе утро! — сказала она и хотела пройти мимо, но Волошин подошел к ней.

— Как видите, я остался вашим пленником, Наталья Михайловна! — сказал он, целуя ее руку. Но видя, какое холодное, гордое выражение приняло только что бывшее спокойным лицо Натальи с опущенными вниз глазами, понял, что ей неприятен скрытый намек в его словах и поторопился добавить, что остался он для ознакомления с опытами Александра Петровича, о которых много говорят в ученом мире Москвы.

— Было бы грешно уехать отсюда, не используя этой возможности! — сказал он.

Наталья сказала в ответ несколько ничего незначащих слов и поторопилась уйти. После вчерашнего она чувствовала себя неловко. К счастью, сразу же после завтрака Волошин в сопровождении Александра Петровича, Туповлева, Денисова и Башкирова уехал на опытные участки экспедиции.

Александр Петрович любил, когда приезжавшие в экспедицию люди интересовались его работой. Он оживлялся, вез гостей в степь.

Так было и на сей раз. Несмотря на то, что Волошин был ему неприятен, он был польщен тем, что тот проявил интерес к его опытам. Переходя от одной опытной деланки к другой, он объяснял ему где, какой опыт заложен.

— Вот участок, на котором изучается развитие дуба на светло-каштановой почве в зависимости от способа посева, количества желудей и глубины заделки, — сказал он, подводя Волошина к участку, на котором далеко вдаль протянулись правильные рядки дубков.

В одних рядках дубков было много, в других — мало, в одних они росли кучками по несколько штук, в других вытянулись по одному зеленой цепочкой.

— Вот деланка, на которой выясняется лучшая глубина заделки семян. Желуди закладывались нами на глубину пяти-шести сантиметров, семи-восьми, десяти сантиметров и, наконец, двенадцати. Как видите, лучшие результаты дала заделка семян на десять санти-

метров. Двенадцати сантиметров оказалось много, всходы задерживались, и дубок отставал в развитии. Пятишести сантиметров, наоборот, оказалось мало, через две недели после посева желудь уже лежал как в пепле в сухой земле.

— А вот делянка, где решается вопрос, сколько класть желудей в лунку, — сказал Александр Петрович, перейдя к другой делянке. В этом ряду заложено было в каждую лунку по двадцать пять желудей, в следующие ряды по двадцать, пятнадцать и так далее. А вот ряд, где заложено в лунки по три, четыре желудя.

Волошин переходил от ряда к ряду, сравнивая дубки в рядах.

— Лунки с двадцатью пятью желудями выглядят лучше, — сказал он. Для него, сторонника гнездового метода, этот вывод был приятен вдвойне. Как работник главного управления по полезащитному лесоразведению, он должен был отстаивать этот метод и по долгу службы. Но Шербинский не думал сдаваться.

— Конечно, там, где в лунке лежит двадцать пять желудей, лунка в целом выглядит лучше той, где лежит два-три желудя, но выводы из этого делать еще рано. Дуб не пшеница, по году, по двум судить нельзя.

— Значит, вы предлагаете сократить норму высева желудей?

— Да! Зачем тратить драгоценный материал.

— Но ведь вам известно, что при небольшом числе дубков на гектар да еще при одиночном размещении их с белой акацией и кленом ясенелистным, дубки неминуемо погибнут. Об этом нам красноречиво говорит весь опыт отечественного лесоразведения. Почему мы отказались от нормального или донского типа посадок, который в прошлом был обязательным для казенных лесничеств? Да только потому, что посадки в них оказались недолговечны. Деревья не выдерживали межвидовой конкуренции и погибали...

Волошин любил слушать себя. Ровные закругленные фразы приходили к нему легко, свободно. Он хотел продолжить насчет казенных лесничеств, но его предупредил Туповлев, сказав:

— Ефим Данилович сказал, что чем больше будет растений, тем будет лучше...

Александр Петрович живо повернулся к нему:

— Корней Степанович! Сколько раз мы спорили с вами по этому вопросу и никак не найдем общий язык. Поймите же, воды и пищи остается одно и тоже количество, что на одно растение, что на двадцать!

— Произойдет самоизреживание...

— Опять самоизреживание! Да поймите, наконец, если они самоизреживаются, то, значит, сильный задавил слабого. Вот и получается по пословице: «Не умер Данила, болячка задавила!»

Удачно приведя пословицу, Александр Петрович рассмеялся. Зубы его ослепительно сверкнули на смуглом лице. Он сделал несколько шагов в сторону и сказал задорно, показывая на гнездо дуба.

— Вот полюбуйте на гнездышко, Корней Степанович! Чем больше, тем лучше. Сидит их тут по меньшей мере двести штук, уж куда лучше! А середина пуста. В чем дело? Почему провал? Может быть, уже помогли друг другу? А? Корней Степанович?

Туповлев стоял над гнездом, глубокомысленно разглядывая и почесывая свою макушку.

Дубки выросли стихийно из кучки желудей, оставшихся после посева. Расположились они в виде подковы, середина гнезда пустовала, лишь по отдельным усохшим стебелькам можно было судить, что и в ней когда-то были дубки.

— Вот окопаю это гнездо, огорожу его и буду вам время от времени показывать. Чем больше, Корней Степанович, тем лучше!

Щербинский снова рассмеялся. Через минуту он уже серьезно продолжал:

— Ведь вот чудак-человек! Несоответствие между количеством зарождающихся организмов и количеством доживающих до зрелого возраста вы признаете, так же как это признаю я, сторонник внутривидовой борьбы в природе. Но если я объясняю этот факт конкуренцией, борьбой за существование, то вы объясняете его самопожертвованием, то-бишь, самоизреживанием. Я объясняю внутривидовую конкуренцию естественными причинами, вы объясняете процесс самоизреживания целесообразностью, тем, что организмы отмирают «сами» на благо вида в целом. Я стою на материалистических позициях, а вы скатываетесь в болото идеализма...

Щербинский перешел с опушки полосы на середину

ее, увлекая за собой спутников, сделал несколько шагов вдоль рядов дуба и, внезапно остановившись, сказал:

— Или вот это гнездо дуба! Заложено точно по инструкции академика Власенко. А вся середина и здесь выпала, остались периферийные дубки, но и они не выглядят счастливыми. Не буду ждать пока сильный придушит слабого. Прорежу! Часть дубков оставляю для контроля, пусть душат друг друга...

— Душит волк зайца...

— Корней Степанович! Наивно придирается к формулировкам! И вы, и я, и все лесоводы прекрасно понимаем, что «душат» это не значит, хватают друг друга за горло! Борьба идет через внешнюю среду: за свет, за пищу, за воду. Из тридцати дубков со временем останется один, остальные погибнут. Я знаю, вы не любите этого слова, вы предпочитаете говорить: «Отпадут в угоду виду». Но, когда организм умирает, Корней Степанович, это для него всегда плохо, пусть это будет даже в интересах вида!

Туповлев стоял, обдумывая слова Александра Петровича. Всегда этот Щербинский приводил доводы, против которых трудно бывало сразу возразить. Наконец, Туповлев ухватился за мысль, которая ему показалась убедительной.

— Ефим Данилович считает, что внутривидовая борьба, если бы она действительно существовала, ослабляла бы, разрушала бы вид... По этому поводу Ефим Данилович говорит...

Туповлев возвел свои медвежьи глазки под лоб, припоминая цитату из работ академика Власенко. Только опираясь на авторитет академика, он чувствовал себя уверенно в спорах со Щербинским.

Щербинский не стал ждать, когда Туповлев вспомнит забытую им цитату, и, воспользовавшись паузой, сказал:

— Наоборот! Конкуренция укрепляет вид, освобождает его от слабых неприспособленных особей.

— Ну, это уж чистейшей воды мальтузианство, уважаемый Александр Петрович! — отозвался Волошин, усмехнувшись.

Щербинскому не понравилась усмешка Волошина. Он уже подыскивал фразу, чтобы ответить Волошину поодвигее, но его предупредил Башкиров:

— Да... Много тут, понимаешь, философского тумана

напущено с этой отменой внутривидовой борьбы... В последние годы мы, лесоводы, совсем с толку сбиты. Лично я, как таксатор, могу сказать только одно: садить, понимаешь, тридцать, сорок растений на один квадратный метр нельзя. Не будет хватать пищи...

— Знамо дело, не хватит! — вмешался вдруг шофер Тимофей Алексеевич, который стоял тут же и со вниманием прислушивался к спору. — Моя баба и то знает. Чего бы тогда она полола морковь на грядках!

Все рассмеялись. В глазах Денисова пробежали лукавые огоньки. Только Волошин чуть приметно пожал плечами. Сведение разговора о внутривидовой борьбе к бабе, полющей в огороде морковь, он считал профанацией вопроса.

Александр Петрович не унимался. Он заговорил о том, что академик Власенко, заменяя материалистическое объяснение отмирания в густом посеве идеалистическим самоизреживанием, делает в науке не шаг вперед, а шаг назад...

Развивая свою мысль, Щербинский уже вновь горячился. Чтобы охладить его немного, Денисов осторожно напомнил, что нужно показать Павлу Ивановичу третий опытный участок, где дубки росли в микропонижениях.

При упоминании об этих дубках Волошин оживился. Да, да эти его интересовали больше всего, он столько слышал о них в Москве.

Все снова сели в машину и через полчаса были уже на третьем опытном участке. Участок этот день ото дня все больше и больше радовал Щербинского. Несмотря на то, что дубки росли здесь первый год, они выглядели лучше трехлетних. На них было больше листьев, они достигали двадцати сантиметров высоты, и корневая шейка их в поперечнике была в два сантиметра.

— Эх, хорош дубок! Побольше бы такого на поле! — сказал Башкиров, присев на корточки, любовно поглаживая дубки.

Дубок и в самом деле был хорош. Это был лучший отрезок трассы на всей гослесополосе.

— Тебе хорошо, Александр Петрович, — сказал Башкиров. — Сколько у тебя всей площади под опытами? Гектаров тридцать, не больше? Сорок! Ну, вот видишь, а у меня пять тысяч. Мне за тобой не угнаться. Ты за лето пять раз тяпкою протяпаешь, а я, дай бог, два раза

культиватором пройду. У тебя вон ни травинки, ни соринки, а у меня трава — волкам прятаться!

Но, говоря так, Башкиров и сам в душе гордился этим опытным участком и, когда приезжало начальство из Москвы или из области, он, показывая лесокультуры, обязательно сворачивал свой «газик» на делянки Щербинского. Денисов тоже гордился этим участком.

— Вы посмотрите, — сказал он, — осторожно раздвигая побеги дубков, растущих в лунках. — Что ни гнездо — полная чаша. Видно, что всюду стояла вода, но в лунках ее было больше. Александр Петрович! Как там насчет влажности?

— Почва во время последнего дождя промокла на пятнадцать сантиметров, а в лунке до одного метра.

— Ого! — воскликнул Волошин. Он повернулся в пол-оборота к Щербинскому и даже не пытался скрыть своего недоверия. — Цифры у вас ошеломляющие...

Этот чиновник, кажется, не верит ему! Может быть, он вообще сомневается в точности его опытов?

Щербинский гордо вскинул голову. В нем вспыхнула прежняя неприязнь к Волошину. Он почти жалел о том, что привез его на этот участок. Стоило ли везти сюда человека, который догматически (он знает это!) предан гнездовому посеву дуба и ко всякому другому методу отнесется с предубеждением.

— Я не сам выдумал эти лунки! Я обратился к опыту местных жителей, которые испокон веков именно так делают гряды!

— Не горячись, Александр Петрович! Не горячись! — примирительно сказал Денисов. Ему не хотелось, чтобы Щербинский восстановил против себя Волошина, человека, от которого многое зависело, а вместе с тем восстановил бы его и против своего начинания.

— Как делались вами лунки? — спросил Волошин Щербинского.

— Брала лопатой на штык, в производственных условиях можно механизировать процесс.

— Каким образом?

— Пашется плантажным плугом глубокая борозда, окучником она пересекается поперек. Получаются тупые борозды. Делать это надо осенью, чтобы собрать влагу. Но все это кустарщина. Пора создать прерывистый бороздователь, который бы раздвигал землю в лунках.

— Ну, это длинная история... — разочарованно протянул Волошин.

— Почему же длинная, ведь создали мы шагающий экскаватор!

На обратном пути Волошин, сидя в кабине рядом с Тимофеем Алексеевичем, лениво думал:

«Да, конечно, эффект есть, может быть, и следовало бы внедрить способ в производственных масштабах... Но ведь возня же большая. Прерывистый бороздатель и прочее... От гнездового метода голова вкруг идет, а тут еще... Во всяком случае доложу начальству, а там видно будет...»

Но, думая так, Волошин уже знал, в каком плане он будет докладывать «начальству» и что решит это «начальство». Начальство спросит: «Ну, а что сам ты, Павел Иванович, думаешь об этом? Не реально пока? Ну так о чем же и речь вести!»

Мысли Волошина затем обратились к Наталье. Из-за нее-то он и остался в экспедиции. Опыты Александра Петровича были всего лишь предлогом. Вчера Наталья очаровала его. Он любил женщин этого возраста. Они привлекали его своим запоздалым, чуть горьковатым цветением, в котором было: «Спешу! Отцветаю!» и которое ему, опытному сердцееду, говорило больше, чем зеленая юность.

Вчера после стремительного ухода Натальи он так и не понял, что произошло. И только Варно, подсевший к нему, объяснил поведение Натальи. С подленьким злорадством рассказал он Волошину о Манефе и Щербинском.

«Так вот почему она так вела себя», — подумал Волошин. Нельзя сказать, чтобы эта мысль была приятна его мужскому самолюбию. Но следующая же мысль о том, что Наталья может пойти на все (на что женщину не толкнет отчаяние!), несколько утешила его. Не раздумывая долго, он решил остаться в экспедиции на день, на два.

* * *

Весь вечер Наталья ловила на себе тяжелый настойчивый взгляд Волошина, но взгляд этот уже не волновал ее, как вчера. Он был неприятен ей, как неприятен был и сам Волошин.

Чтобы избавиться от его назойливого внимания, она решила пойти к Ольге Павловне.

На половине дороги ее догнал Волошин. Наталья остановилась.

Волошин подошел и, несмотря на сопротивление Натальи, крепко взял под руку, продолжая путь. Некоторое время шли молча. Наталье неприятна была близость этого человека — они шли, тесно прижавшись друг к другу, но не хватало смелости сказать ему: «Уходите!»

Она чувствовала, что сама виновата во всем. Если бы вчера не дала ему повода думать о ней дурно, он не преследовал бы ее. Наталья не слушала, что говорил Волошин. Одна мысль не покидала ее — как повежливее избавиться от него.

— Наталья Михайловна! — заговорил Волошин глухо. — Я весь день искал случая поговорить с вами. Не буду уверять вас в том, что люблю вас. Было бы странно говорить об этом на другой день после первой встречи. Но скажу прямо. Меня непреодолимо влечет к вам... Я ничего не могу поделать с собой. Остался я, чтобы видеть вас и сказать вам об этом...

— Зачем? — спокойно спросила Наталья.

— Зачем? — смешался Волошин. Он не ожидал этого спокойного тона, этой прямоты вопроса. Он ждал, что его смелое объяснение приведет Наталью в смятение.

Но она смотрела на него, ни мало не смутясь, пристально разглядывала, точно изучала.

— Зачем? — переспросил он, несколько оправившись от замешательства, и крепко прижал руку Натальи к себе. Сбившись с шага, они вынуждены были остановиться.

— Затем, что я привык следовать своему влечению...

Он хотел было привлечь ее к себе, но она решительно отстранилась.

— Зато я не привыкла отвечать на такого рода влечения.

— «Я другому отдана и буду век ему верна!» — язвительно сказал Волошин.

— Перестаньте фиглярствовать, Павел Иванович! Вы умнее этого. А за вчерашнее простите меня, если я дала вам повод думать обо мне ложно.

Она повернулась и пошла от него.

— Но согласитесь, Наталья Михайловна! — сказал

и, догоняя ее, — та роль, которую вы отвели мне вчера, можна же задеть мое мужское самолюбие.

— А потому вы решили сегодня получить удовлетворение? — улыбнулась Наталья. Теперь, обезоруженный, он уже не был для нее опасен.

Волошин остановился, вскинул глаза на Наталью и вдруг засмеялся.

— Ах, женщины, женщины! — сказал он, притворно вздохнув.

Они подошли к домику Ольги Павловны. Наталья вышла на минутку взять оставленную утром гербарную папку. Волошин на крылечке ждал ее.

Всю обратную дорогу он рассказывал ей о своей недавней поездке в Кулундинскую степь. Рассказчик он был интересный, и Наталья с удовольствием слушала его. Больше ни слова между ними не было сказано о том, что произошло полчаса назад. Только когда они прощались уже, Волошин снова поцеловал ее руку и сказал вдруг:

— А все-таки жаль, Наталья Михайловна, что вы такая верная жена. Право, это довольно скучно!

Наталья улыбнулась на то, с каким искренним огорчением это было сказано. Она спросила, когда он думает уйти.

— Завтра! — мрачно ответил Волошин.

— А как же опыты?..

— С меня довольно своих неудачных опытов! — сказал Волошин и, взмахнув рукой, пошел от лаборатории.

ГЛАВА VI

Щербинский запаздывал на ужин. Ольга Павловна уже накормила всех, а его все не было. Она подпихивала под плиту щепье, чтобы ужин был горячий, сама думала:

«Что-то долго не идет Александр Петрович, али дела какие срочные».

Наконец, он пришел.

— Ну, как, Ольга Павловна! Накормим голодающего, «кто опоздал, тот воду хлебал!»

— Зачем воду, котлетки вон с кашей подогревают —

— степенно ответила Ольга Павловна. Она была

обижена на Щербинского за то, что он, начальник, ставил себя ждать.

«Не приштая я тут к стряпке-то день деньски ждать!»

Она поставила перед Щербинским шипящую сковородку. А сама села на табурет в тени от лампы и, перевернув щеку ладонью, смотрела, как он ест.

Ел Александр Петрович жадно, торопливо. Видно было, что он сильно проголодался. Раз два он безвольно взглянул на часы.

«Торопишься... Чать, успеешь на возлюбленное свиданье». Неприязненно подумала Ольга Павловна, чувствуя, как екнуло у ней сердце, а ноги стали врозь не ее, а чужие, не удержалась и сказала:

— Ох, Александр Петрович, Александр Петрович! Были бы вы моим сыном, потрепала бы я вас за уши. Не посмотрела бы я на то, что вы там профессор и доктор...

— Это еще за что! — переставая есть, сказал Александр Петрович и метнул в Ольгу Павловну горячим добрым взглядом.

— Да уж сами знаете за что! — махнув рукой, сказала она, испугавшись этого взгляда, не предвещавшего ничего хорошего.

Александр Петрович рывком отодвинул от себя сковородку и, не поблагодарив Ольгу Павловну за ужин, чего с ним никогда не случалось, вышел из кухни.

«Дура старая! Прикусить бы тебе язык! Теперь мне, ни Кузьмичу житья не будет. Сживет со свету!» ругала себя Ольга Павловна.

Но Щербинский и не думал «сживать со свету». Несколько дней он приходил к столу хмурый, косился на Ольгу Павловну, но потом снова стал являться со своей обычной шуткой:

— Ну-с, Ольга Павловна! Чем вы сегодня покормили нас грешных!

«Уж грешен-то ты, батюшка, грешен, это точно», думала Ольга Павловна и, посуетившись, ставила перед Александром Петровичем тарелку с борщом.

Несколько дней она крепилась, а потом снова начала атаку.

— Чтой-то Наталья Михайловна, милушка, уж и день не ест. Аж почернела вся, — говорила она, бро-

аметно взгляд на Щербинского, — я молочка ей и мамочку принесла было, не хочу, говорит, спасибо.

Щербинский отмалчивался, точно не о его жене шла речь.

«Ишь, насупился, молчит. Ну, погоди уж, чем ни нашь, а я тебя пройму. Капля она и камень точит».

И в другой раз говорила:

— А Наталья Михайловна, видать, шибко скучилась с детишками-то. Тоскует. Охо-хо! — она театрально дыхла и подпирала щеку рукой. — Материному сердцу не прикажешь, своя кровушка. Да и детишки-то, чать, скучились... И то сказать, кто им ближе матери-то родной.

Проходило еще несколько дней, и Ольга Павловна вновь заводила:

— Чтой-то Наталья Михайловна не в себе ходит! И вдруг говорила: — Не обижали бы вы ее, Александр Петрович. Как никак, жена она вам, и детишки у вас совместные...

Александр Петрович отодвинул от себя тарелку и зло, сухим блеском в глазах, сказал:

— Хорошая вы женщина. Ольга Павловна, и стряпуха хорошая, а вот любите сунуть нос в чужие дела.

— Как это чужие! — обиженно вскрикнула Ольга Павловна. — Да все мы тут как одна семья, все за одним столом пьем, едим, всех вас кормлю...

— Вот и кормите, а в мои дела не вмешивайтесь. Я же сам как-нибудь разберусь в них, без вашей помощи. Он ушел из кухни, а Ольга Павловна долго не могла успокоиться.

Не только Ольга Павловна и Денисов жалели Наталью и осуждали Щербинского. Осуждали его и жалели Наталью все в экспедиции: Любовь Андреевна, Володя, Галя...

Неизвестно почему, но Володю в экспедиции называли еще Володькой. И не потому, что не уважали его, а просто это имя как-то больше пришлось по нему. Бывает так: Владимир звучало слишком сухо, официально. Володя отчужденно, а Володька в самый раз.

Для Володьки вся эта история — Щербинский — Мафа — Наталья — имела свой особый смысл. Володька не только негодовал, возмущенный недостойным поведе-

нием Щербинского, но он был глубоко оскорблен в своих лучших чувствах к Александру Петровичу.

Володька был в том счастливом возрасте, когда человек мучительно жаждет стать лучше, чище. В этом стремлении быть лучше Володька жадно искал вокруг себя примеры того, чему он мог бы следовать. И жизнь щедро давала ему эти примеры. Особенно много их давала литература: Овод, Павка Корчагин, Мересьев, Сергей Тюленин, Юлиус Фучик...

Но все это были герои большого плана, а Володьке хотелось найти такого героя, которому он мог бы подражать, даже в улыбке, в жесте, манере говорить, двигаться, работать.

Таковыми «героями» в экспедиции, по мнению Володьки были двое: Денисов и Щербинский. Обоих Володька уважал и долго колебался, которому из них отдать предпочтение.

Денисов нравился ему своей неторопливостью, спокойствием, умением всякий сложный вопрос решать просто и ясно и до конца. Нравилось ему то, что к Денисову люди относились с уважением. В экспедиции то и дело можно было слышать.

«Иван Иванович сказал!» «Надо будет спросить у Ивана Ивановича!» «Иван Иванович сделает, он общал!»

Даже Иван Кузьмич, который получил помимо выговора приказом Щербинского нагоняй и от Денисова то, что явился на работу в нетрезвом виде, и тот говорил:

«Хороший человек Иван Иванович, хоть и молодой (Для Ивана Кузьмича молодым были все, кому было меньше пятидесяти). К рабочему человеку с душой относится. Оно, конечно, государственному человеку трудно на всех угодить, есть и среди нашего брата шестерки всякий народ, но только справедливый он, Иван Иванович, говорить нечего. Ну и взыщет в случае чего, ежели проштрафился».

Щербинский привлекал Володьку противоположными качествами: горячностью, резкостью, порой необдуманностью поступков. Вспылит, на шумит, накричит и остынет. Но была эта горячность не от вздорности, как понимал Володька, а от темперамента, от неумения его обуздать. И, кто знает, была ли уж таким большим недостатком

ком эта самая горячность Щербинского. Володьке казалось, что она, как хорошие дрожжи, будоражила всех.

И по внешнему виду Щербинский импонировал Володьке. Он, пожалуй, больше Денисова подходил к тому типу начальника экспедиции, которого создало воображение Володьки. Щербинский носил высокие сапоги, защитного цвета гимнастерку или ковбойку, соломенную шляпу с широкими полями. Через плечо у него висела полевая сумка из добротной коричневой кожи с целлофаном.

Но в последнее время Щербинский все менее и менее нравился Володьке. Он не понимал и не мог простить Александру Петровичу его истории с Манефой Юрьевой. И сама Манефа Юрьевна была ему противна.

— Как же так, — думал он, — Александр Петрович умный, уважаемый всеми человек, профессор, а ведет себя как мальчишка. Олег говорит: «Я человек, и все человеческое мне не чуждо». Неправда! Вот это-то как раз и должно быть чуждо, если ты Человек!

Чтобы хоть немного оправдать Щербинского, Володька во всем винил Манефу Юрьевну. Игривый тон ее, который она помимо своей воли усвоила и со студентами, злил его, и нередко с Манефой Юрьевой был он дерзок до грубости. Иногда Манефа, которая понимала, в чем дело, чтобы сгладить эту его грубость, старалась все превратить в шутку.

— Володя! Мальчик! Поди сюда! Я нарву тебе уши! — говорила она, на что Володька только отмахивался.

Он ревниво следил за отношениями Александра Петровича и Натальи. Если ему казалось, что Александр Петрович был невнимателен к ней, или Наталья выходила утром заплаканная из палатки, он страдал за нее и старался быть с ней особенно предупредительным, внимательным.

* * *

Володька родился и вырос в Сталинграде. В войну они жили с матерью за Волгой, а когда немцев разгромили под Сталинградом, вернулись домой.

Собственно, дома не было, было только место, где он когда-то стоял, заваленное грудой щебня, битого кирпича и ржавого железа, из-под которого торчала спинка варшавской кровати, составлявшей когда-то предмет гор-

дости матери. Краска на кровати обгорела, вместо блестящих шариков уныло торчали ржавые шпеньки.

Мать села на землю, точно у ней подогнулись ноги, и заплакала. Потом они вдвоем целое лето возились с матерью на усадьбе: расчистили площадку для дома, перетаскав щебень в ближайшую воронку от бомбы, наделали самана и к осени слепили хату. Покрыть ее крышей, навесить окна и двери помог дядя, брат матери.

До холодов они успели даже огородить усадьбу, используя для этого листы ржавого железа. Мать побелила хату снаружи и внутри, и в ней, несмотря на земляной пол, стало уютно. Особенно хорошо бывало, когда мать затапливала печь.

Она ставила на плиту чугунок с картошкой, садилась перед огнем на табуретку и, пригорюнясь, говорила: «Что-то наш папка сейчас делает!» Писем от отца давно не было, он писал редко.

За несколько дней до конца войны отца ранило, и он вернулся домой без руки. Сразу же по приезде устроился кладовщиком на заводе, где и раньше работал. В доме стало веселей. Но мать стала часто прихварывать. Она попрежнему суежилась по дому, шила стеганки, числясь надомницей на швейной фабрике, но все чаще и чаще болезнь укладывала ее в постель. Она никак не хотела сдаваться и, когда отец, придя с работы, тревожно спрашивал: «Ты что, Варя? — говорила: «Что-то ко сну клонит, ленивая я стала к работе, Гриша». Вскоре умерла она от рака печени.

Через два года отец женился. Мачеха была разбитная, молодая. Ей вечно было некогда. С утра отправлялась она по магазинам разузнать, где что «дают». Если в магазине «выбрасывали» мало-мальски дефицитный товар: клеенку, гардины, эмалированную посуду, она и подобные ей женщины выстраивались в очередь. Потом этот товар из-под полы продавался на рынке.

Хвастаясь, мачеха рассказывала, как ловко она обделала дельце, сколько чистой прибыли получила. Отец, выведенный из себя, кричал:

— Ты мне, Зинаида, эти штучки брось! А то я тебя направлю куда следует!

— Не ты бы говорил, не я бы слушала! — дерзила мачеха в ответ. Была она моложе отца на десять лет и не очень-то считалась с ним.

— На одной твоей зарплате далеко не укачешь! Чем сидеть чурбаном в своем подвале, шел бы на перекресток, да просил Христа ради! Небось больше заработал бы! Вон, у Настьки инвалид...

Слова мачехи приводили отца в ярость.

— Что б я пошел просить, да ни в жизнь не пойду! С голоду подохну, а не пойду. Настькин инвалид мне не указ...

Володьку мачеха вначале не притесняла, но и не баловала. Когда вечерами он возвращался домой, сам доставал с заготовки остывший борщ и жадно ел его с черным хлебом. За день успевал он сильно проголодаться. Как-то раз в хату зашла соседка, когда Володька сидел за столом и ужинал. Она посмотрела на его тонкую мальчишескую шею, надвигающиеся в еде скулы и жалостливо сказала:

— Эх, парень, недаром в пословице говорится: «Кабы матка родная была, щец бы горячих налила!»

Володька молча опустил голову, и есть продолжал уже без аппетита. Много раз приходила ему на память потом эта горькая фраза, кинутая соседкой.

Со временем отношение мачехи становилось все хуже и хуже. Заметив, что Володька страстно любит чтение, что нет для него большей радости, как достать хорошую книгу, она старалась отравить ему и эту радость.

— Владимир! Наколи дров! — кричала она, если видела в его руках не учебник, а «роман», чтение которого считала пустым препровождением времени.

Володька откладывал книгу и шел колоть дрова. Затем она давала другое дело, третье и так до вечера.

Только когда наступал вечер, и все дела были переделаны, Володька, наконец, вздыхал с облегчением. Уж сейчас-то он почитает! Скорее бы кончали ужинать и убирали со стола. Но и тут мачеха находила предлог лишить его удовольствия.

— Нечего свет жечь! Прошлый месяц и так без малого на полусотку нагорело! — говорила она и злобно щелкала выключателем.

Володька некоторое время сидел в темноте, не зная что делать.

Иногда его выручал отец. Он говорил из темноты.

— Что-то не спится. Хоть сшей глаза!

Слышно было, как он вставал с кровати и, шлепая

босыми ногами, шел в кухню. Выключатель снова щелкал уже радостно. Отец стоял в одних подштанниках посреди кухни и шурился от яркого, после темноты, света.

Он ложился на Володькину кровать, приткнутую между стеной и лежанкой, и, закинув единственную руку за голову, слушал чтение сына, молча, не перебивая. Только иногда в конце книги резюмировал:

— Да, живут люди, большие дела делают..

И было непонятно Володьке, завидовал ли он этим людям, или просто воздавал им должное.

По воскресеньям Володьке не возбранялось читать сколько вздумается. Но и тут мачеха не упускала случая съязвить. Окидывая его недобрый взглядом, она говорила:

— Что ему! Наелся, напился готового, сидит себе «рôман» почитывает.

— Нехай за отцом поживет, — примирительно говорил отец, лаская взглядом высокую статную фигуру сына.

«Ничего парнишка, вылаживается. Эх, жалко Варинет. Поглядела бы. И до чего он на нее похож», — думал он.

После окончания средней школы, Володька решил поступить на биолого-почвенный факультет университета.

В одно из воскресений, в «день открытых дверей» он поехал туда.

Утро было прозрачное розовое, окна в трамвае были открыты, и легкий сквознячок прогуливался по вагону. Молоденькая кондукторша с коричневым от веснушек носом звонко выкликала названия остановок. Вероятно, в это весеннее утро ей самой было приятно слышать свой веселый голос.

В вагоне было пусто, может быть, потому и встряхивало его и бросало из стороны в сторону на поворотах.

У окна справа сидела девушка с раскрытой на коленях книгой.

Облокотившись на край рамы, она, задумавшись, отрываясь, смотрела на синее далекое небо и, казалось, забыла о книге. Володька из какого-то озорства вдруг нагнулся к девушке и из-за ее плеча прочитал первую попавшуюся на глаза фразу.

Девушка обернулась, гневно посмотрела на Володьку и захлопнула книгу. Ноздри ее хорошенького носика дрог-

нули и побелели. Она надменно вскинула голову, тряхнув при этом кудряшками, поднялась и, постукивая высокими каблучками черных лакированных туфель, пошла к выходу. Вся ее фигура выражала возмущение.

Усмехнувшись, Володька с независимым видом плюхнулся на ее место и высунулся в окно.

Он не заметил, что девушка сошла на той же остановке, но, когда войдя в вестибюль университета, он стремительно через две ступеньки поднялся на второй этаж, увидел ее на площадке. Она не могла не видеть, как он красный, взъерошенный взбегал по лестнице, но сделала вид, что вообще не замечает его. «Только младенцев тут не хватало!» — подумал Володька о девушке.

Он долго бродил из кабинета в кабинет, разглядывая экспонаты и слушая объяснения профессоров и преподавателей. Больше всего ему понравился кабинет почвоведения.

Володька ходил вдоль стендов и разглядывал почвы, читая этикетки под ними: «Подзолистая почва», «Дегрированный чернозем», «Корковый солонец», «Глубоко-столбчатый солонец после гипсования».

Эти наименования пока еще ничего не говорили ему, и тем большим уважением он проникался к людям, для которых они не составляли ничего загадочного.

У этих стендов они впервые встретились с Олегом. Олег тоже, как и Володька, твердо решил стать почвоведом.

— Замечательная специальность, — говорил он, глядя на Володьку блестящими глазами.

Дружба с Олегом, начавшаяся с этого дня, продолжалась до сих пор. Эта была настоящая крепкая мальчишеская дружба, в которой не было места сентиментальности и было полное взаимное понимание и сдерживаемая нежность.

На одном факультете курсом ниже училась и Галя, та самая девушка, которую Володя встретил в трамвае.

Фамилия Гали была Белыхова. Володька, не любивший таких хрупких и нежных девушек, сразу подыскал ей прозвище «Белашка». Когда Галя впервые слышала это «Белашка», она покраснела от испуга и смущения. Ей показалось, что Володька назвал: «Милашка!» Она ничего не нашлась сказать ему и только, когда он так

назвал ее и второй раз, спросила дрожащим от возмущения голосом:

— Володя! Какая я тебе Милашка? — и отвернулась, чтобы скрыть слезы обиды.

Володька расхохотался, «Вот тоже... сказала: «милашка», и после этого случая стал с особенным удовольствием называть ее «Белашка».

Когда стало известно, что организуется комплексная экспедиция на Ергени, Володька и Олег заволновались: включит ли их Щербинский в число участников экспедиции. А что, если нет? Не лучше ли заранее подать заявления самим.

Володька в тот же вечер написал заявление.

«А вдруг они набрали уже полный штат! — думал он, переписывая начисто много раз уже переписанное заявление. От этой мысли у него обрывалось сердце.

«Черт возьми! Не могли мы раньше с Олежкой сделать это».

Володька встал из-за стола, запустил свои пятерни в спутанные волосы и в величайшем нетерпении забегал по кухне из угла в угол. Он не мог сидеть на месте, хотелось сейчас же побежать куда-то, что-то сделать.

— Ну! Заметался, как неприкаянный! — недружелюбно сказала мачеха. Из горницы, дверь в которую была открыта, ей виден был с кровати мечущийся Володька. — А дров, небось, так и не принес к утру!

Слышно было, как отец повернулся на кровати и крикнул. Он никогда не вмешивался, когда мачеха ругала Володьку, но Володька был почему-то убежден, что и отцу в эти минуты ненавистным становится ее визгливый голос.

Чтобы не раздражать мачехи, Володька принес дров из сарая, вынес помойное ведро, веником подмел пол в кухне. Это дало некоторую разрядку его желанию двигаться. Что бы еще такое сделать? Володька оглядел кухню. Разве посуду вымыть? Но, представив, как неприятно мыть в холодной воде жирные тарелки, Володька махнул рукой. Да ну ее, эту посуду! Пусть Зинаида сама моет.

Володька набросил на плечи пальто и выскочил на крыльцо. На темном небе висели низко крупные дрожащие звезды. Над горизонтом в сторону центра города небо было светлее, звезд на нем не было видно, зато

переливались, горели ярко уличные фонари, сливаясь, они давали море света, а дальше, к окраинам города, уходили в темноту желтыми цепочками.

Володька поправил сползшее с плеча пальто и пошел вдоль улицы по направлению к центру, где жил Олег.

Утром они оба принесли свои заявления Щербинскому. Опасения их были напрасны. Весь четвертый курс, за исключением генетиков и физиологов животных, направлялся в экспедицию для прохождения преддипломной практики. Половиной студентов по этой практике должна была руководить Любовь Андреевна, геоботаник.

Студенты, которым она читала курс геоботаники, были от нее в восторге. Помимо того, что знала материал и умела его хорошо преподнести, она импонировала их представлению о настоящем ученом-исследователе, который пешком прошел многие сотни и тысячи километров по необъятной нашей стране.

В экспедиции ходила она в неизменных брюках, вправленных в щегольские сапожки (сапоги были ее слабостью), в ковбойке, на светлых растрепанных волосах еле держалась повязанная небрежно косынка.

В молодости она была, очевидно, красивой, но за годы скитаний в экспедициях погрубела, подурнела. Хороши у ней были попрежнему только глаза. Голубые по-детски чистые, ясные, они с жадным любопытством смотрели на мир; с лица, продубленного солнцем и ветром, никогда не сходил загар.

Говорила она громко, отрывисто, немного хриплым голосом от застарелой простуды, а также от непрерывного курения. Любила вставлять в свою речь крепкие словечки. Иногда прибегала к латыни «Стервоза максима» — было любимое ее выражение.

В представлении студентов она была живым воплощением той экспедиционной романтики, которая всегда пленяет в молодости. Кроме того, они уважали ее и как преподавателя. Студенты, дипломной практикой которых она рук водила, как правило, защищали свои дипломные работы только на «отлично». Она была к ним очень требовательна и в то же время по-матерински опекала их.

В городе Любовь Андреевна часто бывала у Щербинских. Квартиры их выходили на одну площадку. Жила Любовь Андреевна вдвоем с матерью, ни мужа, ни детей

у нее не было. Может быть, поэтому обожала она детей Щербинских. Когда они были еще маленькими, для нее не было большего удовольствия, как прийти к Щербинским вечером, в те часы, когда Наталья купала детей.

Поддерживая в ванне полное, розовое тельце Юрки, она говорила Наталье:

— Намыль-ка ему хорошенько голову! Да напусти мыла побольше в глаза! Что не нравится?

И выхватив орущего Юрку из ванны, окачивала его водой и закутывала в простыню. Сидела с ним, покачивая на коленях, и говорила:

— Счастливая ты, Наташка, детей столько родила! А что я? Ни богу свеча, ни черту кочерга! Да не говори ты мне про эту ученую степень, ни к чему она бабе! Ее дело рожать и рожать, ну и воспитывать, конечно. Это дуры, психопатки, вроде меня, выдумали эмансипацию женщин, выдумали потому, что им рожать лень было. Да я бы сейчас, не оглядываясь, отдала все степени за это чудо — ребенка! Ну посмотри, какая прелесть!

Любовь Андреевна чмокала задремавшего Юрку в лобик.

— А, по-моему, в старину люди мудро судили. Муж работал, обеспечивал семью, а жена родила, воспитывала детей, покой, уют в семье создавала. А теперь что получается? Рубашку чистую подай, обед во-время приготовь, за ребенком смотри и на работу успеешь.

Да если еще жена принесет мало в получку, так муж косится:

«Что-то маловато ты, женушка, заработала. Этак ты сама себя не прокормишь!»

И правильно ты, Наташка, делаешь, что не работаешь! Нечего им, эгоистам, потачку давать!

Когда Щербинский в экспедиции увлекся Манефой, Любовь Андреевна отнеслась к этому, как к чему-то обычному. Ее ничуть не удивило поведение Щербинского.

«А! Все они одним миром мазаны!» — говорила она с оттенком презрения, имея в виду непостоянство мужчин. Больше ее задевало поведение самой Натальи. Она злилась, когда видела Наталью удрученной и заплаканной:

— Страдаешь? — иронически-сочувственно спрашивала она. — Плюнь, Наташка! Не стоят они того, чтобы страдать из-за них. Чести много. Я бы на твоём месте послала его к черту, ушла. Что ты одна не проживешь

что ли! Дети держат? Да они уже большие у тебя. Платить будет. Не в этом дело? А в чем же? Ах, отец должен быть у них! — пренебрежительно протянула Любовь Андреевна.

— Знаю я этих отцов. Сама была дурой, как ты. Семнадцатилетней девчонкой влюбилась в одного прохвоста. Стихи читал, Маяковского. О любви говорил красиво... А как дошло дело до серьезного, сказала, что ребенок будет, испугался. Ребенок видишь ли мог помешать его карьере ученого. Пожалела дура, пошла аборт сделала... И-и-и-х! Никогда не прощу себе этого! — скрипнула она зубами.

И ты думаешь, научило это меня чему-нибудь? Как же! Лет пятнадцать мучил меня. Семья не семья. Позовет, приползу как собачонка... Однажды на Колыме была в экспедиции, получаю телеграмму: «Жду, соскучился!» Помчалась, все бросила и мужа бросила. И замуж-то выходила, чтобы избавиться от этого навождения. Не помогло. Муж хороший, уважаю его, а не люблю, любила того. И он женился. Жена крупный ученый, хороший человек, а жизнь не ладилась с ней. Приехала я тогда к нему, он и говорит мне: «Эх, Любашка, Любашка! А ведь, пожалуй, я всю жизнь любил только тебя одну. Может быть, хоть и поздно, а исправим нашу ошибку?»

А я сижу в темноте, слезами обливаюсь, благо не видно было. «Поздно ты, милый, хватился, говорю. Где же ты был раньше. Сказал бы ты это лет десять тому назад, может быть, я и подумала бы, а сейчас не хочу. Перегорела вся любовь моя...» В ту же ночь уехала к себе на Колыму. А к мужу не вернулась, не могла. Стыдно было и жалко. Ведь и ему жизнь портила.

А ну их всех к черту! — вдруг зло сказала Любовь Андреевна, рассердившись на себя за эти воспоминания. Она вразвалочку пошла к лаборатории. Наталья смотрела ей вслед и думала: «Как мало счастливых людей на свете. У каждого свое горе».

* * *

Александр Петрович знал, что вызывает осуждение своим поведением. Это тяготило его, и он по возможности скрывал от всех свои встречи с Манефой. Особенно он не хотел, чтобы о них знала Наталья.

Перестань он прятаться от Натальи, неминуемо встал бы вопрос: «А что дальше?» Вот этого-то вопроса и боялся Александр Петрович, потому что к ответу на него не был подготовлен.

Он уверял себя, что не любит Наталью, но, не считая себя вправе причинять ей лишнюю боль, старательно скрывал свои чувства к Манефе, все чаще и чаще задумываясь над вопросом — а что же будет дальше?

Наталья, которая страдала от неопределенности их отношений, была тем не менее рада этой неопределенности. Она не знала, что принесет ей тот день, когда все будет ясно. Может быть, этот день убьет в ней надежду на то, что все «образуется», которая жила в ней и без которой она, вероятно, не смогла бы жить.

По этому молчаливому уговору между нею и Александром Петровичем все шло так, как должно было идти. Александр Петрович скрывал свои встречи с Манефой Юрьевной, Наталья делала вид, что не догадывается о них. Большое мужество и выдержку надо было иметь для этого. И только мысль о детях, страх перед тем, что жизнь их будет также исковеркана, придавали ей силы. Она должна сохранить семью. Пусть сейчас положение ее унижительно, пусть ей больно. Но она должна сберечь отца для своих детей.

Но не только о детях думала Наталья в такие минуты, она думала и о муже. Будет ли он счастлив с Манефой? Наталья сомневалась в этом. Слишком велика была в нем сила привычки и вряд ли другая женщина, вытеснив из его жизни Наталью, смогла бы заменить ее. Да и Манефа казалась ей не из тех женщин, которые, забывая о себе, отдают свою жизнь на служение близкому человеку. Скорее наоборот.

Рано или поздно наступит отрезвление, и тогда угрызения совести в том, что он разрушил семью, оскорбил Наталью и детей, будут мучить его. Он по-настоящему будет несчастлив, а Наталья, как ни странно, не могла равнодушно относиться к судьбе столько лет бывшего близким ей человека.

Но как не убеждала себя Наталья в том, что должна вести себя именно так, а не иначе, если хочет сохранить Александра Петровича для семьи, все-таки порой не выдерживала этой пытки и обрушивалась на него с упреками. После ухода Александра Петровича, который всег-

да в таких случаях торопился уйти от нее, сбежать, она боялась, что он ушел совсем и не вернется. Раздавленная отчаянием, она думала, что это уже конец всему.

Но Александр Петрович приходил. Каждый раз его встречали измученные страданием и в то же время такие счастливые глаза Натальи, что Александр Петрович виновато отводил взгляд и мягко говорил:

— Наташа! Я нашел сегодня новое растение. Помогу, у тебя в гербарии нет такого.

Наталья брала определитель растений Талиева, и они оба склонялись над ним, стараясь забыть о ссоре.

* * *

Работа почвоведов и геоботаников всегда тесно связана между собой. Там, где почвовед при описании почвы останавливается в раздумьи, затрудняясь, к какой группировке следует отнести ее, ему на помощь приходит геоботаник, ибо растения, с которыми он имеет дело, всегда приурочены к определенному типу почвы, а, следовательно, уже сами по себе являются ее показателями, ее индикаторами.

С другой стороны, и геоботанику в своей работе приходится прибегать к помощи почвоведов, используя данные его исследований. При составлении геоботанических карт ему совершенно необходимо бывает указывать характер почвы, на которой встречается та или иная растительная ассоциация.

Так что в работе Натальи и Александра Петровича было много общего, что связывало бы их, не будь между ними разлада. Но иногда увлеченные работой они забывали об этой отчужденности, и тогда Наталье, более чем когда-либо, казалось, что еще не все потеряно. Она любила эти редкие минуты и дорожила ими.

Приходилось ей сталкиваться по работе и с Манефой Юрьевной, поскольку та тоже была почвоведом. Но сидеть с ней рука об руку, согласовывая результаты обобщенных наблюдений, как она сидела с Александром Петровичем, для нее было не под силу. На людях она кое-как еще крепилась, старалась быть даже приветливой с Манефой, чтобы не дать никому права сказать, что между ними есть что-то, что заставляет их ненавидеть друг друга.

И хотя не было сказано ни слова о том, как им следует держаться на людях, Манефа без слов поняла Наталью, и между обеими женщинами вступил в силу тот безмолвный уговор, когда люди, встречаясь, желают друг другу доброго утра, осведомляются, как успешно идет работа, перекидываются незначительными словами, в то время как в душе их нет и капли тех доброжелательных чувств, которые они стараются выказать при посторонних.

Манефу забавляла эта игра. Наталью доводила до изнеможения. Иногда, войдя в роль, Манефа кричала со смехом:

— Наталья Михайловна! Ну, что он делает ваш Щербинский. Он готов заставить по двенадцати часов работать на солнцепеке! Скажите ему, чтобы он хоть немножко пожалел нас!

Наталья бледнела, но улыбалась. Она понимала, что, живя в коллективе, не имеет права вносить разлад в ту атмосферу дружбы и товарищества, которые установились с первых дней жизни экспедиции. Сознание своей ответственности перед коллективом давало ей силу для этого притворства, оправдывало его.

Но как только они оставались одни, с глазу на глаз, от этого притворства ничего не оставалось. И эти минуты бывали особенно мучительны для Натальи.

Как-то раз они сидели в лаборатории втроем: Наталья, Манефа и Володька. Наталья разбирала гербарий, напротив нее за тем же столом Манефа проверяла записи в полевом дневнике Володьки.

— А вот тут, Володя, ты что-то наврал. Не может быть, чтобы горизонт вскипания был на глубине десяти сантиметров.

— Я сам удивился этому. Но это так, Манефа Юрьевна. Я еще раз проверил...

— Иди-ка принеси мой журнал.

Володька сорвался с места.

— Там листочки из него не вырони! — крикнула ему вслед Манефа.

На несколько минут они остались вдвоем. В тишине, ставшей вдруг напряженной, слышался только шорох переворачиваемых Натальей листов гербария. Вдруг шорох прекратился.

Манефа подняла голову. На нее в упор смотрели глаза Натальи.

«Любишь его?» — с мукой спрашивали они.

«Люблю!» — с вызовом ответил взгляд Манефы.

«Может быть, ты все-таки не отнимешь его, не разрушишь моего счастья?» — молила Наталья.

«Держи, если сможешь удержать!» — с насмешливым сожалением ответила Манефа.

Наталья первая не выдержала поединка и отвела глаза.

Они обе любили его, и счастье одной составляло несчастье другой. Но на стороне Манефы была его любовь, и это делало ее сильнее.

Почти физическую слабость испытывала Наталья. Она еще продолжала переворачивать листы гербария, но ни листов, ни самих растений, заложенных между ними, уже не видела. Точно издалека услышала она голос вернувшегося Володьки.

Хоть и тяжелы были подобные столкновения, но они были неизбежны. Ведь они работали в одной экспедиции, и от их согласованности нередко зависело и само дело.

Описывая растительность восточного склона балки, Наталья за характеристикой почвы обратилась к мужу.

— Позволь... пятый и шестой квадраты... как бы припоминая, сказал Александр Петрович и потер переносицу, пряча за этим свое смущение. И вдруг, точно озлившись на себя за что-то, сказал сухо, не глядя на Наталью.

— Эти квадраты описывала Манефа Юрьевна. Согласуй с ней!

— Хорошо. Я согласую с Манефой Юрьевной, — держанно ответила Наталья, между тем как от волнения у ней задрожали руки.

На другой день они с Манефой уселись рядом за большим столом в лаборатории и принялись «увязывать» почвы с растительностью. И никто, глядя на них, не подумал бы, что между этими двумя женщинами, по-деловому обсуждающими вопросы своей работы, лежит глубокая пропасть, которую почти невозможно перешагнуть.

«Да, ты отняла у меня мужа, разбила мое счастье. Этого я, умирать буду, а не прощу тебе».

«Подумаешь! — мысленно восклицала другая. — Если мы любим одного, так солнце остановись, земля не вертись! А работа? Ее надо выполнять или не надо? Или,

может быть, кто-нибудь другой сделает за нас эту «увязку»?

— Итак, Наталья Михайловна, какой процент белой полыни вы даете на пятом квадрате..?

* * *

Ольга Павловна готовила вкусно. Все с аппетитом ели ее вегетарианский борщ, заправленный сметаной, ели кашу из полтавки — дробленой пшеницы — с перепеченным свиным салом, ели кисели из сушеной вишни и терна. Все было хорошо. Но как-то раз, зайдя в «стряпку», как именovala Ольга Павловна свои владения, Денисов был неприятно поражен огромным количеством мух. Облепив стены и потолок, они с глухим жужжанием бились в маленькое подслеповатое оконце.

— Вот так антисанитария! — ахнул Денисов. — Неудивительно, если не сегодня-завтра кто-нибудь заболит!

Ольга Павловна обиделась:

— Да что уж вы, Иван Иванович! Лето! А летом всегда мухи. А насчет заразы так это вы зря. Я вам простецки скажу, по-бабьи: «С пакости не треснешь, с чистого не воскреснешь!»

— Как, как? — переспросил Денисов. Он любил пословицы и поговорки и жадно ловил их. Но Ольга Павловна слово «пáкости» произнесла как «пóкости». Вот почему до Денисова не сразу дошел смысл половицы.

Ольга Павловна вообще многие слова коверкала. Например, когда она говорила: «Вот поса́дим лес!», у нее получалось: «Вот посóдим лес!» И Денисову каждый раз хотелось растолковать ей как школьнице, что слово «посадим» происходит от слова «сад», а не от слова «сода». Но он не считал себя вправе делать ей, немолодой женщине, такого рода замечания. Да пусть себе говорит, как всю жизнь говорила! Кому от того вред, что она скажет «посодим», а не «посадим».

— Кто там треснет или воскреснет, это нас не касается, Ольга Павловна! А вот мух чтобы через два дня не было!

— Иван Иванович! Да куда же я их дену! — уже встревоженно сказала Ольга Павловна, поняв, что Денисов не шутит. — Кабы мы в лесу жили, пошла бы да нарвала мухоморов, а то тут завалищей опенки не найдешь!

Денисов про себя улынулся. Да, мухомора здесь не найти пока, но придет время и они будут. Он представил себе, как в дубовой роще где-нибудь под деревом краснеет малиновая шляпка в белых пупырышках. Вслух же сказал:

— Не обязательно мухоморов, возьмите в лаборатории формалину.

В тот же день Ольга Павловна пришла в лабораторию и попросила формалину. Разливая его по блюдецкам, она ворчала недоверчиво:

— Будут они его лакать, как же. Им бы мухомору накрошить, враз бы подошли!

Но через полчаса она убедилась, что и от формалину мухи дошли не хуже, чем от мухомора.

Накормив всех ужином, вымыв посуду и прибрав в «стряпке», Ольга Павловна садилась на скамеечку возле входа и смотрела, как спускается ночь на землю. В девять часов уже темнело. Иван Кузьмич сидел тут же, попыхивая трубочкой. Ольга Павловна прислушивалась к голосам ребят и девчат, играющих в волейбол, и вспоминала, какая она сама была молодая, да резвая, да звонкая.

«И куда все девалось. Пролетели золотые денечки, годочки, как во сне повидали. Не вернешь!» Бывало уйдут они с Ваней в степь и по-о-ют, обо всем забудут.

Придут домой, а свекруха-покойница, царство ей небесное, ругается в темноте:

— Носит вас лешак, нечистая сила! Спать давно пора!

Была она из-под Вологды и хоть прожила в степи немало, а отвыкнуть ругаться по-вологодски так и не могла.

Они с Ваней тихонько пробирались к своей кровати и лежали, давясь от хохота, зажимая один другому рты ладошками, чтоб еще больше не рассердить старуху.

— Ваня! Ваня! Слышь что ль, Кузьмич!

— Чего?

— Давай споем, Ваня!

— Тю, старая! Людей смешить.

— А может люди не засмеются, — сказала Ольга Павловна и начала одна:

Среди долины ровные
На гладкой высоте...

Пела она не так уж хорошо, как прежде, но была еще сила в ее чуть дребезжащем голосе.

«Знает баба, чем взять, любимую завела», — подумал Иван Кузьмич, выколачивая трубку о каблук и, не утерпев, вплел свой басовитый голос в пение жены.

Стоит один зеленый дуб
В могучей красоте...

Проходит не одно поколение людей, не один раз сменяется лес, а дуб стоит себе в своей первобытной красоте. Стоит век, стоит другой и больше.

Зайдет, взойдет ли солнышко...

Пела Ольга Павловна, покачиваясь и закрыв глаза, Иван Кузьмич вторил ей, откинув голову, задрав вверх бороду. Пели они и не слышали, что давно брошена игра в волейбол, что молодежь подкралась к ним и сидела, притаившись, слушала, как они поют.

— Bravo! Bravo! Бис! — закричали все, когда песня пришел конец.

«То-то же! — улыбаясь в темноте в усы и снова набивая негнушимися пальцами трубку, думал Иван Кузьмич. — Песня, она душу любит. Криком ее не возьмешь». Думая так, он имел в виду шумное и порой нестройное пение молодежи вечерами.

После ужина, когда спать ложиться было еще рано, а для работы наступал уже поздний час, молодежь часто пела. Пелись задушевные лирические песни, от которых становилось почему-то грустно, как всегда бывает, когда песня хорошая. Пелись и веселые частушки, складываемые экспромтом, тут же.

С удовольствием прислушивался к пению Денисов. Сам он никогда не пел и даже в молодости, но было у него несколько любимых песен, которые наводили на него непонятную грусть. Это были: «Песня о Каховке», «Любимый город», «Соловьи». Нравился ему и вальс «В лесу прифронтовом».

Как-то раз его запели у костра, Денисов прислушался и удивился, слова были не те. Ребята пели:

«И нет у нас иной мечты,
Как мирный честный труд.
Не зря сажаем мы цветы,
И малыши растут.

Где нынче в школе у реки

Детишки вновь сидят.

Ходила гвардия в штатки

И умирал солдат.

И вновь, поднявшись над рекой

Из пепла и руин,

Стоит как мира часовой

Наш город исполнин».

Слова песни понравились Денисову. Он спросил у Гали, кто написал их?

— Это не песня, Иван Иванович. Это просто стихи одного местного поэта, а мы взяли да и стали их петь на знакомый мотив. Правда, хорошо получается?

Денисов кивнул головой, подумал: «Что ж, хорошо ребята придумали. Новые времена — новые песни». Он направился в кухню, чтобы набить патроны для завтрашней охоты на озере.

Ольга Павловна с лаборанткой Машей, молчаливой незаметной женщиной, потерявшей мужа на войне и до сих пор тоскующей по нему, сидели на скамеечке у входа и чистили картошку.

Пока Денисов набивал в кухне патроны, ему слышно было, о чем говорили Ольга Павловна и Маша. Говорили они о войне.

— Да, понаделала делов эта война, — говорила Ольга Павловна Маше. — Пройди всю Россию вдоль и поперек и не найдешь ни одного человека, чтобы война его не коснулась. У одного дом сгорел, имущество все пропало. У другого сына, мужа, зятя убили, а то и всю семью порешили, третий сам сложил голову. Ох и попили же злодеи нашей кровушки! У тебя кем он служил в армии-то?

— Связистом.

— Похоронная была?

— Была, — сморкаясь, ответила Маша.

— Ну, ничего, Маша. Теперь уж сколько годов прошло. Об живом надо думать. Женщина ты молодая, самостоятельная, найдется хороший человек и с богом, живите. А что ж такого, ежели все по-хорошему, по-честному. Греха в этом нет. От этого, милая моя, никуда не денешься. Мертвому мертвое, живому живое. Оно, конечно дело, и наша сестра всякая бывает: иная и при живом муже с десятью спутается, а другую и мертвый держит.

Так-то, девонька. А я тоже хлебнула горяшка в войну. Мой-то старик как ушел в сорок первом, так словно сквозь землю провалился, три года об нем ни слуху, ни духу не было. В окружении, слышь, были, в лесах партизанили.

Маша удивилась тому, что Иван Кузьмич был на войне.

— А как же! Ты, девка, не гляди, что он такой хмурый да неразговорчивый. Годов-то ему не так много. Мне пятьдесят шестой пошел, а мы погодки. Мой Кузьмич еще какой вояка! В голосе Ольги Павловны слышалась гордость.

— Инпериалистическую-то (Ольга Павловна запнулась на трудном слове) он, конечно дело, не захватил, ну, а в финскую да в эту повоевал маленько. А я тоже воевала,—улыбнувшись чему-то своему, продолжала Ольга Павловна. — Поставили мне на квартиру ундера ихнего, Гансом звали. Рыжий, лупоглазый, морда красная, пил много, носина во! Ну, пришлось мне ходить за ним. Мою да стираю, да убираю, а у самой на сердце кипит. Ах ты, думаю, такой сякой, из-за вас стон, стоит на земле русской, сколько народу безвременно в землю полегло и мой Кузьмич, может, тоже, а я на вас тут, как проклятая, хребет гну; не я буду, ежели я вам, гады, какую ни наесть пакость не сделаю. А тут еще такое дело. Стал ундер прислоняться до одной соседской девчонки. Хорошая девчонка, мы ее думали за племянника, за Миколая, братъ, ежели домой, бог даст, вернется. Ах ты, думаю, гад! Мало тебе других, так ты еще и девку хочешь спортить! Взяла да и устроила ему одну штуковину.

— Какую?

— А вот какую. Подпорол в исподниках ширинку, да и зашила туда кусочек сулемы. Получай, гад! Погляжу, прытко ли ты забегаешь. День гляжу, ничего. Другой гляжу, ничего. А на третий день вижу, ходит Ганс раскорякой. Ругается. Какая, говорит, сволочь меня наградила, узнаю, вздерну. Решил, видишь ли, что дурная болезнь у него. Дальше, хуже. Лежит Ганс и ходить уже не может. Отвезли его в госпиталь, да он там месяц как не более провалялся. Тем временем девчонку убрали с глаз долой, в деревню к сродственникам отправили. А я тут страху натерпелась! Не дай бог, думаю, до-

знается доктор, что и почему. Оно, конечно дело, и смерть не страшна, коли за дело, а болтаться на перекладине за этого рыжего, кому же охота. Только обошлось все благополучно. Прибыл Ганс из госпиталя, бросил мне белье грязное: «Выстирай!» Я взяла исподники, ушла в чулан, подпорола опять ширинку, гляжу сулема тут, только крохотный кусочек остался, будто подтаяла.

Так-то, бабонька, хоть и не пришлось мне ни одного гитлеровца своими руками удушить, а одному я все-таки насолила. И ведь что ты думаешь, перестал бегать.

Ольга Павловна засмеялась. Невольно улыбнулся про себя и Денисов, представив, как колышется в смехе вся ее полная добродушная фигура.

ГЛАВА VII

«Тебе исполнилось сегодня тридцать восемь», — звучало с утра в ушах Натальи. Она завидовала женщине, к которой были обращены эти строки. Ее любили, ей посвящали стихи.

О том же, что и Наталье сегодня исполнилось тридцать восемь, никто и не вспомнил. Да и кто должен был помнить? Александр? Ему не до нее.

Наталье было вдвойне обидно. С днем рожденья была связана другая знаменательная дата в ее жизни. В этот день, двадцать лет тому назад, они поженились.

Двадцать лет! Как он мог забыть об этом? Раньше он первый напоминал.

— Наташа, ты помнишь, какой сегодня день?

В этот день у них всегда бывало шумно. Приходили друзья, знакомые, коллеги Александра Петровича. Все поздравляли их. Наталья счастливая, улыбающаяся стояла в передней, в руках ее был ворох подарков.

За столом шутили насчет серебряной и золотой свадьбы. Кто-то пытался крикнуть «Горько!» Наталья краснела до слез, когда Александр Петрович при всех целовал ее и, чтобы скрыть смущение, бежала на кухню посмотреть какой-нибудь новый соус, которым собиралась удивить гостей.

Гости засиживались долго. Спорили о литературе, о проблемах науки, о театре. Говорили о своих университетских делах, пели, пытались танцевать, сдвинув столы, но из этой затеи ничего не получалось, было слишком тесно.

После их ухода в квартире наступала тишина. Дети уже спали. Наталья без сил опускалась в кресло.

— Пусть все стоит до утра, — говорила она и прикрывала стол газетами, а цветы переносила в спальню. Голова немного кружилась от усталости и от вина.

— Знаешь, Наташенька, — говорил размягченный Александр Петрович, — раньше мне казалось, что любовь может длиться, ну самое большее, год, два...

— А сейчас ты думаешь иначе? — лукаво спрашивала Наталья, забавляясь искренним недоумением Александра Петровича.

— Сейчас я думаю, как хорошо, что я люблю тебя и волнуюсь, как в тот первый наш день.

Наталья благодарно гладила руку Александра Петровича, обнимавшую ее, и счастливая улыбалась в темноте.

Наталья вспомнила, как скучал Александр Петрович, когда приходилось уезжать куда-нибудь. Через несколько дней он уже писал:

«Завел себе, Наташа, календарь, и, если бы ты знала, с каким удовольствием вычеркиваю я каждый прошедший день, думая, «еще на день приблизилась наша встреча». Работаю чертовски много, в надежде закончить работу пораньше».

«Счастливая ты, Наталья, — говорила сестра Лидия, с плохо скрытой завистью. — Через столько лет он пишет тебе, как невесте».

И это было год назад.

— Господи! Да что же это такое! — стоном вырвалось у Натальи. — Почему все изменилось так? За что?

Хотелось в тупом отчаянии упасть на выжженную солнцем бесплодную землю и в исступлении биться об нее головой. Но привычка владеть собой брала верх.

И кто видел, как шла по степи Наталья в своей старенькой белой панаме, прикрывающей голову от солнца с гербарной папкой, подвешенной через плечо, как наклонялась она к земле и, выкопав растение с корнями, закладывала его между листами папки, тщательно расправив свернувшиеся листочки, никто не подумал бы

о том, что несла она в себе глухое беспросветное отчаяние.

Вечерами вместе со всеми Наталья возвращалась домой. Но тут силы оставляли ее. Видеть счастливую, удивительно похорошевшую в последнее время Манефу, видеть Александра Петровича, любующегося Манефой, было мукой для Натальи. Отказавшись от ужина под предлогом головной боли (солнцем напекло!), она умывалась и сразу же уходила к себе в палатку. Лежала там, прислушиваясь к голосам из столовой и представляя себе, как Манефа кокетничает с Александром Петровичем, а он не сводит с нее влюбленных глаз, Наталья зажимивалась и на мгновенье переставала дышать.

* * *

Однажды Наталья не вернулась на базу. Кончив работу, она хотела уже идти домой, как вдруг ей страшна стала сама мысль о возвращении. Наталья повернулась и пошла по степи в обратную сторону. Она шла почти бездумно, просто радуясь тому, что она одна и все дальше и дальше уходит от того, что ее мучило. На душе было удивительно спокойно, точно в самом деле все то, что угнетало ее, осталось позади.

Стараясь сохранить это состояние душевного покоя, она шла, не думая, куда идет, не замечая, что надвигалась ночь. Стемнело. Впереди мелькнули два-три огонька. Наталья пошла на них. Степные расстояния обманчивы. Она шла довольно долго, прежде чем попала на разъезд. Постучалась в первый попавшийся дом и попросила ночлега. Ей отвели в горнице кровать с роскошной периной и горой подушек. В смежной комнате висела люлька с ребенком. Ребенок плакал, бабка в дремоте покачивала люльку ногой, и Наталья, просыпаясь ночью от плача ребенка, слышала, как бабка сонно бубнила: «Баю, баю Николаю, я куда тебя деваю...»

Утром Наталья вернулась домой с товарным поездом.

— Наталья Михайловна! Пришла! — вскрикнула Галя, первая увидев ее, и кинулась обнимать Наталью. — Где же вы были? Александр Петрович так волновался, так волновался за вас! Они с Тимофеем Алексеевичем ездили искать вас ночью! Девчата! Ребята! Наталья Михайловна пришла!

Все выбежали из столовой, окружили Наталью, обрадованные ее приходом.

Наталья была пристыжена наделанным ею переполохом. Объясняя случившееся, она сказала, что незаметно для себя ушла далеко от дома и, решила заночевать на разъезде.

Александр Петрович, когда Наталья вошла в палатку, взглянул на нее из-под насупленных бровей и сказал сухо:

— В следующий раз, Наташа, попрошу возвращаться из степи вместе со всеми и не причинять лишних хлопот Тимофею Алексеевичу...

Он снова склонился над столом и продолжал писать, не обращая на Наталью внимания, точно в палатке ее и не было.

* * *

Пытаясь найти причину отчуждения между нею и мужем, Наталья перебирала в памяти всю свою жизнь с Александром Петровичем.

Была ли она счастлива тогда, в первые годы их совместной жизни? Наталья не могла ответить на этот вопрос ни да, ни нет. Были слезы, дни обоюдного мучительного молчания, резкие переходы от страсти к обидному равнодушию, которое не только не скрывалось, но подчеркивалось всячески. Были сцены ревности со стороны Александра Петровича, сменявшиеся приступами раскаяния, обещаниями «держаться себя в руках».

Все было: и плохое и хорошее. А, главное, Наталья сразу же после свадьбы поняла, что ей придется во всем уступать мужу, если она хочет, чтобы жизнь их ладилась.

Вот только что он уверял, как тяжело уезжать одному, как ему будет не доставать ее. Но, стоило сказать, что они могли бы поехать вместе, отсрочь он на две недели свой отъезд, он холодно отодвигался и сухо говорил, что для работы не может терять ни часу, и глаза его становились чужими.

Ради любви никогда не желал поступиться ничем. Это было обидно, но это же было и хорошо. Будь Александр другим, она не любила бы его.

Но все-таки, когда она рвалась навстречу своему счастью, не думала, что оно будет таким трудным, что

ей с такими муками придется оберегать его. И что к нему, сильному, мужественному, а ей, слабой, робкой придется нащупывать и обходить все те «подводные камни», о которые они могли споткнуться.

Изучив все привычки мужа и слабые стороны его, она знала, о чем можно сказать ему, о чем следует совсем умолчать или сказать в другой раз.

«Не буду говорить об этом Саше, потом скажу какнибудь», — решала она, когда сын приносил из школы двойку.

«Надо приучить его во-время обедать», — думала она и ломала голову, как бы это сделать так, чтобы он не заметил.

В спорах она никогда не настаивала на своей точке зрения, по опыту зная, что упорствовать бесполезно.

Александр Петрович, который в глубине души всегда страдал от своей неуживчивости с людьми, удивлялся слаженности их отношений.

«До чего же мне легко с тобой, Наташа!» — говорил он. Но Наталье было нелегко с ним. Необходимость быть постоянно настороже утомляла. Иногда, устав от этого напряжения, она думала, что есть где-то на свете умный, хороший человек, уравновешенный, спокойный, с которым ей было бы легко и радостно идти рядом, но она не встретила его, а встретила Александра и полюбила его. Но, даже думая так, знала, что будь возможность у ней вернуть все, встретить она этого человека, она полюбит не его, милого, спокойного, уравновешенного, а полюбит Александра, влого, колючего, непостоянного в своих чувствах и настроениях. За что полюбит? Кто его знает, за что? За что мы любим одних и равнодушно проходим мимо других, может быть, более достойных?

Сказывалась и разница в их темпераментах. Наталья очень большое значение придавала духовной близости с мужем, все остальное было для нее на втором плане. Александра Петровича же всегда оскорблял холодок, которым веяло от Натальи.

Когда после ссоры Александр Петрович подходил к ней и целовал ее, Наталья с горечью и тоской думала: «Не то все это, не то... Не этого мне было нужно. Лучше бы он просто сказал: «Я был неправ, Наташа!» И большего счастья не было бы.

Но Александр Петрович никогда не говорил ей этих слов. Обычно подходил к ней злой, насушенный, ни себе, ни ей не прощающий этой попытки к примирению и молча, жадно целовал ее. Он считал, что этого вполне достаточно для того, чтобы их отношения наладились. Ему и в голову не приходило, что горячие молчаливые ласки его оскорбляли Наталью, ломали в ней что-то.

С горечью наблюдала она на следующий день, как он, счастливо сияя глазами, радуясь тому, что их размолвка кончилась, рассказывал ей об интересной статье, прочитанной им в журнале.

Она рассеянно слушала его. И, в душе постепенно мирясь с ним, думала, что, несмотря ни на что, любит его, и что надо принимать его таким, каков он есть. Неожиданно она вставала с места, подходила к нему и целовала его в голову.

Александр Петрович удивленно вскидывал глаза и, видя на лице Натальи сдерживаемое волнение (точно она боялась расплескать чувство, переполнявшее ее) и смутно догадываясь, что вчера он провинился и только сейчас заслужил полное прощение и что это-то и есть их настоящее примирение, благодарно целовал ей руку.

Они продолжали завтракать, и оба уже легко и свободно говорили обо всем, что их занимало. Эти минуты были лучшими в их жизни.

А сейчас? Сейчас она не может заставить себя подойти к нему и поцеловать. Да и нужно ли это ему?

Теперь Наталье часто казалось, что она ненавидит Александра Петровича. Думая о нем плохо, она находила в этом странное для себя удовлетворение.

«Ну да, ненавижу его! Ненавижу! — говорила себе Наталья. — И как я могла полюбить именно его, когда кругом столько замечательных людей. Денисов, например. Как он любит свою жену и девочку тоже, хотя все знают, что это не его дочь. С каким нетерпением ждет он писем от них и когда, получив, читает их, улыбается своей милой улыбкой. Какая счастливая его жена. Другие женщины, как женщины, для него и не существуют. Как это хорошо, когда муж верен своей жене, когда она у него одна единственная на всю жизнь. Такого человека все уважают. И Денисова все уважают. А вот Александра не все. То есть, его уважают, как начальники экспедиции, как ученого, а как человека не уважают»

И мне больно оттого, что его не уважают. Почему же мне должно быть больно, ведь я не люблю его..?»

И, желая убедить себя в том, что она не любит Александра Петровича, что он недостоин ее любви, ее страданий, Наталья с упорством выискивала в нем плохое.

Она вспомнила, как однажды они вместе зашли в книжный магазин. Александр Петрович прошел, по обыкновению, за прилавок и стал отбирать нужную ему литературу. Работники магазина хорошо знали его, как солидного покупателя, и охотно разрешали ему рыться в книгах. Пока он отбирал, Наталья стояла у витрины.

К прилавку подошел старик-колхозник. Он долго с уважением смотрел на книги, стоявшие на полках, и, облюбовав одну из них в оранжево-красном переплете, обратился к Александру Петровичу:

— Гражданин хороший, — сказал он, тыча пальцем в облюбованную книгу, — как бы узнать, полезная эта книжка или нет. Мне бы по пчелам...

— Не знаю, — сухо обронил Александр Петрович, еле повернув голову, — обратитесь к девушке, я не работник прилавка.

Старик озадаченно крикнул и отошел.

Наталья покраснела до слез, ей было стыдно за Александра Петровича.

— Как ты мог так ответить ему! — говорила она, когда они шли домой. — Ведь всем, чего ты достиг, ты обязан вот таким как этот старик. Ты не имел права отвечать ему так! — страстно говорила она.

— Благодарность к народу, который вырастил, поднял меня, я понимаю шире, чем понимаешь ты, — сказал тогда Александр Петрович. — Это не простая любезность к старику. Благодарность—это когда все, что ты получил, все что ты имеешь: знания, силы, ум, здоровье ты отдаешь на благо народа, не думая о себе, не щадя себя! Вот что такое благодарность!

Наталья соглашалась с ним и не соглашалась, она знала — ее отец, например, поступил бы совершенно иначе. Он был бы счастлив видеть в этом старике желание приобщиться к книге, к знанию.

— Ну, да, конечно! — иронически подхватил Александр Петрович замечание Натальи об отце. — «Сейте разумное, доброе, вечное!» Твой отец так обрадовался бы тому, что колхозник возымел желание купить книгу, что,

забыв о своих делах, часа два толковал бы о пользе выбранной им книги и в результате надоел бы ему смертельно. Дорогая моя, времена, когда мы умилялись, видя колхозника за книгой, давно прошли. Иной колхозник побольше нашего читает, так что же я буду ему разжевывать. Мне мое время дорого. Отвечу я ему об одной книге, он спросит о другой, о третьей. И потом, какое я имею право распоряжаться в чужом хозяйстве?

«Тр-то и оно, мой милый, — думала Наталья, — тебя задело, что тебя, профессора, приняли за работника прилавка. Ненавижу это зазнайство, это высокомерие, и откуда только оно у него?»

Вспомнила она и еще один случай, уже совсем недавний. Рабочие перебрасывали мост через балку. Стояла в ней покрытая ржавчиной вода, колеса машин засасывались грязью, и приходилось далеко объезжать это гиблое место.

Двое рабочих с трудом подняли толстое бревно и понесли его. У парня, что держал бревно за комель, дрожали от усилия ноги, подгибались в коленях. Рабочие недружно бросили бревно наземь и стояли, тяжело дыша, вытирая просмоленными рукавицами пот с лица. Потом они снова взялись за бревно. Александр Петрович стоял тут же, заложив руки в карманы галифе и отдавал четкие приказания: «Правее! Еще правее! Так, хорошо! Поднимай верхний конец!»

То, что он стоял в стороне и смотрел спокойно на тяжелый физический труд подчиненных ему людей, не делая ни малейшей попытки помочь им, неприятно поразило Наталью. Почему он, здоровый мужчина, не поможет им? Как ему не стыдно стоять и держать руки в карманах?

— Что же ты думаешь, что они больше уважать меня станут, если я буду за них работать? — сказал Александр Петрович на замечание Натальи, имея в виду этих двух рабочих. А как на стройках? Там тоже трудно. Но это не значит, что начальник строительства вбивает с рабочими каждую сваю. Тогда бы он не был начальником строительства, а был бы рабочим.

Вот этого-то ты и боишься, — злясь на мужа, думала Наталья. — Начальник экспедиции и вдруг будет возиться как муравей возле какого-то бревна.

Знала Наталья, что детей он любит неодинаково.

Очень строг с Леной, требователен к ней, забывая, что она еще девочка в свои семнадцать лет. Не разрешил ей пойти в театральный институт, а заставил поступить в университет на биолого-почвенный факультет.

«Делом надо заниматься!» — так аргументировал он свое желание видеть дочь в университете. Для него, охваченного страстью к науке, только она одна была «делом».

Лена, тяжело переживала запрет отца. «Конечно, я пойду туда, куда хочет папа!» — и пошла в университет. Лекциями она тяготилась. Особенно не взлюбила анатомию. И когда она пропустила несколько лекций по анатомии, отец не разговаривал с нею неделю.

С Таней отец был мягче. Когда говорил с нею, у него теплели глаза. Пожалуй, по-настоящему, он любил только Таню, а к тем двум был равнодушен. Разве можно делать такое различие между детьми? Почему же для нее они одинаково дороги? Наталье особенно жаль было Юру.

С Юрой Александр Петрович был уже совсем строг. Правда, в пятом классе Юрка действительно учился плохо. В первой же четверти он принес три двойки.

— Так будешь учиться, выгону! — кричал Александр Петрович, держа в руках злополучный табель сына. — Не хочешь учиться, иди работать. А на бездельника нечего тратить время и государственные средства!

Юрка подавленно молчал. Опустив голову, он стоял возле отцовского письменного стола и ногтем старался отковырнуть кнопку на нем. Кнопка не поддавалась, ноготь, скользя, скрипел.

— Убери руку! — раздраженно сказал отец. — Иди!

Юрка вышел из кабинета, взял первую попавшуюся под руку книгу и стал читать. Губы его дрожали. Видно было, что он ни строчки не понимает из прочитанного. Наталье хотелось утешить его, но, боясь нарушить «единство педагогического воздействия», она не вмешивалась.

Помнила она еще один случай, после которого Юрка очень изменился и стал учиться хуже, ведь в четвертом классе он учился хорошо.

Было это в конце лета. Однажды Юрка вдруг исчез с утра. Вот и ночь спустилась, и ребята с улицы все разбежались по домам, а его все не было. Давно уснули девочки, в доме все затихло, не спали только Александр

Петрович и Наталья. Кто-то сказал им, что Юрка весь день сгружал арбузы в военторге, а потом сел в порожнюю машину и уехал. Куда могла завезти его машина? Высадили мальчишку где-нибудь за городом.

— Ох, и вздую же я его, только явись он домой! — говорил Александр Петрович. Весь вечер метался он по квартире и не мог работать.

Юрка явился домой в половине второго ночи с двумя огромными арбузами.

— Вот, мама, арбузы на ужин, я сам заработал!

Александр Петрович вылетел из кабинета и в гневе, не видя ни сияющего лица Юрки, ни арбузов, не слыша того, что тот сказал, вцепился в его ухо, приговаривая:

— Вот тебе, вот тебе! Не броди до полуночи! Говори куда идешь!

В эту ночь Наталья долго не могла уснуть, мучаясь тем, что Юрка незаслуженно наказан.

«Что же удивительного, — думала она, что мальчик потерял представление о времени, забыл, что ему пора домой. Так интересно было работать вместе со всеми, перебрасывая арбузы, как волейбольные мячи, из рук в руки».

Она представляла себе потное счастливое лицо сына каким оно, вероятно, было во время работы и страдальчески морщилась.

Наказать ребенка за то, что он увлекся работой!.. А как был он счастлив принести на ужин для всей семьи заработанные им арбузы. Наверное, весь день мечтал о том, как придет и выложит их на стол. Как девчонки запрыгают от восторга, одобрительно улыбнется отец, а мать скажет: «Ох, Юра, Юра, что бы мы без тебя делали!» И вместо этого наказать, так грубо наказать...

Ее обижало, что Александр Петрович, целиком погруженный в свою работу, почти не замечал детей. Здоровы, сыты, обуты, одеты, чего еще надо. В их годы он и этого не имел.

Застав Юрку с рогаткой или с самодельным пистолетом, он снисходительно бросал на ходу: «Бездельничает!» Это была своеобразная отцовская ласка.

Наталья замечала, что у Юрки появился какой-то виноватый тон в разговоре с отцом. Когда Александр Петрович приходил домой, Юра следовал за ним в каби-

нет и скороговоркой докладывал о своих школьных делах:

— Я просил Марию Петровну спросить меня по географии, чтобы исправить двойку, а она не спрашивает, наверное, думает, что я из-за этой двойки буду лучше заниматься.

— Не надо этой двойки получать! — резко, поучительно говорил Александр Петрович, и Юра, смущенный, торопился выйти из кабинета.

Иногда он с нетерпением ждал отца, чтобы сообщить ему о полученной хорошей отметке.

— Подумаешь, четверка! — пренебрежительно говорил в таких случаях Александр Петрович. — Я все жду, когда ты о пятерках мне будешь докладывать!

«Зачем ты так обрываешь мальчика? Разве можно так? Ты порадуйся вместе с ним его маленькому успеху. Ведь для него эта четверка, после двоек, которые он получал, уже победа» — с горечью думала Наталья.

И, когда сын входил к ней в кухню, она мягче, чем следовало, говорила с ним, совала ему кусочек получше, и, в душе терзаясь тем, что нарушает «единство педагогического воздействия», ласково расспрашивала его, как и за что он получил эту четверку. Слушала рассказ, смотрела, как он ест, и ловила себя на мысли, что, может быть, потому и дорог он ей, что слишком сух и неласков с ним отец.

И еще припоминала один факт, имеющий уже прямое отношение к ней, к его жене. Она ходила тогда Юрой. Ходила тяжело, у ней болела спина и отекали ноги. Ей трудно было даже обуваться самой, и Александр Петрович каждое утро обувал ее.

Однажды она плохо почувствовала себя. Это было в воскресенье, она хорошо запомнила. Александр Петрович сразу же после завтрака собрался в университет. Ему не терпелось поскорее закончить одну интересную работу, и он работал в выходные дни. Наталья просительно сказала:

— Не ходил бы ты сегодня, Саша. Я что-то плохо чувствую себя.

— Не могу же я целые дни сидеть дома! — резко сказал он и ушел.

Ей было очень обидно тогда. Конечно, у него срочная и интересная работа, он спешил закончить ее, но в выход-

ной день мог бы побыть дома, мог быть чуточку внимательнее к ней, учитывая ее положение.

Сразу после его ухода начались схватки. Она, конечно, могла послать за ним, могла, наконец, позвонить ему, но не сделала ни того, ни другого. Она оставила детей на соседку и одна пошла в больницу.

Больница была далеко за городом, стояла она на высокой горе. И не знала Наталья, которая гора круче, та ли, на которую она взбиралась, увязая по колено в снегу, или та, которую она должна была преодолеть в себе. Февраль в этом году был выюжный, дорогу перемело, снег набивался в валенки и холодными струйками стекал по ногам. Когда наступала очередная схватка, она садилась в снег и боялась только одного, как бы не родить на дороге. Потом шла дальше, страдая оттого, что в такую страшную минуту своей жизни она бредет одна, и нет с ней рядом близкого человека, на руку которого она могла бы опереться. Слезы застилали глаза, но плакала она не от боли. Нет. Плакала от того, что он, муж, отказался поддержать ее, отказался разделить с ней эти невыносимые муки.

На другой день он прибежал в больницу чуть свет. От него передали записку: «Молодец, Наташа! Спасибо за сына!»

Но разве можно забыть такие вещи? Так почему же я люблю его? За что же я люблю его? Почему он так дорог мне? Да что же это такое? Что за напасть такая!

Упав на сухую, потрескавшуюся от зноя землю, Наталья задохнулась от подступивших к горлу слез. Стон вырвался из ее груди.

На дороге показался Денисов. Увидев Наталью, он было направился к ней, но остановился в нерешительности.

«Стоит ли сейчас подходить к ней? — подумал он — Быть свидетелем такого горя».

Не видела Наталья, как повернул Денисов и медленно, точно в раздумьи, пошел обратно.

* * *

Щербинский объяснял Володьке методику определения кислотности почвы, когда в лабораторию вошел Денисов и сухо, как показалось Щербинскому, поздоровался с ним.

— Освободишься, Александр Петрович, зайди ко мне, — сказал он и, повернувшись, вышел из лаборатории.

Щербинский проводил его взглядом и вновь про себя отметил, как твердо, уверенно ступает Денисов по земле и как верно эта его поступь передает натуру парторга, умного, сильного человека.

Щербинский уважал Денисова, преклоняясь перед теми чертами его характера, которых не было у самого. В противоположность Денисову, он никогда не следовал мудрому совету: «Семь раз примерь — один раз отрежь». Он всегда торопился «отрезать», и жизнь порядком была его за эту торопливость. Годы шли, «крутые горки» так и не «укатали сивку». Попрежнему Щербинский торопился «подрубить сук, на котором сидел», о чем часто говорила ему Наталья.

Вот и сейчас не знал он, как повернется его жизнь. Все слишком сложно и запутано было в ней. Александр Петрович почти завидовал Денисову, у которого, как думал он, душа не была во власти таких противоречивых чувств, как душа его, Щербинского.

Александра Петровича несколько удивила сухость в голосе Денисова. До сих пор они, начальник и парторг экспедиции, прекрасно ладили между собой. Поэтому Щербинский, продолжая работать, думал о Денисове. Работа уже не клеилась. Александр Петрович поторопился закончить ее и направился в палатку парторга.

Денисов был не один, перед ним сидел на табуретке Иван Кузьмич и они договаривались о завтрашней поездке к Борису Матвеевичу на первый производственный участок.

Когда Иван Кузьмич ушел, с лица Денисова пропало оживление. Он молча взглянул на Александра Петровича, встал, прошелся по палатке и, остановившись перед Щербинским, сказал:

— Ты извини, Александр Петрович, если наш разговор тебе будет неприятен, но я считаю, что дальше молчать нельзя.

Александр Петрович вскинул вопрошающие глаза на Денисова и вдруг понял, о чем будет речь. Он смутился, покраснел, но выдержал пристальный взгляд Денисова и не отвел глаз.

«Э-э-э, братец, как ты краснеешь еще», — подумал Денисов, а вслух сказал:

— Я имею в виду твои отношения с Манефой Юрьевой.

Александр Петрович еще более покраснел и, злясь на себя за это, в запальчивости сказал:

— Эти отношения мое личное дело...

Денисов нахмурился и отчужденно посмотрел на Щербинского.

— Напрасно ты так думаешь. Это никогда не может быть только твоим личным делом. Линию партии в вопросах семьи ты знаешь — укрепление советской семьи во что бы то ни стало, всеми мерами...

— Никто и не собирается разрушать, — угрюмо перебил Щербинский. Его злило, что так бесцеремонно вмешиваются в его личные дела.

— Позволь, но как тогда понимать твои отношения с женой и Манефой Юрьевой? — сказал Денисов, живо повернувшись к Александру Петровичу. — Надо решить вопрос, с кем ты будешь, с той или с другой? Не можешь же ты жить с обеими. Ты посмотри, на что стала похожа Наталья Михайловна...

— А если я не люблю ее больше... — голос Щербинского звучал приглушенно, точно ему трудно было произнести эти слова.

Денисов вздохнул и отошел от Щербинского. Он сделал несколько шагов по палатке и остановился у входа. Стоял, заложив руки в карманы, глядел на белое грозное облачко, плывущее в синеве неба.

Сколько раз с тех пор, как существует мир, произносили люди эту фразу! Произносили через год, через два, через десять, пятнадцать, двадцать лет любви! И что можно ответить на нее?

Он подошел к Щербинскому и, положив руку ему на плечо, сказал:

— Чувства приходят и уходят, Александр.

Что-то дрогнуло в напряженно застывшем лице Щербинского. Впервые за много лет услышал он это короткое дружеское обращение, без обычного в последние годы добавления «Петрович». Услышал от человека, дружбой которого дорожил.

— Счастье не в том, что сегодня одна, завтра другая, — говорил Денисов, и сам точно вслушивался в то, что говорил. Да так оно и было. Никогда для самого Денисова не стояли эти вопросы в центре внимания. Никог-

да он не допускал мысли, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь заменил ему Машу.

— Так может продолжаться до бесконечности. Одна хороша, другая лучше, а третья подрастает где-то еще лучше. Не к лицу нам это донжуанство и, повторяю, не в нем счастье.

Денисов снова прошелся по палатке, как будто то, что он ходил, помогало ему отыскивать, подбирать верные слова, какие могли бы убедить Щербинского. Тот сидел, опустив голову, и по лицу его трудно было понять, о чем он думает сейчас.

— Счастье — это работа, сознание того, что она нужна твоей Родине, что она на один шаг приближает тебя, твой народ, твою страну к коммунизму. Счастье — это жена умная, верная, любящая подруга, которая делит с тобой все радости и невзгоды жизни. Счастье — это дети... Вот о них-то и надо помнить прежде всего, прежде чем принять какое-либо решение, — серьезно сказал Денисов. — Ребенок, искалеченный в детстве, — калека на всю жизнь. Мы часто забываем об этом, когда устраиваем свои личные дела, — Денисов сделал ударение на слове «личные». — Забываем, а ведь мы несем ответственность за них перед государством.

Денисов помолчал, ожидая, не скажет ли чего Щербинский, не возразит ли. Но тот молчал. Тогда Денисов заговорил снова.

— Это одна сторона дела. Теперь другая — твоя жена. Каково ей, ты думаешь? Прожили вы в добром мире и согласии двадцать лет, и вдруг не нужна стала. Помни, какая бы женщина не вошла в твою жизнь, ни одна из них не будет тебе ближе жены. Она связала свою жизнь с твоей, когда ты был неизвестным студентом, родила тебе детей, и, кто знает, может быть, ей ты обязан тем, чем стал.

— Позволь, позволь... — остановил он Щербинского, который хотел возразить ему. — Мы мало знаем интимную жизнь великих людей, но и из того, что знаем, можно сделать вывод — через жизнь замечательного человека обычно проходила одна женщина, сыгравшая решающую роль. Может быть, были и другие женщины и даже наверняка были, но история не сохранила их имен, а сохранила имя только одной этой женщины. Возьми Тимирязева, Докучаева... Я уже не говорю о таких лю-

дах, как Ленин, Карл Маркс... Потом ты не должен забывать, что она мать твоих детей. Знаешь, у Горького есть замечательные слова:

«Восславим женщину-мать, грудью которой вскормлен весь мир!» Замечательные слова! Прекрасные слова! — Денисов в волнении прошелся по палатке. — Я не могу произносить их без того, чтобы у меня не зашипило в глазах... Так что ты подумай о Наталье. Тяжело ей... — неожиданно закончил Денисов.

— Жаловалась? — настороженно спросил Щербинский. Было неприятно, что жена ходит жалуется всем! «Ах, я бедная, ах я несчастная!» И, хотя он знал, что Наталья не способна была на это ломанье, но, чтобы как-то излить свое раздражение, он именно такой представил ее сейчас.

— С чего ты вдруг взял, что жаловалась? — спросил Денисов, удивляясь перемене, происшедшей в Щербинском. Только что перед ним сидел человек спокойно, с мягким задумчивым лицом и вдруг этот человек ошестинился точно еж.

— Никто не жаловался, — поторопился подтвердить он, видя, как на скулах Щербинского обозначились желваки.

«Ох, и трудный же ты, черт!» — подумал Денисов, проводив Щербинского.

Он был недоволен собой, недоволен тем, что не смог найти нужных слов для Александра Петровича.

«Не то все это, не то... — твердил он себе, вспоминая, что говорил Щербинскому. — Не мальчик же Александр Петрович в самом деле и знает, что хорошо и что плохо. И не проповедь тут нужна. А что?»

Денисов задумался, не найдя ответа на свой вопрос, еще более рассердился на себя, а заодно и на Щербинского, который глупейшим образом запутался и, бог весть, как выпутается из всей этой истории.

* * *

Измученная, разбитая возвращалась Наталья из степи. «Нет, надо сейчас же все выяснить...» — твердила она всю дорогу, приняв решение в тот же вечер обо всем поговорить с мужем. Ей казалось, что она ни минуты больше не может прожить в неизвестности.

Она вошла в палатку и замерла у входа.

Александр Петрович лежал на спине, подложив под голову руки, и пустым отсутствующим взглядом смотрел перед собой. Прихода Натальи он, казалось, не заметил.

— Александр! — сказала Наталья. — Тебе не кажется, что дальше так жить нельзя.

— В чем дело? — раздраженно сказал Александр Петрович. Неприязненный тон его больно отозвался в душе Натальи.

— Ты сам знаешь, в чем дело, — нарочито спокойно сказала Наталья, в то время как спазма душила ее горло.

— Ничего я не знаю! — сказал Александр Петрович и резко повернулся к стене.

— Саша! — жалобно вскрикнула Наталья. Бросившись к мужу, она стала трясти его за плечи. Нет, нет, что угодно, только не это холодное равнодушие. Она должна видеть его лицо, его глаза. Она пыталась повернуть мужа лицом к себе.

— Ну что! Что тебе надо? — раздраженно выкрикнул Александр Петрович и сел на постели. Волосы его были всклокочены, глаза горели злым огнем.

— Саша! Ты должен мне все рассказать! Я не могу... больше так жить...

Плечи Натальи задергались от рыданий, она опустилась на ящик и закрыла лицо руками.

Слезы ее привели Александра Петровича в ярость. Если в разговоре с Денисовым он старался держать себя спокойно, то сейчас уже не владел собой. Конечно, она во всем виновата. Ходит с видом мученицы, жалуется, а потом его отчитывают, как мальчишку!

— К черту! Ненавижу! — в исступлении закричал он, вскочив с кровати. — Допросы! Слезы! Дышать нечем! Это не жизнь, это ад какой-то! — Он схватился за голову, лицо его исказилось.

— Саша! Саша! Да ты что! — говорила Наталья, испуганно, широко открытыми глазами глядя на него. В таком состоянии она никогда еще не видала мужа. Она сделала шаг к нему.

— К черту! Уйди! Ненавижу тебя!

Наталья как от удара попятилась и прикрыла глаза рукой. Александр Петрович выбежал из палатки.

«Ну, вот и конец!» — думала Наталья, оставшись сидеть точно пришибленная. К ее тупому отчаянию при-

мешивалось удивление. Ну, можно ли было быть более жестоким? Как, оказывается, она мало знала его! Вот и оборвались двадцать лет ее жизни, каждая минута которых была связана с ним. Все эти годы, даже когда его не было рядом, в ней неизменно жило почти физическое ощущение, что он есть, что он существует, ибо все, что она ни делала, все делалось для него или с мыслью о нем.

Провинились ли дети, одно беспокоило ее, как-то он отнесется к этому? Шила ли себе новое платье, важно было, понравится ли оно ему? Выходила ли из печати его новая работа, приятно было, что для него это было радостным событием. Хорошо, удачно у него шли дела, она была спокойна. Что-нибудь не ладилось, и она места себе не находила.

Как же он, зная об этом, мог так жестоко оттолкнуть ее! Разве не сам он сказал однажды, когда кто-то спросил его:

«Александр Петрович! Вот у вас большая интересная жизнь, а чем живет ваша жена?» — «Наташа? — удивился он. — Наташа живет моими интересами!» — сказал так, точно иначе и быть не могло. И как-то удивительно светло, по-детски посмотрел на нее и на собеседника.

Как же он мог забыть об этом? Чем же теперь ей оставалось жить? Пустота, страшная пустота вокруг!

Никогда Наталья не жалела так, что до сих пор была только матерью и женой.

Растерянная сидела она в палатке, не замечая, что уже наступила ночь.

В палатку заглянул Александр Петрович.

— Ты не видела, куда я положил разновес? — спросил он.

Наталия поняла по его тону, что он попрежнему зол, но уже раскаивается в своей грубости. И раскаивается не потому, что чувствует себя виноватым, а просто считает, что грубость унижает их, придает вульгарный характер их объяснению. И вопрос к Наталье был ничем иным, как попыткой загладить эту непростительную грубость. Поняв мужа именно так, Наталья ответила сдержанно:

— Ты положил его в рюкзак...

Наталя так и не уснула в эту ночь. Она лежала, прижавшись к влажной от слез подушке. Голова ее была точно стянута обручем.

В двух шагах от нее лежал Александр Петрович. Он тоже не спал, но, зная о слезах Натальи (он не мог не слышать, как она плакала), не сделал ни малейшей попытки успокоить ее. Наоборот, по его нетерпеливому ворочанью с боку на бок она чувствовала, что он попрежнему раздражен.

«Чужой, совсем чужой человек!» — с тоской думала Наталя, вспоминая перекошенное злобой лицо Александра Петровича с ненавистью, как ей казалось, обращенное к ней. При мысли о том, как все это ужасно и как не похоже на то, что раньше было между ними, слезы снова побежали из ее глаз.

Да, не проходят теперь безнаказанно такие бури, — думала она. — Раньше, если и налетит гроза, шумная, с потоками слез, со взаимными упреками, достаточно было ласкового слова с чьей-нибудь стороны, поцелуя, и она бесследно утихала.

Сейчас не то. Сейчас, если и сказано ласковое слово, кинут добрый взгляд, на сердце от этого становится тяжелее, потому что знаешь — сказаны эти слова, брошен добрый взгляд только потому, что надо было так сделать. Иначе невозможной станет дальнейшая совместная жизнь.

Наталя, не мигая, смотрела в серое полотнище палатки, за которым начинался хмурый рассвет по-осеннему неласкового дня, и незаметно для себя уснула.

Спала она недолго. Проснувшись, она, по укоренившейся за долгие годы привычке, первый взгляд бросила на мужа. Александр Петрович еще спал. Голова его была гордо откинута на подушке, но бледное в сумерках рассвета лицо поразило Наталью.

Оно и во сне хранило то выражение скованности и затаенного страдания, которое не сходило с его лица все последние дни.

Острая жалость к мужу пронзила Наталью. Видно уж не так-то легка его любовь к Манефе, если даже во сне он не казался счастливым.

А что, если сейчас подойти к нему, сесть, как бывало раньше, на краешек его постели, теплой ладонью отве-

сти со лба спутавшиеся волосы, заглянуть в глаза и сказать:

«Не надо так страдать, Саша. Не надо!»

Увидеть, как исчезнет с лица его выражение замкнутости и напряженности, почувствовать, как он благодарно гладит ее руку, ощутить то состояние ясности и простоты в их отношениях, когда кажется, мои мысли—это твои мысли, мои желания—это твои желания, и я—это ты.

А что, если все будет иначе? Что, если откроет он глаза, а они будут холодные, чужие? Он с удивлением глянет на нее и на лице его проявится досада: потревожила сон. Нужны, скажет, мне твои нежности!

Может быть, тебе нужны ее нежности? Может быть, ты хотел бы, чтобы она тут сидела, возле тебя и утешала тебя?

Закусив от боли губы, Наталья стала одеваться. От порыва жалости и любви к мужу не осталось и следа. В конце концов не она виновата, что их отношения стали так искусственны и трудны. «Ну хорошо, ты любишь ее, но ведь я человек. Нельзя же так безнаказанно топтать во мне все живое!» — зло подумала Наталья.

Дойдя до участка, который сегодня предстояло описать, Наталья начала работу. Но сегодня и работа не ладилась. В рассеянности, думая о своем, Наталья пропускала растения. Не доверяя себе, она подолгу кружилась на одном месте, еще и еще раз проверяя себя.

Перед нею неотступно стояло лицо Александра Петровича, каким она увидела его сегодня. И это страдальческое лицо вновь заслонило все то обидное, что всколыхнулось в ней утром. Все, что терзало ее такой болью, отступило сейчас. Было только это лицо с горькими складками вдоль носа. И даже внезапно пришедшая в голову мысль о том, что у Александра Петровича не просто увлечение, а большая любовь, страсть лишь в первое мгновение причинила боль Наталье.

В следующее мгновение она уже думала о том, что если у Александра Петровича настоящая любовь, такая, какой он никогда не испытывал к ней, к Наталье, то имеет ли она право стоять на дороге к его счастью. Не лучше ли просто уйти, уступить.

На минуту Наталья представила себе, что она остается одна с детьми, а он будет где-то жить с другой женщиной бесконечно далекий и чужой, вычеркнувший ее из своей жизни. Представила и задохнулась от горя.

Нет, сама она не может отдать его другой женщине. И не дети тому причина, не боязнь, что они останутся без отца. Ей, ей самой он нужен. Как же ей жить без него, когда у ней не было ни дня, да что там дня, минуты не было, не связанной с ним!

И если дети имеют право на него, то она, двадцать лучших лет жизни прожившая с ним, разве она не имеет такого же права. Нет, пусть что угодно, она на все согласна. Пусть он не любит ее, пусть он любит ту, другую, только бы не было пустоты без него. Только бы она была уверена, что как бы поздно он ни пришел, как бы долго ни задержался в университете, вечером она снова увидит его, нальет ему стакан горячего чая, какой он любит, услышит, как он разговаривает с детьми, и, может быть, заговорит с нею.

«Только бы выдержать, только бы пережить все это», — шептала она, потирая горло. В горле стоял ком и мешал свободно дышать.

* * *

Как бы не было тяжело, Наталья ни с кем не говорила, никому не жаловалась. Зачем? Люди поахают, пожалеют, а дальше что? «Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу». Нет, уж лучше молчать, и Наталья молчала.

Но она не могла не думать о том, как относятся к случившемуся в экспедиции. Она знала, что все жалели ее и осуждали Манефу и Александра Петровича. Мысль о том, что отношения их стали предметом обсуждения, была мучительна. Нередко, когда она подходила к группе студентов, собравшихся в столовой или в лаборатории, замечала, как с ее приходом разговор вдруг обрывался, на лицах говоривших появлялось виноватое выражение. Наталья догадывалась, что говорили о них.

Смутившись, точно во всем была сама виновата, Наталья спешила уйти. Щадя ее самолюбие, никто кроме Любови Андреевны да Ольги Павловны не осмеливался заговорить с ней на эту тему. Да Денисов однажды нарушил этот запрет.

Он пришел к ней на участок, когда она уже кончала работу. Сел возле нее на сухую потрескавшуюся землю и спросил, что она думает делать дальше? Наталья поняла, что он знает все, и от него ничего не надо утаивать.

Наталья мучительно покраснела, начала было говорить и расплакалась.

Денисов сидел, слегка отвернув лицо, смотрел на одинокое деревцо, приткнувшееся у дороги, и словно не замечал ни слез, ни отчаянных усилий Натальи подавить их. Наконец, она успокоилась.

— Самое ужасное, Иван Иванович, то, — заговорила Наталья глухим и словно деревянным голосом, так не соответствующим тому о чем она говорила, — что все эти годы я жила только интересами Александра Петровича. Вот вычеркнул он меня из своей жизни и мне... мне нечем жить...

— Неправда! — резко, осуждающе, сказал Денисов. — Нельзя так говорить! И думать так нельзя! У вас есть дети, вы нужны им. Это большое счастье иметь детей, надо дорожить этим счастьем.

— Я понимаю, Иван Иванович. Я не должна говорить так, — умоляюще, горячо заговорила Наталья. Она испугалась, что Денисов неверно истолковал ее слова о нежелании жить.

— Я люблю детей, знаю, что нужна им. Знаю, что если уйдет от них отец, они останутся со мной. И останутся не потому, что больше любят меня, а потому, что дети чутки и всегда на стороне обиженных.

Она помолчала.

— Да... пока я нужна детям. Но не всегда же я буду нужна им. Вырастут, оперятся, начнут вить свои гнезда. А я куда? Что делать мне? Что?

Наталья спрашивала настойчиво, точно оттого, что скажет Денисов, зависела ее жизнь.

Денисов молчал. Трудно отвечать на такие вопросы. Ну вот, что скажешь ей? Чем умеришь боль? Станный народ эти женщины. Проживут замужем десять, пятнадцать, двадцать лет, а то и всю жизнь и вдруг спохватятся, что не так прожили ее. А время упущено и поздно начинать жизнь сначала. Сколько их таких. Ну эта хоть детей вырастила. А другие, которые не имеют и не хотят иметь детей? Что они думают?

Николай Островский сказал:

«Если личное занимает в человеке огромное место, а общественное — крошечное, тогда разгром личной жизни — почти катастрофа. Тогда у человека встает вопрос: Зачем жить?»

Натаалья выжидающе смотрела на Денисова, что он скажет, а он потянулся сорвать какую-то былинку, повертел ее в руках, потом протянул Натаалье.

— Вы знаете это растение. Это Агропирум репенс, пырей, типичный злак. Ему бы расти где-нибудь на лугу, в разнотравьи, а он растет здесь, на солонце.

— Ну и что же?

— Ну и растет, живет, хоть почва для него горькосолена. Нашел в себе силы... Денисов помолчал, в раздумье, покусывая былинку.

— И поверьте мне, Натаалья Михайловна, жизнь уж не так сложна, как мы порой представляем себе. Проще надо смотреть на вещи. Ну увлекся, ну разлюбил. Трудно. Больно. Понимаю. Все понимаю. Но жить-то надо? Детей-то до дела доводить надо? Ведь скидок нам не дадут на то, что, мол, было трудно, не ладили между собой, а спросят, какими вырастили их. И детей пожалеть надо. Зачем ранить их душу? Насчет того, с кем они останутся, — Денисов вздохнул, — не надо так ставить вопрос. Они должны быть и с вами и с Александром Петровичем. Я думаю, пока нет оснований говорить об этом. Александр Петрович любит детей, привязан к вам.

— Нет, он сказал, что ненавидит меня!

— Небошь, сказал это в пылу запальчивости. Не так ли? Вы же сами его хорошо знаете, Натаалья Михайловна, не мне говорить вам о том, что он может сказать необдуманно, а потом сам пожалеть об этом. Он любит вас, Натаалья Михайловна. Да иначе и быть не может. Нельзя прожить с человеком столько лет и остаться к нему равнодушным. Пусть это будет не та любовь, что была в молодости, но она перешла в другое, не менее красивое чувство. А в его любовь к Манефе Юрьевне не верю я. Слишком разные они люди.

Натаалья сидела, опустив голову. Все это так, думала она. Разумом она была согласна с Денисовым насчет красоты нового чувства и прочее. Но достаточно было ей подумать о том, что чувство, которое когда-то у Алек-

сандра Петровича было к ней, сейчас отдано другой женщине, и жаркая обида захлестывала ее.

— Вот вы сказали: «Вычеркнул меня из жизни, и мне нечем жить». Сознайтесь, глупая фраза. Чепуха! И сказали вы ее не то что не подумав, а просто она понравилась вам, облюбовали вы ее. И фраза-то эта не ваша, а из какой-нибудь дешевенькой мелодрамы. Слышали ее когда-нибудь, запомнили, а сейчас решили, что пришлась кстати.

И потом я не пойму, Наталья Михайловна, почему вы должны жить только интересами своего мужа. Разве у вас не может быть своих интересов? — снова после некоторого молчания заговорил Денисов, — дети, книги, работа, наконец, работаете же вы сейчас и дальше могли бы работать. Я меньше всего склонен видеть в вас чеховскую «Душечку».

— Не все ли равно, Иван Иванович. Душечка... Суламифь... «Твой дом — мой дом».

— Э-э, нет! Далеко не все равно. Надо чтобы «твой дом» не перестал быть «моим домом». Зачем же такое отрешение. Кому нужна такая жертва? А вы грешите этим. Не так ли?

Наталья кивнула головой. Она была согласна с Денисовым. Действительно, «ее дома» не было, был только «его дом». А она в этом доме выполняла какую роль?

Оба сидели задумавшись. Вдруг в стороне от них поднялся с земли стрепет. Он описал в воздухе плавный полукруг и где-то далеко упал камнем в траву. Денисов проводил его долгим взглядом.

— Стрепет, — сказал он как-то особенно проникновенно, точно прислушиваясь к звучанию этого слова, — птица целинной степи. Недаром Докучаев на обложке своей книги: «Наши степи — прежде и теперь» просил нарисовать стрепета. Для него эта птица была символом возрождения степи.

Наталья посмотрела туда, где упала птица. Символ... И тут же с горечью отметила про себя, что Александру Петровичу и в голову не пришло бы усматривать в этом стрепете какой-то символ. Для него стрепет есть стрепет. Тетракс тетракс, как его именуют полатыни. Обыкновенная степная птица из семейства дроф, которую можно подстрелить и сделать из нее прекрасный ужин.

— Договорились, Наталья Михайловна! — сказал Денисов, поднявшись с земли и помогая подняться Наталье. — Больше веры в себя. Жизнь богата. В ней много всего: и хорошего и плохого. Но хорошего больше. В это надо твердо верить. Я верю. Верю, что у вас с Александром Петровичем все будет хорошо.

Денисов сейчас мог пообещать Наталье любую помощь, лишь бы облегчить ее страдания. Он чуть было не сказал, что не допустит разрыва между ними.

Манефу Юрьевну Денисов не жалел. «Если она и любит,—думал он, все-таки для нее потеря любимого человека не может быть так тяжела, как для Щербинской».

Наталья молча шла рядом с Денисовым и думала о детях, о муже, который еще накануне выехал в город. Как-то там дома?

* * *

Домой Александр Петрович приехал рано утром. У него был свой ключ от квартиры, и он вошел неслышно. Девочки и Юрка еще спали.

Александр Петрович заглянул в комнату девочек, постоял в ней и пошел было к себе, но проснулась Таня. Она подняла взлохмаченную голову с подушки, увидела отца и с криком: «Папа!» спрыгнула с кровати и бросилась ему на шею.

— Здравствуй, здравствуй, Танюша! — растроганный встречей говорил Александр Петрович, целуя Таню в пушистые волосы. Проснулась Лена, смущаясь своей короткой рубашки, она подошла к отцу и поцеловала его. Из кабинета вышел Юрка. Он подошел и по-мужски, крепко пожав руку отца, сказал:

— Здравствуй, папа! Ты совсем?

— Всего на два дня.

— А мама скоро приедет? — в голос спросили девочки.

— Не скоро еще.

Лица девочек вытянулись.

— Ну-с, хозяйюшки, умывайтесь, одевайтесь и будем завтракать! Есть хочу-у-у!

Девочки переглянулись и смущенно засмеялись.

— Понимаешь, папа, на завтрак ничего нет и денег тоже нет, — сказала Таня с веселой улыбкой.

— Вот так, так, — озадаченно сказал Александр Петрович. Разве мама не оставила вам денег?

— Деньги были и вполне достаточно, но все вышли.

— Они, папа, не вылезали из кино и по десять порций мороженого ели, — насупясь, сказал Юрка.

Девочки расхохотались.

— Нет, понимаешь, папа, это было замечательно. Мы однажды с Леной пять сеансов высидели в кино. Два раза подряд посмотрели «Глинку». Чудная вещь! Ты не видел? Посмотри обязательно. Потом вышли из кино, Лена говорит: «Давай купим еще билеты на «Глинку». Купили. Смотрели в третий раз. Потом побежали в кино «Комсомолец», там шла «Девушка с характером». Посмотрели «Девушку с характером». А вечером пошли на киноплощадку и смотрели: «Волга-Волга». Пришли домой, а Юрка сидит голодный, злой. Хорошо еще, что догадались купить по дороге хлеба и помидоров.

— Они так обеда и не готовили. Утром помидоры, в обед помидоры, вечером помидоры.

— Ну, вот еще! Стоило жариться у плиты в такую жару! То ли дело скушать мороженого! Правда, Таня... — многозначительно посмотрев на сестру, сказала Лена, и они снова расхохотались, вспомнив какую-то веселую подробность этого дня.

— Но ты, папа, не сердись, мы потом стали благоразумнее, — сказала Лена, видя, что отец недовольно хмурится.

— А если бы я не приехал, что бы вы стали делать без денег? — спросил Александр Петрович.

— А у нас есть немножко крупы «Геркулес», варили бы кашу! — беспечно сказала Таня.

— Они меня на этой каше уже третий день держат, точно я грудной младенец, — жаловался Юрка. — Живот совсем подтянуло.

Но не видно было, чтобы Юрка голодал. Наоборот, Александру Петровичу показалось, что Юрка вырос и раздался в плечах за эти два месяца. Нос его облупился, волосы и брови выгорели на солнце. «Пропадает, наверное, на Волге целые дни, утонет еще!» — подумал Александр Петрович и недовольство Натальей шевельнулось в нем. Хороша мать, уехала, бросила ребят, когда для них как раз сейчас важно организовать летний отдых.

И питаются безалаберно, и режима никакого нет, и в квартире ералаш. Черт знает, что такое! Не обошлось бы там без нее! Подумаешь, вклад в науку сделает!

В своем раздражении Александр Петрович забыл, что согласился на участие Натальи в работе экспедиции. Больше того, сам уговаривал ее, когда она колебалась. Забыл и о тех доводах, которые приводил тогда: «Не маленькие! В их годы семью содержат!»

И хотя раньше он часто упрекал себя в том, что целиком сложил на Наталью и детей и хозяйство, сейчас ему казалось уже, что он всю жизнь был несчастлив с нею. И несчастлив именно потому, что чувствовал в ней постоянный порыв, нежелание ограничиться только им, кухней, детьми.

И хотя Наталья никогда не жаловалась на свою жизнь, на которую он ее обрек, и окружила его заботой и вниманием, он инстинктивно чувствовал, что она не довольна.

Наблюдая, как она с отсутствующим взглядом ходила по квартире, механически выполняя нудную домашнюю работу и как оживлялось ее лицо, когда, наконец, покончив со всеми делами, надев шляпку, она говорила ему:

«Я пошла, Саша, в библиотеку. Дети напоят тебя чаем».

И кричала в детскую: «Девочки, в восемь часов не забудьте дать папе чай!» Он с досадой думал: «И что ей надо! Тысячи женщин в ее положении вполне довольны своей жизнью, своей судьбой!»

Сразу же после завтрака Александр Петрович уехал в областное Управление по насаждению государственных защитных лесных полос.

Из территориального управления, где у него был очень неприятный разговор с начальником управления, считавшего, что Александр Петрович слишком большой крен берет в сторону отрицания гнездового посева, Щербинский приехал в университет на заседание Ученого совета. Совет кончился поздно. Приехав домой, Александр Петрович прошел к себе в кабинет, сел на диван и закрыл глаза. И снова, как всегда, когда он оставался один, мысли о Манефе и Наталье обступили его. Он понимал, что долго так продолжаться не может, что рано или поздно он должен будет сделать выбор. Иногда он

почти уже решал для себя, что уйдет к Манефе. Это бывало в дни, когда его особенно тянуло к ней. Но, решив, что уйдет, Александр Петрович вдруг пугался этой мысли.

Ну, хорошо... Он уйдет к Манефе, а как же дети, Наталья? Ведь встречи с ними в одном городе неизбежны.

Александр Петрович глубоко вздохнул. Нет, он должен уехать. Но куда? Здесь работа, прочно налаженные связи. А там? Начинать все сначала? Да и над чем он будет работать на новом месте? Ведь все его помыслы все чаяния и надежды связаны со степью. Нет, он не может уехать. Это выше его сил! Но если остаться, тогда что? И снова мысли Александра Петровича как по заколдованному кругу шли от Натальи и детей к Манефе, к работе, к необходимости уехать и к невозможности сделать это.

А как отнесутся дети к его уходу? Этот вопрос впервые пришел ему в голову.

Ему казалось, что Лена должна была осуждать его. Она не будет анализировать почему все так случилось. Оскорбленная за мать, она не простит ему обиды. Таня будет недоумевать, как же могло случиться, что отец, которого она так любит, уйдет от них. Юра глубоко спрячет в себе оскорбление, как мужчина, постарается сделать вид, что ничего особенного не произошло.

Сам Александр Петрович теперь тоже по-разному относился к детям. Перед Леной ему было неловко и стыдно. Таню ему было жаль до слез. Перед Юркой он чувствовал себя виноватым. Он слишком сух был с ним всегда, и мысль, что этой оплошности уже не исправить, тоже была мучительна. Кроме того, какой пример подавал он сыну. Конечно, Юрка еще мал, чтобы правильно разобраться в сложности человеческих отношений. Но когда придет его пора, не будет ли он слишком легко решать для себя эти вопросы. Ведь тяжелая борьба, которую сейчас ведет отец с самим собою для него так и останется тайной, и он примет только голый факт. Ему вспомнилось, как они с Натальей ждали первого ребенка. Наталья, наверное, и теперь не подозревает, как он был разочарован тем, что родился не сын и второй раз тоже он ждал сына, а родилась Таня. Зато как был горд он, когда, наконец, они дождались Юрки.

Кто знал, что именно с Юркой-то у него и не получится той близости, что должна была быть между сыном и отцом. Вероятно, все-таки он больше виноват в том, что не получилось. Что взять с мальчишки. Если бы он сам не был с ним так сух и замкнут, и Юрка был бы другой, не было бы в нем этой скрытности и скованности в отношениях с отцом. Ведь не припомнить такого случая, чтобы он, придя домой, направился сразу к отцу в кабинет. Нет, он шел к матери в кухню, и отцу слышно было из своего кабинета, как он оживленно рассказывает ей о чем-то. Достаточно было отцу войти и спросить, о чем он рассказывает, как Юрка, утратив все свое оживление, неохотно говорил:

«Да ребята вот такого сома поймали!» — и тут же выходил из кухни.

Сознание непоправимости отношений с сыном было тяжело. Захотелось сейчас же сделать что-то такое, что изменило бы отношение Юрки к нему. Желание видеть Юрку толкнуло его в детскую. Тихо подошел к кровати и как вкопанный остановился. Во сне лицо Юрки было детски безмятежно. Рыжие густые ресницы чуть вздрагивали, на тонкой мальчишеской шее билась, пульсируя, жилка.

Острая нежность, жалость к сыну сдавили грудь. Комок подступил к горлу. Чтоб не разрыдаться, Александр Петрович поторопился уйти.

Он не видел, как Лена, подняв голову с подушки, проводила его взглядом, и, когда он, погасив свет, вышел из детской, беззвучно заплакала. Даже матери не признавалась она, как мучительна для нее была холодность отца к Юрке.

ГЛАВА VIII

Нестерпимым зноем полыхает степь. Иссушенная солнцем и горячими ветрами лежит земля точно раскаленная плита. Глубокие трещины бороздят ее, редкие кустики полыни седеют на ней.

И так накалена земля, таким жаром пышет от нее, что и эта чахлая полынь здесь кажется чудом. Безоблачно небо, белесое в мареве зноя, неподвижно солнце, и негде укрыться от палящих, сжигающих лучей его. Кругом голая, выжженная степь.

У Валерки, копающего яму для почвенного разреза, взмокла на спине рубаша. То и дело вытирает он пот со лба, а пот крупными каплями стекает и повисает на ресницах слезами. Не смахнешь этих слез, едкой пеленой застилают они глаза.

Нет, нет да и посмотрит Валерка на солнце, а оно ни с места. Точно кто гвоздями приколотил его к небу.

«Должно часа четыре не больше», — думает Валерка, и вздохнув, плюет на ладони и снова принимается долбить бурюю каменистую почву.

Ну и земляца! Кайлом не возьмешь ее, не только что лопатой. Бывало в Сибири мать сделает гряды, а они пухлые, как перины, по локоть рука тонет в них.

Валерка недавно приехал из Сибири, отца его потянуло на старые места, где жили деды и прадеды. Но Валерке не понравилось здесь.

— То ли дело Сибирь, леса-то какие. Неделю будешь ехать, две недели будешь ехать, а им конца-краю нет. А тут что, веника и то не из чего связать. Однако и здесь леса будут, Иван Иванович зря не скажет, — думал Валерка.

Отца у Валерки не было. Он умер два года назад вскоре после того, как они приехали сюда из Сибири. Одних ребят в семье было шесть человек. Когда умер отец, старшей сестре Валерки было 18 лет, младшему братишке — четыре года.

Скоро семья еще увеличилась на одного человека. Сестра Анька принесла в дом ребенка. Мать долго не могла простить ей этого, но в конце концов смирилась и даже привязалась к толстому шустрому карапузу.

Со смертью отца мать очень постарела. Тяжелым бременем легла на ее плечи большая семья. Но видно, не так просто было сломить сибирячку. Несмотря на проседь в волосах, все так же прям, негибачем был ее стан и тяжелая рука, привычная на работу и на крутую расправу.

На лесозащитной станции она работала в строительной бригаде. Везила бревна на быках, рыла землю под фундамент, делала саман. Была жадная на работу и бралась за любое дело, подсильное разве только мужчине.

Дома никому не давала поблажки, даже старшим ребятам.

Валерке тоже нередко доставалось от матери. Снисходительна она была только к старшему сыну Андрею.

Он кончил в этом году курсы трактористов и зарабатывал больше всех в семье.

Свой заработок он приносил в дом. Отдавая матери все до копейки, он говорил только: «Мамка, может трешку пожертвуешь мне!»

— Куда тебе? — строго поджав губы и пересчитывая деньги, спрашивала мать.

— Да может, кино привезут.

— Вот, когда привезут, тогда и дам! — и убирала деньги подальше.—Охо-хо! Идет зимушка-зима. Сколько надо одежды пошить! Сколько обуви купить на весемь-то пар ног!

Ей было действительно трудно. Вот почему, когда Валерка, которому инспектор запретил работать прицепщиком, сказал ей, что будет работать в экспедиции, она вначале обрадовалась, а потом с недоверием спросила:

— Платить будут или задаром будешь работать?

Валерка вспыхнул, гневными глазами посмотрел на мать и крикнул дрожащим от обиды голосом:

— Если все так будут рассуждать, никакого коммунизма не построить!

Мать оторопело посмотрела на сына и сказала виновато:

— Да ведь я это, Валера, к тому сказала, что сапоги тебе купить надо к школе, старые-то хоть сейчас выбрось.

Ничего не ответив матери, Валерка сорвал с гвоздя кепку, натянул ее по самые уши и выскочил на улицу. Мать припала к окошку, поглядела вслед. Перед глазами ее мельтешили пятки сына со следами въевшейся грязи. Охо-хо, брючишки-то совсем коротки стали и рубаха узка в плечах...

Вот и вырос сын, вот и уходит от матери, так и не поняв ее, не поняв, что ради них ушла она в тесный мир забот и хлопот о маленьком благополучии. Не видела она того, что творилось на белом свете, не заметила, как сын вырос, и тесны стали ему рамки созданной ею жизни.

— Ох, строитель ты, строитель! — прошептала мать и, сев на табуретку, задумалась.

И она бывала на собраниях и слушала доклады на политические темы, но ей всегда казалось, что коммунизм строят другие, она же только работает, работает, чтобы накормить, одеть, обуть своих «голопузых». Сейчас ей

впервые пришла в голову мысль, что, работая, на себя и на детей, она работала вместе с тем и на коммунизм. А почему бы и нет, ведь вырастила же она такого сына, который не сомневается в том, что коммунизм будет построен....

У Валерки было много обязанностей в экспедиции: ставить ловушки с зоологами, копать ямы, если больше копать их было некому, отвозить почту к поезду и много других дел.

Александр Петрович, когда представлял его кому-нибудь из приезжих, всегда говорил:

«А вот Валериан Анисимович, очень полезный член нашей экспедиции...»

Недалеко от Валерки работала Манефа Юрьевна, описывала почвенный разрез. Если бы Валерке не надо было поторапливаться с этой ямой, — Манефа Юрьевна должна сейчас перейти на нее, — он пошел бы и помог ей описывать разрез. Валерке нравилось делать это.

В таких случаях сама Манефа Юрьевна, свесив ноги, сидела на краю ямы и записывала в журнале, а Валерка стоял в яме и выполнял все то, что она ему велела сделать. Сначала он хорошенько подравнивал переднюю стенку разреза, чтобы на нем отчетливее видны были почвенные горизонты. Потом опускал вдоль стенки сантиметр и держал его, выжидательно глядя на Манефу Юрьевну. Прищурившись, она долго вглядывалась в темные и светлые полосы, в пятна на почвенном разрезе, потом в раздумьи говорила:

— Так, Валерка... Здесь мы наметим следующие горизонты: А прим... В прим... В два...

Слова Манефы Юрьевны звучали как заклинание, но Валерка знал уже, что «А» это верхний горизонт почвы, «В прим» — столбчатый, что есть еще горизонты «С прим», «С два» и дальше.

Затем Манефа Юрьевна спрыгивала в яму и резко очерчивала концом ножа один горизонт от другого.

— Ну, а теперь давай описывать, — говорила она, закончив с разметкой горизонтов. Снова садилась на край ямы и передавала Валерке широкий нож, которым он отколупывал от каждого горизонта комочки почвы и подавал их Манефе Юрьевне. Разминая комочки в пальцах,

она определяла механический состав, структуру, цвет почвы и все это заносила в полевой журнал.

— Ну, Валерка, давай на вскипание...

Определять вскипание Валерке нравилось больше всего. Он брал бутылочку с соляной кислотой и пипеткой капал ее на почву в разных местах горизонта, пока, наконец, на какой-то определенной глубине почва не закипала от действия соляной кислоты, и на поверхности ее на появлялась шапочка пены.

— Так... вскипание на глубине двадцати сантиметров... отмечала Манефа Юрьевна в журнале. — А теперь, Валерка, давай описывать следующий горизонт «Б два»... Сыроватый, грязно-бурый, плотный... записывала она, то и дело вглядываясь в стенку разреза. — Структура... Ну-ка, отколупни, Валера, комочек! Структура орехово-призматическая... Гумусовое прокрашивание по граням структурных отдельностей... Тяжелый суглинок, есть корни растений...

— Немного! — уточнял Валерка, он знал уже, что обязательно надо отмечать количество корней.

— Запишем: «немного». Встречается белоглазка на глубине... Валера, отмеряй глубину залегания белоглазки...

Валерка с готовностью прикидывал сантиметром от поверхности почвы до появления белых вкраплений — скопления солей в почве, — и говорил:

— Глубина залегания белоглазки тридцать сантиметров.

Он горд был тем, что выполняет такое важное дело, как определение глубины залегания белоглазки. Ему казалось, что он занимается научной работой подобно Манефе Юрьевне, Денисову и другим и что от того, насколько точно он определит глубину залегания, зависит, вырастет или не вырастет лес в степи. А вдруг он чего-нибудь напутал. Валерка пугался мысли, что вдруг лес по его вине не вырастет и, слегка переместив сантиметр, говорил:

— Однако тридцать два сантиметра...

«Однако» по-сибирски «кажется», «как будто». Валерка до сих пор не мог отвыкнуть от этого слова, хотя многие в том числе и Манефа Юрьевна и высмеивали его.

— Тридцать сантиметров! — говорила Манефа Юрь-

евна, спрыгнув в яму и, измерив сама, поскольку глубина залегания белоглазки оказалась спорной.

Так описали они много ям. Если поднажать, — думал Валерка, — то можно успеть описать и эту яму. Он поплевал на ладони и с удвоенной силой принялся копать. Земля то и дело взлетала над ним. По обе стороны от ямы вырастали большие кучи земли. Скоро они совсем скрыли Валерку.

* * *

Жарко. Воздух горяч, даже зноен. Во рту сухо, трудно дышать. Все живое истомилось по влаге.

Небо синее, по нему лениво плывут белые пушистые облака. Наплывая, сливаясь, облака становятся большими и грозными. Вокруг все замирает, точно прислушиваясь к чему-то. Только птичка в траве тревожно выводит свое назойливое: «пи-пи-пи-пи». В напряженной тишине прокатился глухой, далекий еще раскат грома.

— Быть грозе! — сказал Александр Петрович, выпрямляясь и вытирая пот со лба. Он работал сегодня вместе со всеми на прополке опытных участков.

Сдвинув соломенную шляпу на затылок, он стоял и с радостным ожиданием оглядывал небо. Рукава его белой сорочки были закатаны до локтей, на спине она смокла от пота, и когда тянуло ветерком, Александр Петрович довольно поводил плечами, ощущая приятный холодок.

Дождя надо... И хорошего дождя. Почва такая сухая, что мотыга звенит, когда разбиваешь комья, и пыль столбом поднимается. Дубки стоят слабенькие, поникшие, листочки их вяло полощутся на ветру. Зато сорнякам ничего не делается. Они буйно разрослись на делянках и вот, вот задуют дубки, хотя идет уже вторая прополка.

Но вот упали первые капли дождя. Крупные, они шлепались на пересохшую землю и моментально впитывались ею. Дождь вначале тихо, несмело зашуршал по траве, потом припустил сильнее.

Александр Петрович приказал всем оставить работу и садиться в машину. Надо было до того, как развезет дорогу, выбраться из степи.

— По ко-оням! — раздался отчаянно веселый мальчишеский голос. Володька, втянув голову в плечи, ежась от капель, попавших за ворот, что есть силы бежал к

машине. На плече его громыхали тяпки. За ним бежали и остальные. С шумом, с хохотом все ввалились в машину, довольные и передышкой в работе и тем, что пошел, наконец, долгожданный дождь.

— Готово что ль! — высунувшись из кабины, спросил Тимофей Алексеевич. Он стоял одной ногой на подножке и, держась за раскрытую дверцу, смотрел в кузов.

— Готово, Алексей Тимофеевич!

Александр Петровичу, который сидел в кабине, слышно было, как в машине запели. Он представил себе как, должно быть, сейчас весело, уютно там наверху. Дождь стучит над головами о брезент, пахнет бензином, сыростью и чуточку пылью, как всегда пахнет, когда долго не было дождя. В машине полумрак оттого, что спущено заднее полотнище брезента. Все сидят, плотно прижавшись один к другому, встряхиваясь, как грибы в кузове, когда машина подпрыгивает на ухабах.

Как бы хотел он быть там в машине и вместе со всеми бездумно орать песню, наслаждаясь и этой тряской и самой песней, и дождем, которого он так долго ждал и который сейчас барабанит над головой, и близостью Манефы.

Глядя в мутное стекло перед собою, через которое ничего нельзя было различить, потому что текли по нему как слезы струйки дождя, Александр Петрович думал о Манефе. Как жалел он сейчас, что не был свободен, что вынужден был скрывать свою любовь к ней. Какое счастье быть молодым, держать любимую за руку, не таясь ни перед кем, открыто смотреть всем в глаза, а главное, не испытывать той двойственности, которая не оставила даже в самые счастливые минуты.

Дождь поливал все сильнее и сильнее и разразился настоящим ливнем, с громом и молнией, как и положено хорошему летнему дождю. Он с силой обрушивался на истомившуюся от зноя почву и, казалось, хотел вознаградить ее за долгую жажду, напоить до отказа. Мутные желто-бурые потоки стремительно неслись по дороге.

На усадьбе лесозащитной станции бегали под дождем ребяташки. Засучив штаны выше колен, они с наслаждением шлепали по лужам и хором, самозабвенно кричали:

«Дождик, дождик пуще, дам тебе гущи...»

Машина остановилась возле лаборатории, и все приехавшие перебежали туда.

Вскоре ливень стал понемножку стихать и совсем затих. Запоздалые капли его еще шлепались в лужи, поднимая всплески на поверхности воды. Но люди не расходились. Радостное настроение, вызванное дождем, удерживало всех вместе.

Из окна лаборатории видно было, как в плаще и в резиновых сапогах прошел мимо директор лесозащитной станции Башкиров, направляясь в степь.

Не выдержало ретивое хозяйское сердце Башкирова, не терпелось директору посмотреть, как глубоко промокла почва, не наделал ли беды долгожданный ливень.

В лабораторию вошел Денисов. Он только что вернулся со своей партией с другого участка, но успел уже переодеться в сухое. Волосы его были еще мокры и гладко зачесаны назад, и весь он от этого казался какой-то мягкий и забавно прилизанный.

— Ну-у-у, я тебе скажу, и ли-и-вень же! — весело сказал он Щербинскому. — До нитки вымокли! А тут еще едва выбрались с машиной. Ты знаешь, что в Длинной балке творится? Вёрхом вода идет! Теперь дубки в рост пойдут! Возьмут свое!

— Придется объявить аврал, Иван Иванович, — сказал Щербинский. — Всех бросить на прополку и рыхление. Иначе дождь пройдет впустую. Дубок пропадет.

— Ну что ж, аврал так аврал!

— Только, Иван Иванович, уговор! Никаких исключений. Все, так все на лесополосы!

— И Варно ты тоже заставишь мотыжить? — с любопытством, спросил Денисов. Вопрос Денисова о зоологе был не случаен. Сергей Львович Варно прослыл в экспедиции белоручкой, человеком, который не прочь был загрести жар чужими руками. Поэтому в экспедиции его все не любили.

* * *

Отшумел ливень, бурными потоками унеслась вода в овраги и балки, и утро следующего дня встало солнечное ясное. Омытое дождем, синело небо. Зелень казалась яркой. Под лучами солнца земля лежала жирная, влажная. Зыбко струились над ней стеклянно-прозрач-

ные токи. Это уходила вода из почвы. Надо было срочно рыхлить образовавшуюся корку.

— Она, эта корка, сейчас как фитиль в лампе, сосет и сосет влагу, — озабоченно говорил Башкиров.

В степь на лесополосы были брошены все силы станции: и люди, и техника, но дело шло медленно. Культиваторы рыхлили почву только в междурядьях, оставляя с той и другой стороны в рядах «запретную зону» в двадцать сантиметров. В гнездах же приходилось рыхлить почву по-старинке, мотыгой. На это требовалось людей в десятки раз больше, а людей не было.

— Эх, когда только мы изживем эту мотыгу! — говорил Башкиров, нервно ероша свои жесткие, как проволока, волосы.

— И ты понимаешь, Иван Иванович, какая нелепая вещь получается, — обратился он к зашедшему в кабинет Денисову. — Человек изобрел сотни умных машин, арифмометр, например, умственную же работу выполняет! А мы, стыдно сказать, используем для обработки гнезда мотыгу. Мотыгу! Которой несколько тысяч лет тому назад ковыряли землю!

Денисов осторожно спросил, как обстоит дело с прыгающим культиватором, который предложила Камышинская лесозащитная станция, и который должен был решить проблему обработки почвы в гнезде.

— Какой там к черту культиватор, когда он до тридцати процентов дубков подрезает. Избави бог от такого помощника! — зло ответил Башкиров.

— Заладили, понимаешь, гнездовой посев, да гнездовой посев, а того не поймут, что ни машин для обработки гнезда нет, ни людей, чтобы его обработать вручную. У меня, понимаешь, процентов двадцать пять есть площадей, которые ни разу не культивировались и не потому, что директор не радив, а потому, что это свыше его человеческих сил!

Башкиров бросил на стол папку с бумагами, которую вынул из стола. Видно было, что накипело у него на душе. Гнездовой метод оказался плох. Это удручало Башкирова. Еще более удручало его то, что он обязан был этим плохим методом засеять тысячи гектаров леса, заранее зная, что ничего из этой затеи не выйдет и зря он выбрасывает на ветер миллионы рублей.

— Я коммунист, Иван Иванович! Я не могу... Я пре-

ступником себя чувствую... Понимаешь ты...? В голосе Башкирова чувствовалось отчаяние.

Да, Денисов прекрасно понимал Башкирова. Понимал, что тот, неся ответственность за тысячи гектаров дуба на гослесополосе, за создание этой полосы в срок, не мог оставаться спокойным.

«Трудно ему!» — подумал Денисов и повернулся к Башкирову. Чтобы ободрить его, хотелось сказать:

«Больше веры в себя, товарищ! Больше веры! Именно потому, что ты коммунист, ты и должен бороться!»

Но нет, не терпел Денисов громких фраз. Не получались они у него... Да и Башкиров вряд ли нуждался в них. Поэтому Денисов спросил только:

— Тебе говорил Щербинский, что собирается писать докладную записку в Министерство по поводу гнездового посева?

Башкиров махнул рукой, как бы говоря: «Э-э-э, плетью обуха не перешибешь!» Но вслух сказал:

— Обеими руками подпишусь под ней, лишь бы толк был!

— Алексей Иванович! Комсомольцы едут! — радостно сообщила секретарша, приоткрыв дверь кабинета.

Башкиров вскочил из-за стола. Комсомольцев, которые должны были приехать, чтобы помочь станции справиться с уходом за лесополосами, он поджидал с утра.

— Пошли встречать, Иван Иванович! — сказал он и выскочил на крыльцо, как мальчишка.

Машина уже спускалась с пригорка. Комсомольцы пели:

«Смело-о-о мы в бой пой-й-дем!..»

Ветер относил песню, рвал ее, и до Башкирова и Денисова вновь и вновь долетали только эти слова: «Смело мы в бой пойдем!»

— Поют, черти! — растроганно сказал Башкиров, и по его счастливо-оживленному лицу Денисов понял, что вспомнил директор свою юность.

Возле конторы машина остановилась.

— Здорово, орлы! — крикнул Башкиров, сходя с крыльца.

— Здравствуйте! — нестройно ответило несколько голосов, и ребята один за другим стали переваливаться за борт машины.

После завтрака комсомольцев отвезли на первый производственный участок. Участок был лучшим на станции и считался комсомольским. Башкиров с Денисовым тоже поехали посмотреть как идет работа.

Справа от дороги по полосе медленно шел трактор. Шесть борон «зигзаг» тащились за ним, оставляя позади себя темную полосу свежевзрыхленной почвы.

Башкиров кивнул головой в сторону агрегата:

— Мощь-то какая! А! Сразу полполосы захватывает, тридцать метров! Обратно пойдет — другую половину накроет. Красота-а-а! Это не то, что бывало, мальчишкой боронил на лошади, сидишь на ней верхом, погоняешь, а сзади одна боронешка тащится, подпрыгивает, корневища отса на зубья наматывает.

Глаза Башкирова оживленно блеснули.

— Ну как, Сеня! Идет работка! Идет! — крикнул он трактористу, хотя совершенно ясно было, что тому все равно ничего не было слышно за гулом трактора.

Башкиров был уже в отличном настроении. Его радовало, что погода после вчерашнего ливня была хорошая, без жары и ветра, а главное радовало то, что с людьми стало полегче.

Вслед за комсомольцами приехали из города домохозяйки, а завтра должна была прийти машина с шефами. Директор бодро посматривал по сторонам.

— Иван Иванович! Видишь вон там маленькое понижение по профилю..?

— Вижу.

— Понижение — и лес растет. Нашел свое место. Я считаю, первое время надо осваивать только эти понижения. А мы, понимаешь, лезем на косогоры, на солонцы, лезем с большими массивами... Ничего из этой затеи не выйдет. Эх, сказали бы мне: «Вот тебе, Башкиров, земля, вот тебе люди, вот тебе техника, сажай и сей, как знаешь». Я бы им тут такие леса вырастил, что ахнули бы! И без всякого гнездового метода!

Комсомольцы работали на полосе, где еще утром прошелся культиватор. Но он взрыхлил только междурядья, оставив ряды дуба нетронутыми. Заросшие сорняками, они гигантскими зелеными змеями протянулись по влажной земле. Комсомольцы шли по рядкам и мотыгами рыхлили почву между дубками, подсекая под корень сорняки. Позади ряды дуба оставались чистыми. На темной

и влажной после рыхления почве дубки видны были отчетливее. Подсеченная под корень трава успела уже подвянуть. Она лежала бессильная, распространяя горьковатый запах.

— Видишь! — сказал Башкиров Денисову, кивнув головой на работающих комсомольцев. — Техника-то у меня мощная: и культиваторы и сажальные машины Чашкина и маркеры и чего только у меня нет, даже бульдозеры есть. А как дошло дело до обработки гнезда, так я должен всю эту технику поставить на прикол, а сорнячки дергать вручную. Ходи, да дергай! Ходи, да дергай! Истину: будет влага, будет и лес, мы и без вас знаем, товарищи ученые! А вот попробуйте удержать ее в почве голыми руками!..

Говоря «товарищи ученые», Башкиров имел в виду Варно, считавшегося теоретиком гнездового посева леса.

— Если бы не комсомольцы, да не школьники, на которых только и выезжаем, совсем «попухли бы» Вон они как работают! Орлы!

Денисов оглядел комсомольцев. Они были в майках а некоторые даже майки скинули с себя.

«Не сожгли бы себе спины!» — подумал Денисов и направился к ребятам, чтобы предупредить их.

Когда он и Башкиров вернулись на усадьбу и направились к конторе, к ним подбежал мальчуган лет десяти, сынишка Башкирова. Такой же смуглый, черноголовый как отец, с такими же чуть раскосыми глазами.

— Папка, мама велит сейчас же идти обедать!

— Тьфу, черт! Забыл совсем! — сказал Башкиров, вытирая лоб большим клетчатым, не совсем свежим платком. — Будь друг, пойдем пообедаем, — пригласил он Денисова таким тоном, точно предлагал ему разделить с ним досадную необходимость. Они пошли к дому Башкирова.

Ступеньки крыльца были чисто выскоблены, видно было, что их совсем недавно вымыли. Запах нагретой на солнце смолы и свежeweымытого пола, от которого стоял в сенях пареж, ударил им в нос. Дверь в комнаты была открыта. Плотная занавеска от мух висела на ней.

— Леша! Ты, что ли?

— Я, мать, — ответил Башкиров, вытирая запылившиеся сапоги о мешковину, брошенную у порога.

— Это до каких же пор будет? Жду, жду...

— Погоди, мать, не ругайся. Гостя привел! — Башкиров откинул занавеску, пропустил вперед себя Денисова. Они оказались в кухне.

У плиты стояла женщина. Свободный халат, надетый на ее крупное сильное тело, не скрывал большого живота беременной. Денисову бросились в глаза густые черные брови и синие глаза на продолговатом красивом лице.

Женщина в смущении поправила растрепавшиеся волосы и, поздоровавшись с Денисовым, пригласила пройти его в следующую комнату.

Здесь была та же чистота, что и в кухне. На окнах с легкими шторками стояли банки с цветами. Одно растение особенно заинтересовало Денисова. Листья у него были мягкие, сочные, как у алоэ, а форма напоминала листья герани.

— Цветочками интересуешься? — спросил, войдя в комнату, Башкиров. — Это все Анна Евдокимовна разводит. Цюра! Панкратов не заходил? Как у него насчет дранки? Понимаешь, какое дело, Иван Иванович, решили мы сами дранку драть. Она нам во как нужна! — Башкиров энергично полоснул ладонью по хрящеватому кадыку, торчащему над воротником гимнастерки. — Пустили в ход заводишко, да что-то не ладится пока. Дело новое, не сразу его освоишь. Некоторые сомневаются, выйдет ли. А я говорю, нет, врешь! Выйдет! Должно выйти!

Башкиров энергично ударил кулаком по столу.

— Панкратов не заходил, — сказала Анна Евдокимовна, входя в комнату с грудой тарелок. — А десятник прибежал, говорил — печник на станции подводу ждет.

— Так что ж ты мне сразу не сказала! А я его жду!

Башкиров вскочил и кинулся было к дверям, но Анна Евдокимовна остановила его:

— Да ты пообедай сначала.

Башкиров распахнул окно и, увидев проходившую мимо Лушу, крикнул ей:

— Лукерья! Добеги до конюшни, скажи Кузьмичу, чтобы ехал на станцию, печник, мол, там ждет!

— Понимаешь, какое дело, — садясь за стол, заговорил Башкиров с видом человека, у которого гора свалилась с плеч. — Задумал я свой кирпичный заводишко организовать, а мастера нет. Ну теперь, кажется, и мастера нашел. Не сманил бы только кто его по дороге. — В голосе Башкирова слышалось неподдельное беспокой-

ство. — Поругивают кое-кто меня, что я эту волюнку с кирпичом да с дранкой затеял. А мне охота народу-то к себе побольше переманить. Ведь у нас что получается? Кончились работы, шапку в охапку и прощай. Весной новых набираем. Сезонная работа! А вот скажц, почему вопрос этот решен в рыбной промышленности? Там, понимаешь, тоже сезонная работа. А я тебе скажу, почему. Там и в несезонное время платят рабочим какой-то процент от их заработка.

Почему мы этого не можем делать? Скажешь средств нет. Неправда! На что другое их может не быть; а для этого должны найти. Министерство должно понять, что при таких объемах работ, как у нас, без постоянных людей мы ничего не сделаем! Буду писать в министерство, пусть разрешит сохранить рабочим на зиму хотя бы треть заработка. А разрешат, дам участки, пущай застраиваются и бежать никуда не надо. Зимой кирпич будут делать, дранку драть... Еще может чего-нибудь придумаем.

Мимо окон протарахтела двуколка. Башкиров высунулся из окна.

— Поехал, Кузьмич! Ну вези, вези скорее!

Анна Евдокимовна подала обед.

— А ты, Нюра, не угостишь нас по маленькой, — Башкиров просительно смотрел на жену. Та ничего не ответила, только внимательно посмотрела ему в глаза, как бы говоря: «Может быть, не стоит, Леша?»

— По ма-а-ленькой! — еще просительнее, сказал Башкиров и пальцами отмерил величину рюмочки, не больше наперстка.

— Эх, и строгая же у меня жинка на этот счет, — скороговоркой, вполголоса сказал он, когда Анна Евдокимовна вышла из комнаты, — а нельзя иначе. Грешен. Своего потолка не знаю. И ведь понимаешь, Иван Иванович, какое дело получается? Один не пью. Ни боже мой, а в компании не пронесу мимо. И черт его знает, как это выходит. Иной раз идем в гости, а Нюра дорогой в одно: «Леша, не пей! Прошу тебя, не пей! Как нажму тебе под столом ногу, отставь рюмку». Даю слово. А пришли, сели за стол, — забыл обо всем. Иной раз слышу больно жмет ногу, а делаю вид, что не замечаю. Она сильнее жмет, а я возьму да и скажу: «Ну хватит. Нюра, а то ты мне все ноги отдавила».

Анна Евдокимовна принесла на подносе полбутылки «Московской» и две рюмки.

— А что же ты себе рюмку не принесла? — спросил Башкиров.

— Ты же знаешь, Леша, что мне сейчас нельзя.

— И верно, не стоит. Ну что ж, выпьем за наследника! — сказал Башкиров, поднимая свою рюмку и чокаясь ею с рюмкой Денисова. — Прощу, Иван Иванович!

Башкиров поддел на вилку большой пласт соленой капусты.

— Только наследник-то вот что-то долго заставляет себя ждать. Понимаешь, какое дело, Иван Иванович, — сказал он. — Все сроки уже прошли. И во взгляде, каким он посмотрел на жену, Денисов уловил тревогу за нее, опасение, что беременность ее протекает не так, как надо.

— Дочку скорее роди! Сыновей хватит. Видал, какие орлы у меня растут? — спросил он у Денисова. Денисов кивнул головой. Сыновей Башкирова он знал, все трое походили на отца.

— А вот помощницы у матери нет, — продолжал Башкиров. — Полы, небось, опять сама мыла? — строго спросил он.

— Сама, — виновато ответила Анна Евдокимовна.

— И черт бы побрал это ваше бабье чистоплюйство! Ну, спрашивается, чего их каждый день мыть? Вымыла раз в месяц — и ладно. А не ладно, так наняла кого-нибудь. Смотри, Нюрка, только навреди ты себе! — Башкиров постучал по столу пальцем.

Анна Евдокимовна смотрела на него со счастливой улыбкой. Ей видимо приятно было это грозное предостережение мужа.

— А что, Иван Иванович, не нашли еще ваши геологи гипс поблизости?

Денисов ответил, что специально поисками гипса экспедиция не занималась, но что, повидимому, на трассе гипса нет.

— Плохо дело, коли нет. Ты, понимаешь, Иван Иванович, какая тяжелая история получается с этим гипсом, — заговорил Башкиров, перегнувшись через стол и смотря прямо в глаза Денисову напряженным взглядом, — вот вы, ученые, предлагаете норму гипса на гектар шесть тонн. Хорошо. Согласен.

Башкиров сделал движение ладонью по столу, точно, отложил на воображаемых счетах костяшки.

— Для мелиорации 400 гектаров солонцов, — снова движение костяшек на воображаемых счетах, — мне понадобится перевезти ни мало ни много, как 2400 тонн!

Последнюю цифру Башкиров кинул на «счетах» с особенным ожесточением.

— Перевезти это количество на расстояние 30 километров от железной дороги! При имеющихся в моих руках средствах передвижения мне понадобится на это дело два месяца. Да примерно столько же времени потребуется, чтобы разбросать этот гипс по лесополосам. Представляешь, чем это пахнет, каков объем работ.

— Что ты скажешь на это? Какой выход предложишь?

Денисов молчал, не зная, что сказать. А Башкиров между тем настойчиво спрашивал:

— Нет, ты скажи мне, где выход? Как решить проблему гипсования? Может быть, совсем отказаться от него?

— Нельзя, — сказал Денисов.

— Так скажите, что делать? Укажите нам адрес, где поближе взять гипс!

* * *

После обеда Башкиров и Денисов отправились по своим делам. Денисов пошел в питомник, где у него были опытные посевы ясеня и клена, Башкиров с печником — искать глину для кирпичного производства.

Под питомником на станции было занято около двух гектаров, но этой площади было явно недостаточно. Каждый год станция испытывала большую нужду в посадочном материале, и нередко приходилось везти его за тысячу километров из других областей.

Кроме того, в результате усиленного полива, на питомнике произошло вторичное засоление почв, и год от года он давал все меньший выход посадочного материала. Необходимо было срочно закладывать новый питомник. Участок для него был уже намечен, дело оставалось только за проектными изысканиями. Но организация, которая должна была их сделать, почему-то тянула и Денисов подумывал, что Башкирову не обойтись без помощи экспедиции.

Часа через два они сошлись у штабелей теса. По лицу Башкирова Денисов видел, что глина найдена.

— Так как говоришь, дед, — спрашивал довольный Башкиров, — будет у нас кирпич?

— Сколь хошь, — неожиданно густым басом ответил старик. Тысяч двадцать в этом месяце можно дать, а дальше, как угодно. Хошь, дальше будем делать, не хошь, отставим.

— Зачем отставим. Кирпич нам нужен. Тысяч пятьдесят потребуется и то на первый случай. А ты бы, дед, учеников к себе приспособил. Года твои преклонные умрешь не сегодня—завтра, а дело, глядишь, останется. А?

Напоминание о смерти не понравилось старику. Он долго жевал губами, борода его двигалась из стороны в сторону.

— А в самом деле, дед, — не унимался Башкиров. — Прикреплю-ка я к тебе двух пареньков... Вот ты их и обучишь ремеслу...

— Как хошь... — согласился старик.

— Да, слушай, Иван Иванович! — встрепенулся Башкиров. — Что это Варно глаз сюда не кажет. Занялся, понимаешь, гнездовым посевом, а нас тут суслик совсем одолевает. Скажи ему, пусть наведается. Ждет, мол, тебя Башкиров, не дождется! Суслик, мол, ему совсем житья не дает...

В тот же вечер, возвращаясь со станции по гребню балки, Денисов еще издали увидел Варно. В белой войлочной шляпе с большими полями, в майке и сандалиях Сергей Львович проверял расставленные в степи ловушки. Со стороны странно было видеть, как человек петляет по степи, низко опустив голову, переходит с места на место, присаживается на минуту и снова кружит и кружит, точно ищет что-то и никак не может найти.

Денисов подошел к Варно, поздоровался и присел на один из бугров, какими пучилась степь вокруг. Бугор покрыт был редкой травой, просвечивала через него бурая глинистая почва и сейчас в лучах заходящего солнца отчетливо видна была на ней каждая глыбешка.

«Неужели это грызуны так изменили степь!» — подумал Денисов, оглядывая равнину, похожую скорее на кочковатое болото. Какие же должны были они вырыть

под землей катакомбы, чтобы выбросить на поверхность такое количество земли.

Денисов никогда не упускал случая поговорить со специалистом о том, что его интересовало. Спросил он и у Варно об этих норах.

Варно снисходительно улыбнулся и со скучающим видом, подробно, точно школьнику, рассказал Денисову о жизни и повадках грызунов.

Денисов внимательно выслушал все, а когда Варно оживившись, заговорил о своих исследованиях в этой области, сказал:

— Мне кажется, Сергей Львович, что работа ваша идет несколько не в том направлении, в котором следовало бы. Я имею в виду ваши исследования по грызунам, — осторожно сказал он. — Вы позволите мне высказать все, что я думаю?

— Пожалуйста! — иронически сказал Варно, вздернув плечи.

— Ваши работы с грызунами носят сугубо академический характер. Все работы, помещенные вами в известия университета, кстати сказать, я просмотрел их все, посвящены, главным образом, систематике грызунов. Вы констатировали, что в данной области, месте вашего исследования, встречаются такие-то, такие-то виды грызунов и приводили подробный перечень их. Надо вам отдать должное, делали вы это с похвальной обстоятельностью. Но только ли это нужно?..

— Ха! Кто же будет отрицать значение фактов...

— Никто! Я сам не отрицаю... — перебил Денисов. — Факты нужны. Они нужны «как воздух», еще Павлов сказал, без них нет теории. Но только ли одни факты нужны? Ведь голый факт сам по себе еще ничего не значит. Надо как-то осмыслить его!

Вот этого-то осмысливания фактов, практических выводов из них и не чувствуется в ваших работах, Сергей Львович. А они нужны, очень нужны. Вот я сейчас только что от Башкирова. Суслики буквально одолевают его, как говорит он, и это верно. Трасса заражена грызунами.

— Что же вы хотите от меня? Чтобы я сам затравливал норы? Я профессор и это, надеюсь, не мое дело. Пусть этим занимаются другие.

— Они и делают это, — уже нахмурясь, сказал Дени-

сов. Его возмутила манера Варно кстати и некстати упоминать о своем профессорстве. — Делают, но старые, испробованные меры не дают эффекта, очевидно, грызуны приспособились к этим мерам, применяемым из года в год. Надо предложить что-то новое...

— Вот и предложите! — сказал Варно издевательски. Ха! Что до сих пор не удалось сделать мне, профессору, может быть удастся сделать вам, не имеющему ни ученой степени, ни звания!

Денисовым вдруг овладело спокойствие. Каким жалким ему показался сейчас Варно, кичащийся своим званием профессора, которым он меньше всего был обязан себе.

— Сергей Львович! — нарочито спокойно сказал он. — Вам не уязвить меня. Да, вы профессор, а я человек, не имеющий ни ученой степени, ни звания. Я не буду говорить об обстоятельствах, приведших к такому положению вещей. Я скажу только одно. В то время, как вы занимались своей наукой, я с оружием в руках защищал для вас право спокойно заниматься ею. Прошу никогда не забывать об этом!

Денисов встал и, не сказав больше ни слова Варно, пошел от него.

Оставшись один и поразмыслив, Варно уже раскаивался в сказанном. Редко когда осторожность так изменяла ему. Обычно он был осмотрительнее, особенно с людьми, имеющими вес. Правда, Денисов в глазах Варно, был мелкая сошка...

«Но все равно не хорошо!» — подумал он и дал себе слово в ближайшие дни побывать у Башкирова.

* * *

Денисов был недалеко от истины. Варно действительно всю войну провел в глубоком тылу. Еще когда немцы подходили к Донбассу, он заволновался. В нем боролись два чувства. С одной стороны он не верил в зверства немцев и говорил жене: «Что могут сделать они мне, культурному человеку? Культурные люди всегда найдут общий язык. Глупо бросать годами насиженное гнездо и мчаться в неизвестность. Никуда не поедем!»

Все ценное: столовое серебро, ковры, посуду, книги он решил зарыть в землю и стал даже рыть яму по ночам, но тут опять его стали обуревать сомнения.

А вдруг слухи о зверствах немцев не вздор? Не лучше ли в самом деле уехать? И он уехал.

В Адма-Ата, куда они эвакуировались, он устроился преподавателем химии в военном училище. Пришлось надеть форму, к которой он с детства питал отвращение. Но форма давала преимущества. Она создавала видимость того, что хотя ты и не на фронте, не защищаешь с оружием в руках Отечества, но в какой-то мере причастен к тому великому делу, которым жила вся страна от мала до велика. Форма, если хотите, придавала даже некоторый ореол героизма. А сознание, что ты герой, уже приподнимало тебя над остальными людьми, давало право смотреть на них несколько свысока.

После войны Варно мог остаться преподавателем в военном училище, это хорошо обеспечивало. Но в маскировке уже отпала надобность. К тому же страна позаботилась об ученых, создала для них такие условия жизни и работы, каких, пожалуй, за границей не имел ни один ученый, и было бы глупо пренебрегать этим. Сергей Львович вернулся в университет.

Вскоре он защитил кандидатскую диссертацию. В глубине души он оскорблен был тем, что ему сразу не присудили докторскую степень. Некоторое удовлетворение он получил только тогда, когда его избрали исполняющим обязанности профессора по кафедре зоологии. И хотя он не был профессором в полном значении этого слова, но, знакомясь с кем-нибудь, он говорил с достоинством:

«Профессор Варно!» И сладко щурился, когда к нему обращались так.

Варно был честолюбив. Услышав о каком-нибудь изобретении, открытии, он пренебрежительно хмыкал:

«Ха! Подумаешь, Америку открыл!»

Но в душе мучительно завидовал. Ему все казалось, что «счастливцев» украл у него частицу его славы, что не поторопись тот со своим открытием, его непременно сделал бы он, Варно. Это казалось ему даже в том случае, если открытие делалось в далекой от зоологии области.

Почему Варно поехал в экспедицию? Как человек неглупый, он понимал, что те дела, которые вершились сейчас лесоводами, были делами большого плана и,

непосредственно участвуя в них, легче было выдвигаться.

Несколько лет Варно занимался грызунами. Но тема его работы: «Борьба с мышевидными грызунами в лесонасаждениях» не удовлетворяла его. Она казалась ему слишком узкой, утилитарной. Кого могла интересовать его работа? Если бы ему удалось найти новый, радикальный способ борьбы с грызунами. Но для этого надо было упорно работать, ставить сотни и сотни опытов. А время шло. И Варно завидовал Щербинскому, который, разрабатывая метод гнездового посева, оказался в гуще событий.

Но поразмыслив, Варно пришел к выводу, что не обязательно, засучив рукава, самому высаживать дубки для того, чтобы иметь свое мнение о том, как им следует расти. Решив, что он достаточно сведущ в вопросах биологии, Варно охотно стал выступать на всевозможных совещаниях по лесу и поучать, как следует создавать лес в степи.

Выступал он так смело потому, что его мнение целиком совпадало со взглядами самого академика Власенко. Так что тут для Варно исключена была всякая опасность ошибиться, попасть впросак. Как за каменной стеной он чувствовал себя, прикрываясь авторитетом академика. И Варно добился того, чего хотел.

Его выступления, на которых он яростно отстаивал метод гнездового посева дуба, как самый передовой, самый эффективный метод, привлекли к нему внимание. Он стал заметной фигурой, без него не обходилось уже ни одно совещание, ни одно заседание. Он стал постоянным участником всяких комиссий по выработке резолюций. На него нередко ссылались: «Профессор Варно сказал...» «Профессор Варно считает...»

Честолюбие Варно было удовлетворено. В глубине души Варно наплевать было и на самый метод гнездового посева и на то, окажется ли он эффективным. Но никогда ни с кем в разговоре не высказывал Сергей Львович опасных мыслей. И только перед женой не считал нужным маскироваться. Он говорил:

«Ха! Гнездовой посев! Носимся с ним, как с писаной торбой. Добро бы толк был!»

Дома же был откровенен потому, что, в конце концов,

где как не дома человек мог позволить себе говорить то, что ему хочется, быть тем, что он есть.

Жена с безразличным видом выслушивала откровения мужа. Она достаточно хорошо знала своего супруга, чтобы возмущаться его двурушничеством.

* * *

Женился Варно по любви, на курорте, куда приехал лечить печень. Будущая жена работала медсестрой в санатории. Она тоже была не молода, и ей было далеко за тридцать. Среди отдыхающих ходили разговоры о том, что у нее был жених—летчик, и что он погиб при катастрофе. Может быть, поэтому глаза ее оставались печальными даже тогда, когда она смеялась.

Сергею Львовичу нравилось, как легко, бесшумно двигалась она по просторному кабинету от одного больного к другому. Он старался всегда попасть в ее кабины. Было очень приятно, когда она, смочив в соленом растворе потемневшую салфетку, клала ее ему на печень, прикрывала сверху металлической пластинкой и включала ток. Кожу начинало приятно покалывать.

— Ну как? — спрашивала она, внимательно вглядывалась в его лицо темными грустными глазами. — Не очень чувствительно?

Кожу ощутимо покалывало. Но, чтобы удержать ее около себя лишнюю минуту, он, неопределенно усмехаясь, говорил:

— Да что-то не пойму пока ничего...

Она терпеливо ждала, но ее окликали другие больные, и она уходила. Внимание Сергея Львовича не удивило ее. Она привыкла к тому, что отдыхающие ухаживали за ней. Они приглашали ее в театр, угощали мороженым, дорогими конфетами, на прощанье целовали руки.

Но всех поклонников смущал слишком серьезный взгляд ее глаз, смущала седая прядка волос. Они не чувствовали себя легко и просто с нею. Им, приехавшим отдохнуть, хотелось других более легких, ни к чему не обязывающих отношений, и они быстро переходили к другим женщинам.

Она не обижалась на них, хотя и было горько. Неужели счастье так и не придет к ней? Не может быть, чтобы она не встретила хорошего, милого человека. Пусть

он не будет для нее тем «первым», но со временем все забудется, и она по-настоящему полюбит его, как должна любить женщина, жена, мать его детей.

Сергей Львович приходил с дорогими цветами, с коробками конфет, красиво перевязанными цветными ленточками. Эта его расточительность тоже казалась ей проявлением большой любви.

Перед самым отъездом из санатория Сергей Львович сделал предложение. После некоторого колебания она согласилась. Уж очень ей хотелось иметь свою семью, детей. Чтобы было кому целиком отдать себя, потратить избыток материнских сил. Но полюбить Варю она так и не смогла. Слишком живо было в ней первое чувство, и не смог Сергей Львович заставить ее забыть голубоглазого летчика.

Сергей Львович глубоко страдал от холодности жены и точно мстя ей за это, издевался над нею.

— Дура! — кричал он тонко, пронзительно, когда расшалившийся ребенок падал и плакал. — Вечно он у тебя нос расквасит, не смотришь за ним!

Оленька росла слабенькой, бледненькой девочкой. Это мучило Сергея Львовича. Он с завистью смотрел на здоровых краснощеких ребят дворничихи, которые целый день бегали во дворе, одетые во что попало. А его Оленька то и дело болела. Сергей Львович ежедневно по нескольку раз измерял ей температуру, не спал неделями, когда она была нездорова, следил сам за тем, как она кушает, и раздражался до крика, если девочка ела плохо.

За обедом он поддевал на ложку сливочного масла и, поднося ко рту дочери, визгливо кричал:

— Ешь! Сейчас же ешь!

Девочка, всхлипывая и давясь, глотала масло. Большими голубыми, как у отца, глазами, сейчас полными непроливающихся слез, она смотрела на него.

Мать, присутствуя при этой сцене, обычно сидела с опущенными глазами, вмешаться она не имела права. Если она это делала, Сергей Львович начинал кричать уже на нее. Пенсне прыгало у него на носу, и в жену летела первая схваченная со стола вещь.

— Съела! Ну вот и хорошо! — довольный говорил Сергей Львович дочери. — Каждый день теперь будешь съедать по ложке масла. Будешь толстая, как мать. Вон она на даровых-то хлебах как отъелась!

Было дико слышать эти, даже в шутку сказанные слова, от человека, который когда-то приносил цветы и умолял составить счастье его жизни.

С годами Сергей Львович становился все деспотичнее. В нем неожиданно проявилась скупость. Ему все казалось, что жена плохая хозяйка, что живут они не по средствам, что пора откладывать на черный день. Решив вести хозяйство сам и рассчитав, сколько они могут потратить в день, он стал ежедневно выдавать эти деньги жене на руки.

Утром она должна была бежать на рынок, в магазины и покупать всего понемножку: пятьдесят граммов сливочного масла, сто граммов крупы, четыреста граммов мяса, словом, всего ровно столько, сколько понадобилось бы, чтобы приготовить обед на один день. Порой ей было мучительно стыдно, когда продавщица отвешивая ей сто граммов сахара, пренебрежительно, как ей казалось, смотрела на нее из-за весов.

Дома ей предстояло дать полный отчет мужу в расходах. Если Сергею Львовичу казалось, что пучок укропу она купила слишком дорого, переплатила за него пять копеек, он поднимал крик, снова вспоминалось, что она дармоедка, привыкла висеть на его шее...

Доведенная до отчаяния, она заявила однажды, что жить так больше не может, пойдет работать.

— Кем же ты будешь работать? Санитаркой? — кричал Сергей Львович, намекая на то, что за годы сиденья дома она деградировала. И пренебрежительно хмыкал:

— Ха! Представляю, как будет это выглядеть! Профессор и санитарка...

Он театрално кривлялся. И, чтобы еще больше унижить ее, говорил со злостью:

— Нет, уж уволь, сделай милость. Лучше я сам буду тебе выплачивать твою зарплату. Сколько вам причитается?

Отсчитывая жене гроши, сам он был расточителем. Ему ничего не стоило выбросить сотню рублей на толкучке за пластинку Лещенко или Вертинского.

«...Встретились мы в баре ресторана...» — подпевал он жиденьким тенорком, подняв вверх бородку клинышком — Татьяна.. «...Упали косы душистые густые...» —

Эх, хорошо! — он прищелкивал пальцами. В эти минуты он становился особенно ненавистным ей.

Занимаясь ночами, она экстерном сдала за среднюю школу и поступила в медицинский институт. Сергей Львович бесновался. Он рвал ее тетради, закрывал ее на замок, кричал, что она мешает ему заниматься, потому, что он слышать не может шороха переворачиваемых страниц (после войны они жили в одной комнате) и что из-за нее он никогда не напишет своей докторской диссертации...

Она отгораживала простыней кровать и скрючившись на ней, в неудобной позе занималась.

Кончила она институт с отличием и была оставлена в аспирантуре. Когда Сергея Львовича спрашивали: «А как Татьяна Николаевна?» Он озадаченно вздергивал плечи и говорил в величайшем изумлении:

— Понимаете, обгоняет она меня! Того и гляди, раньше меня доктором наук станет!

Теперь он уже не смел ей кричать: «Дура!» Нередко он приходил домой с букетом цветов и, пряча свое смущение, говорил, ставя цветы в вазу:

— Ха! За такой букет содрала чертова перечница...

— А ты бы не покупал его, ни к чему, — насмешливо спокойно говорила жена, не отрывая глаз от книги.

— Гм... не покупал...

И он шел в кухню, посмотреть, как там с обедом. Теперь Лещенко настраивал его меланхолически:

«...Татьяна... Помнишь дни золотые...»

Татьяна Николаевна закрывала уши ладонями. Ей было не до лирических излияний мужа.

* * *

Башкиров обрадовался Варно, когда тот на следующий же день появился у него.

— А! Сергей Львович! Привет начальству! Садись, гостем будешь! — сказал он радушно и пододвинул стул к Варно. — А я, понимаешь, жду не дождусь тебя. Да что за черт, думаю, не кажет глаз да и только!

Башкиров несколько хитрил, преувеличивая свою радость при виде Варно. Уж не так-то он жаждал видеть самого зоолога. Все дело было в сусликах, которые жителя не давали, наглея с каждым днем. Башкиров надеял-

ся, что Варно в конце концов снизойдет и укажет меры, которые помогли бы бороться с грызунами.

Слушая Башкирова Сергей Львович снисходительно улыбался. Его забавляло, что ему «профессору» говорят «ты». И кто говорит! Этот «мужик»! Этот «неуч»! Решив, что Башкиров говорит так от недостатка воспитанности, культуры, Сергей Львович со снисходительным видом еще более подчеркивал свое «вы» в обращении с директором. Сознание своего превосходства в этом «ты» и «вы» давало ему удовлетворение.

Если бы только Алексей Иванович Башкиров узнал об этом, он немедленно изменил бы форму обращения с Варно. У него хватило бы и ума и такта не сбиваться на это «ты», предназначенное только для друзей и товарищей по работе.

Но Башкиров и не думал копаться в этих тонкостях. Он озабоченно говорил Варно:

— Ну, что ты будешь делать, Сергей Львович! Лезет, понимаешь, суслик в землю, дорывается до всходов, лакомится, проклятый. Ведь так, чего доброго, сожрет он у нас все дубки. Неужели наука так-таки не нашла до сих пор способа борьбы с ними. Не поверю, есть такой способ, должен быть! Плохо ищете. Если бы текучка не заедала, сам принялся бы искать. Ты только посмотри, по самой же суслиatine идет трасса. Ну как можно терпеть такое. Да для меня теперь суслик наипервейший враг. Вот взял бы и удушил всех до единого своими руками. Тут, понимаешь, ночей не спишь, за каждый росток душа болит, все думаешь, как бы уберечь всходы, миллионные же средства тратятся, сил сколько положено, а он, проклятый, жрет себе и жрет!

Через полчаса они были на участках. Варно долго ходил, определяя на глазок плотность заселения территории грызунами, и дал Башкирову несколько советов, как бороться с сусликом. Советы эти не удовлетворили Башкирова, так как не было в этих советах ничего нового.

— Затравливать норы я и сам умею, а вот ты скажи, чем их затравливать, чтобы толк был! — говорил он Варно.

Сергей Львович окинул Башкирова снисходительным взглядом. Его начинал раздражать этот настойчивый, требовательный директор. Вынь да положь ему радикальный способ борьбы с грызунами! Как будто это так

просто. Чтобы отвязаться от Башкирова, Варно сказал ему, что разрабатывает новый способ борьбы с грызунами — фитоцидную обмазку для желудей. Но Башкирова это не устраивало. Ему надо было все сейчас. Домой он вернулся недовольный и злой на всех ученых, а главное на Варно.

* * *

В город пошла машина, и Денисов предложил Наталье съездить домой, повидаться с детьми. Наталья очень обрадовалась и собралась за несколько минут.

Помимо того, что ей очень хотелось видеть детей, она рада была уехать и не встречаться несколько дней с Маней и Александром Петровичем.

Может быть, потому-то Денисов и предложил ей поехать, зная как необходимо Наталье побыть одной, подумать, собраться с силами.

Дети в первый день приезда не отходили от нее, спорили, кому сесть с ней рядом, но на следующий день уже разбежались по своим делам. Это несколько задело Наталью, но в то же время и успокоило. Значит, не так-то уж она необходима им, значит, могут они иногда оставаться и без нее.

Дома Наталью ждало письмо от матери. Мать писала, что в этом году много малины в лесосеке за мельницей, жаловалась на ломоту в ногах, мешавшую ходить за ягодами, сетовала на Наталью за то, что она не привезла внучат в гости.

«Танюше с Леночкой здесь было бы привольно, да и Юрочке тоже...»

Прочитав последнюю фразу, Наталья улыбнулась: мать оставалась верна себе. Живя с двумя младшими сыновьями, многосемейными, она была окружена внуками, и ей порядком было хлопот с ними. До гостей ли тут! А вот зовет, скучает...

Письмо матери пробудило в Наталье воспоминания об отцовском доме. И, как всегда бывает в горе, далекое прошлое с его нехитрыми детскими радостями и печалью, сейчас обрело для Натальи особую прелесть.

Хутор не вдалеке от села. За перелеском виднелась позолоченная маковка церкви, дорога, взбегающая в гору. За этой горой ежедневно куда-то проваливалось солнце. Чернела на горе одинокая скамеечка, особенно отчетливо видимая в часы заката.

Вечерами на горе девушки водили хороводы. Взявшись за руки, они медленно шли по кругу в одну сторону, плавно поворачивались и шли в другую. Наташе казалось, что они плыли по воздуху. Она сидела в теплых коленях бабушки и слушала, как поют девушки. Пели они заунывно, протяжно:

«Ка-а-к по-о мо-о-о-рю, ка-а-к по-о мо-о-рю,
Как по морю, морю синему-у, как по морю,
морю си-и-инему-у
Плы-ы-ла ле-е-бедь,плы-ы-ла ле-е-бедь,
Плыла лебедь с лебеда-я-тами....»

— Может, пойдем, внученька, домой? — спрашивала бабушка. Но Наташе хотелось дослушать песню до конца, что же дальше будет с «белой лебедушкой?»

Под тягучую монотонную песню она засыпала и не слышала, как бабушка уносила ее домой, как раздевала приговаривая:

«Уморилась моя лебедушка, руки, ноженьки не владают!»

Пока дети были маленькие, они находились в ведении матери и бабки. Их кутали, пичкали сладостями, кашками. В тесной спальне всегда было жарко. Летом от того, что окна выходили на юг, зимой жаром полыхало от раскаленной «голландки».

Маленький голубоватого стекла ночничок горел всю ночь. Просыпаясь ночью, Наташа слипающимися от сна глазами смотрела на радужный ореол его пламени. Тихонько поскрипывала люлька, мать спросонок покачивала ее, монотонно напевая:

«А-а-а-а! А-а-а-а!»

Утром мать, невысыпавшаяся, уходила в школу, работала она учительницей. В доме держалась нянька, но в силу гуманных принципов, разделяемых и отцом и матерью, считалось, что ночью она не обязана была нянчиться с ребенком. Иногда бабка, жалея мать, заглядывала в спальню и говорила:

— Дай-ка-сь, Анюта, я покачаю, вздремни маненько!

Мать роняла голову на подушку и тут же засыпала, как убитая.

Отец тоже был учителем. После окончания учительской семинарии он женился, купил хутор-усадьбу, построил на ней просторный дом, завел пасеку и скоро так

пристрастился к хозяйству, что отдавал ему все свободное от работы время. Вел хозяйство «по-книжному» «по-ученому», выписывая уйму специальной литературы.

Скоро «Хутор Базаров» прославился среди мужиков окрестных деревень небывалыми урожаями овощей, корнеплодами диковинных размеров. На хутор стали заглядывать мужички, поучиться уму-разуму. Отец никому не отказывал в совете.

Был он огромного роста. Имел окладистую русую бороду, нос с горбинкой, большие навывкате голубые глаза. Смеялся раскатисто, басом. Носил ксесоворотку и штаны из домотканного колючего сукна, вправленные в сапоги. Своим мужицким обличем он импонировал мужикам, и они относились к нему с уважением.

В доме царил патриархальный уклад. Всю неделю пекли ржаной хлеб, в субботу пшеничный, в воскресенье пироги с капустой, с морковью. Садилась за стол сама — десять. Кроме трех старших дочерей, родившихся одна за другой, было трое мальчишек, была теща, была нянька.

По субботам пахло в доме свежевывытыми белыми полами, озоном веяло от принесенного с мороза белья. На столе, пуская пары, стоял ведерный самовар, до блеска начищенный кирпичом. Синели за окном сумерки, и за отпотевшими стеклами темнели смутно ели, растущие под окном. За столом все сидели распаренные после бани и пили чай с гречишным медом.

Старшая и младшая дочери походили на отца. Средняя — Наталья, на мать. От матери унаследовала она славянский тип лица, темные глаза и светлые длинные волосы. У матери косы спускались ниже пояса, дома она ходила, распустив их, как девушка. Была она полная, высокая, под стать отцу.

Достигнув школьного возраста, дети поступали в ведение отца. Он стремился дать им спартанское воспитание. На ночь до глубокой осени они принимали душ из лейки, сконструированной по его чертежу, съедали по стакану мечниковской простокваши со льда и в один и тот же час ложились спать. Поднимались в шесть утра, делали гимнастику, и трудовой день начинался.

Летом это были работы в поле, на огороде, зимой — приготовление уроков, лепка, рисование, уроки пения, художественного рукоделия.

На уроках пения отец заставлял их тянуть бесконечные: «А-а-а-а» «О-о-о-о», потом ударял камертоном по руке, как заправский хормейстер пробегал голосом по нотной линейке: «До, ре, ми, фа, соль, соль...», взмахивал руками, и сестры запевали:

«Не шуми ты, рожь, спелым колосом...»

В двенадцать лет Наталья знала всю крестьянскую работу. Она умела жать, косить, дергать лен, трепать его и прясть. Отец не хотел, чтобы дочери выросли кисейными барышнями, и не шадил их.

Зимой, чтобы заполнить бесконечные длинные вечера, девочек усаживали вязать чулки. Время было трудное, чулки носились собственного изготовления, и одна бабушка не успевала вязать их на всю семью.

Наташа возненавидела вязку чулок. К этому времени в ней проснулась страсть к чтению. Первое же стихотворение Пушкина, которое она прочла, поразило ее огромной насыщенностью образов:

«Зима... Крестьянин торжествуя,
На дровнях обновляет путь...»

«Зима...» И перед Наташей вставала картина чудесной русской зимы. Снег большими хлопьями кружится в воздухе и мягкий, пушистый стелется на землю. Лес стоит торжественный, тихий. Тронешь ветку, она качнется, обдаст тебя снежной пылью, и снова тихо, тихо в лесу, как в заколдованном царстве.

«Крестьянин торжествуя...» Конечно, мужик рад, ему надоели осенняя слякоть и бездорожье. Ни дров из леса вывезти, ни за сеном съездить. «На дровнях...» Наконец-то можно поставить эту дребезжащую, вихляющуюся по выбоинам дороги телегу под сарай и запрячь лошадь в сани. «Обновляет путь»... Перед глазами Наташи расстилалась снежная простыня, и по ней уходили в свинцовую даль следы, только что проложенные санями.

Вслед за Пушкиным были «открыты» Некрасов, Гоголь, Чехов, Горький. Наталья читала запоем. Она стала рассеянна, все валилось у нее из рук, а тут еще эта вязка чулок. Чтобы как-нибудь выгадать время для чтения, она забиралась в чулан поближе к книгам. В руках чулок, а перед глазами раскрытая книга, и Наташа не столько вязала, сколько спускала петли. Заслышав ша-

ги возле чулана, она роняла книгу за сундук и старательно двигала спицами. В чулан заглядывала бабушка.

— Вяжешь?

— Вяжу!

— Ну, то-то же!

Скоро Натальина хитрость была разгадана. Уж очень туго у ней подвигалась работа. Теперь братишка, заглядывая в щелку чулана, то и дело кричал: «Бабушка! А Натка опять в книжку глядит!» Бабушка грозилась: «Вот я ее ужо!» и стала задавать Наталье «урки» на день.

В их просторном доме всегда было шумно. Особенно людно бывало по воскресеньям, когда собиралась молодежь.

Бабка неодобрительно смотрела под ноги гостей и ворчала:

— А ноги-то не мешало бы вытереть, молодой человек, чай в семейный дом пришли, а не на постоянный двор!

Она жаловалась отцу, но у того было свое мнение насчет этого. Прочел он нашумевшую тогда повесть «Первая девушка» Николая Богданова и из опасения, как бы и его дочерей не постигла судьба этой «первой девушки», предпочитал быть в курсе их сердечных дел.

Сестра Лидия уже учительствовала, но ходить на вечеринки без разрешения отца не смела.

— Папа, я пойду на вечер? — спрашивала она робко, заглянув к нему в кабинет.

— Гм...—недовольно говорил отец, углубившись в газету. — Лучше будет, если ты посидишь дома. Вот только что получен журнал. Есть хорошая статья о звуковом методе обучения грамоте. Прочитай.

— Хорошо, — внешне покорно говорила Лидия и, взяв журнал, выходила из кабинета.

В темном, пустом зале, освещенном только неровным светом топящейся печки, она с яростью швыряла журнал в угол, так что он всеми своими листами взлетал вверх, падала головой на стол, и плечи ее начинали вздрагивать от рыданий. С рассыпавшимися по плечам волосами, она была очень хороша в своем отчаянии. Наталье, увлекавшейся в то время романами Вальтер Скотта, казалась она пленницей из средневекового замка.

— Да-а-а, ему хорошо, сам в Москве учился, а мы

всю жизнь на ху-у-торе жи-и-ви да еще ни-икуда не вы-й-ди!..

Сестры притихнув, смотрели на нее. Младшая, Надежда, с любопытством, средняя, Наталья с участием. Ее еще не тяготила жизнь дома, под недремлющим оком отца, но ей было жаль сестру.

Скоро Лидия вырвалась из дому, она уехала, наконец, в город, выйдя замуж за инспектора Губнаробраза, нагрянувшего однажды обследовать школу.

В последний год в школе Наталья много занималась, готовилась в институт. Осенью она поступила на биологический факультет университета. Отец сам проводил ее до станции. Всю дорогу он давал Наташе наставления, как жить, как учиться, как вести себя. Одно из его напутствий ей запомнилось навсегда.

— Смотри, Наталья, — говорил отец, крупно шагая рядом с телегой (дорога вела в гору) — будь осмотрительна, ты едешь в город, это тебе не наше село. Избегай знакомств. Ты должна знать, что есть еще мерзавцы, которые целью своей жизни ставят околпачивание таких... таких... дур, как ты, — неожиданно закончил отец, не найдя иного подходящего слова. — Это для них своего рода спорт. Испортят жизнь одной девушке, ищут другую.

Наталью охватил страх. Ей казалось, она неминуемо должна стать жертвой одного из этих «мерзавцев». Вот почему на курсе и в общении она чуждалась ребят. Их внимание не льстило ей, как другим девушкам. И когда однажды кто-то из ребят вздумал поцеловать ее, прощаясь в темноте, она всю ночь проплакала. Она чувствовала себя физически и нравственно поруганной. У ней было такое чувство, что ее в чем-то самом сокровенном обокрали. «Как он смел! Негодяй! Как он смел!» — негодовала Наталья.

Утром, когда она рассказала о случившемся своим подругам по комнате, ее подняли на смех. Одна из девушек, Вера, самая разбитная из них сказала:

— Подумаешь, царевна-недотрога! Дура ты, Наталья! Ничего-то ты не понимаешь!

Эта Вера часто приходила домой поздно. Раздевшись, прыгала в постель и, пряча голые острые колени под одеяло, с дрожью в голосе говорила:

— Ой, девочки! — глаза ее от расширившихся зрач-

ков казались огромными. — Если бы вы знали, какой мальчик меня сегодня провожал!

«Мальчик» каждый раз был другой. Это было противно. Чувство гадливости охватывало Наташу. — «Нет, никогда я не буду такой, как она. Первый поцелуй будет принадлежать тому, единственному, который когда-нибудь войдет в мою жизнь», — думала тогда Наталья.

«Да... единственный...» — горько усмехаясь, сказала Наталья и встала, чтобы открыть дверь на стук.

— Мамочка, ты одна? А почему ты сидишь в темноте?

Не отвечая, Наталья поцеловала Танюшу и зажгла свет.

— Ой, мамочка! Знаешь, как чудесно сейчас на Волге-е! Мы с Юрой катались. Я гребла. Посмотри, какие у меня мозоли!

Наталья смотрела на розовое, счастливо возбужденное лицо Тани с сияющими глазами, на ее растрепавшиеся светлые пушистые волосы и с болью думала, вкладывая всю силу материнской любви в свое желание.

«Милая девочка, пусть никогда с тобой не случится того, что случилось со мною...»

* * *

Два дня прошли незаметно. И вот они сидели за столом, пили чай с клюквенным пирогом, который испекли сами девочки, и ждали машину.

Дети наперебой рассказывали матери о том, что не успели рассказать, а Наталья смотрела на них, и думала, какие они милые ее девочки и Юрка тоже. Как они любят ее и как хорошо, что у нее есть дети. Несмотря ни на что, она не будет одинока... Задумавшись, Наталья машинально помешивала ложечкой чай, углы ее рта были горько опущены, и в лице было такое странное, новое для детей выражение, что Лена не выдержала. Она порывисто встала, подошла к матери и, прижав ее голову к своей груди, сказала:

— Ну что ты, мама, такая грустная? На тебя невозможно смотреть, точно у тебя горе какое-то!

За столом вдруг стало тихо. Таня опустила глаза, ей захотелось заплакать. Эта Ленка всегда скажет что-нибудь такое... Юра покраснел и захлопал своими рыжими ресницами, не отрывая глаз от чайники на дне чашки.

«Нет, дети не должны ни о чем догадываться. Зачем взваливать на них свое горе?» Наталья поцеловала Лену, сказала глухо:

— Ничего, моя девочка, тебе показалось...

Она отстранила Лену, встала и прошлась по комнате, стараясь подавить волнение. Напряженные взгляды детей неотступно следовали за ней. Выручил Наталью гудок машины.

— Уже... — разочарованно сказала Лена. — Мама, это за тобой.

Наталья стала торопливо собирать вещи. Дети вышли проводить ее.

— Ну, до свидания, мои милые. Теперь я не скоро приеду. Не опоздайте в школу первого сентября! — крикнула она уже из машины. И, сожалея о том, что не сказала детям и десятой доли того, что должна была бы сказать, она кивнула шоферу:

— Поехали, Тимофей Алексеевич!

* * *

Выехали за город, и сразу стало темно за окном машины, точно плюшевым одеялом закутали ее. Как ни всматривалась Наталья в темноту ночи, ничего нельзя было разобрать по сторонам.

Была эта тьма, обступившая их, плотная, насторожившаяся. Впереди вонзался в нее мечущийся свет фар, и почему-то казался он тревожным, и беспокойно становилось на душе от него.

Наталья откинулась на сиденье, и глядя на этот тревожный, бегущий впереди машины свет, думала об Александре Петровиче.

«Наверно, они сейчас вместе, обрадовались моему отъезду». Эта мысль обожгла ее. Наталья вспомнила, как три дня тому назад, когда она заговорила с мужем о поездке, он торопливо отвел взгляд, как будто боялся выдать свою радость и подчеркнуто равнодушно сказал:

«Ну, что ж, съезди!» Конечно, он рад был тому, что она уедет, что впереди у него несколько дней свободы.

«Неужели никогда не кончится эта пытка!» — думала Наталья с отчаянием. Того покоя, который она чувствовала в себе все эти дни, пока жила дома, как не бывало. Снова все то, что мучило Наталью с удесятельной силой обрушилось на нее.

Она не заметила, как Тимофей Алексеевич включил приемник. Передавали «Евгения Онегина» из Большого театра.

«Я люблю вас, Ольга! — звенел голос Ленского — Козловского. — Я люблю вас! Я люблю вас!..»

«Какая ложь! Какая чудовищная ложь! — думала Наталья, не замечая того, что по лицу ее струятся слезы. — Ничего нет! Никакой любви нет! Ничего, ничего нет!» — твердила она про себя в исступлении.

Все эти слова о любви ложь. И «он» когда-то говорил их! Она нагнулась и, точно желая разорвать паутину лжи, которая оплела мир и сейчас душила ее, с яростью выключила приемник.

«Ты мне радость и страданье-е...» — жалобно мяукнуло последнее слово.

«Вот дикоплешая баба!» — выругался про себя Тимофей Алексеевич, но, взглянув сбоку на лицо Натальи, смутился.

Приехали они в экспедицию часов в двенадцать ночи. Но, несмотря на поздний час, никто не спал, ждали их.

Как только машина остановилась, все обступили ее. Кто помогал Наталье выйти, кто вытаскивал вещи. Все наперебой спрашивали о письмах. Особенно нетерпелива была молодежь.

— А мне, мне, Наталья Михайловна, есть письма? А мне привезли? — кричали девушки.

— Наталья Михайловна только мне привезла! — баял кто-то из ребят.

— Всем, всем привезла! — оживленно отвечала Наталья. Она прошла в лабораторию и там при свете «летучей мыши» стала раздавать письма.

Пришел Денисов, в накинутом на плечи кителе. Он стоял в полутьме и сдержанно улыбался, глядя, как нетерпеливо хватали девушки письма и, надорвав конверты, тут же читали их.

«Какая милая улыбка у этого Денисова. Как жаль, что ему-то она и не привезла письма» — думала Наталья. Ей приятно было, что ее приезд наделал столько шума, приятно, что ее ждали. Хорошо, когда у тебя есть товарищи, хорошо, когда ты нужен кому-то. Раньше ее ждали только Александр и дети. Сегодня ее ждали товарищи по работе!

Разговор с Башкировым о гипсе не выходил из головы Денисова. В самом деле, куда это годится. Человек точно в глухую стену уперся с этим гипсом. Не может быть, чтобы нельзя было помочь ему. Грош цена тогда будет всем их рассуждениям о связи ученых с производством. Если они не помогут ему, Денисов решил поговорить со Щербинским.

Рабочий день был закончен. Молодежь играла в волейбол, и с площадки то и дело доносилось: «Пасс!» «Аут!» «Аут!» Ярослав Иванович сосредоточенно возился у палатки со своим гербарием, подвешивая его для просушки. Ольга Павловна готовила ужин. Легкий дымок вился над кухней. Умиротворением и тишиной веяло вокруг.

И это спокойствие и тишина так не соответствовали тому состоянию взволнованности, в котором был Денисов, что заговорив о гипсе, он, с несвойственной ему горячностью, воскликнул:

— Неужели нет никакого выхода с этим гипсом! — Щербинский поднялся со ступенек лаборатории, где они сидели с Денисовым, отшвырнул недокуренную папиросу в сторону и, подумав немного, сказал:

— Выход есть. В самогипсовании солонцов, в использовании собственного кальция почвы для вытеснения из нее поглощенного натрия, от которого, как ты знаешь, зависят все неблагоприятные свойства солонцовых почв: вязкость их во влажном состоянии и глыбистость в сухом...

Денисов не знал, что задел больное место Щербинского. Еще до войны Александр Петрович увлекся проблемой мелиорации солонцов. Это была весьма благодарная задача. Разработать метод, дающий возможность использовать десятки миллионов гектаров солонцов на юго-востоке. Он ставил опыты, но они не были доведены до конца, помешала война. Вернувшись к своим опытам после войны, Александр Петрович узнал, что проблема самогипсования уже решена другими учеными, и не было смысла идти проторенным путем. Было немного обидно, что не он разрешил ее, ведь было положено немало сил на это. Ну что ж! В конце концов не важно, кто сделал. Он ли, другой ли кто. Важно, что опыт удался,

и может быть использован в широких производственных масштабах.

Он подробно рассказал Денисову, в чем была суть этого нового агробиологического метода улучшения солонцов без внесения гипса. Результаты опытов пока не были опубликованы в печати. Щербинский знал их со слов самого автора.

— Глубокой вспашкой выворачиваются на поверхность глыбы солонцов, — рассказывал Щербинский, — под влиянием солнечного обогрева глыбы эти распадаются на комья. Дискованием и перепашкой почвенные слои перемешиваются между собою. Углекислый кальций, которого достаточно в нижнем карбонатном слое почвы, вытесняет поглощенный натрий, частично «разбавляет» его. Создается полуметровый рыхлый слой почвы. Таким образом, солонец переходит в разряд солонцеватых почв и становится вполне пригодным.

— Здорово! — сказал Денисов, восхищенный и простотой самой идеи, и теми перспективами, которые сулил новый метод для сельского хозяйства. — Здорово! — еще раз сказал он.

— Да, метод хорош, — подтвердил Щербинский. — Но для нас есть пока в нем одно «но». В каштановой зоне он применим лишь в условиях орошения.

Денисов присвистнул от разочарования.

— Это уже хуже... Да... Это уже не то...

— Отчего же, — возразил Александр Петрович, — не сегодня-завтра сюда придет вода, и мы должны быть готовы к ее приходу!

Проблема орошения в последнее время очень занимала Щербинского и намечаемые опыты по орошению становились его коньком. Он опять заговорил было о них, но Денисову хотелось закончить разговор о гипсе.

— Позволь, — сказал он, перебивая Щербинского, — вот ты говоришь, что не сегодня-завтра к Башкирову придет вода. А сумеет он распорядиться ею? Использовать ее для мелиорации солонцов. Небось, у него и почвенной-то карты нет всех участков.

— Нет.

— Ну, вот видишь, а давно пора ему иметь ее!

Денисов помолчал, обдумывая что-то, сказал:

— Как ты думаешь, не послать нам на недельку небольшой отряд хотя бы на участок к Терновому?

Пусть-ка ребята ему эту самую почвенную карту участка сделают, да за одно пощупают, не обнаружится ли где-нибудь на поверхности гипс.

— Что ж, можно послать, там все равно надо бурение вести...

— Ну вот и кстати. Кого ты думаешь послать?

— Начальником отряда Володю. Потом Олега, Машу... Ну еще кого...?

— Наталью Михайловну пошли. Она ведь ни разу не была в тех местах, ей будет интересно. Галю надо послать.

— Вряд ли Володя обрадуется Гале. Он, кажется, недолюбливает ее.

— Значит, тем более надо послать. Пусть изменит свое «невысокое» мнение о ней. Да и Гале будет полезно усвоить методику полевых исследований, а то усадили девчонку в лабораторию.

— Что ж, пожалуй, и довольно? Справятся.

Говоря так, Щербинский не сомневался в том, что справятся. На Володю и Олега можно было положиться. Это были серьезные толковые ребята. Щербинский обоим решил оставить у себя в аспирантуре. Они и сейчас вполне могли бы работать самостоятельно начальниками изыскательских партий.

Володька и Олег были очень разные между собою.

Володька отличался трезвостью суждений, практичностью. Олегу больше свойственна мечтательность. Он часами мог просиживать над томиком стихов Щербины, забыв обо всем на свете.

И по внешнему виду они были мало похожи один на другого. Все тело Володьки, его лицо, руки покрыты были ровным загаром. Он был плотен, крепок, со здоровым румянцем на щеках. Синие глаза смотрели трезво, оценивающе. Он всегда был деловито озабочен и даже несколько суетлив.

Олег, наоборот, был нетороплив, рассеян. Большие голубые глаза его часто увлажнялись. Красивый висячий нос то и дело лупился, сходила с него обгоревшая кожа.

Когда Володька и Олег шли рядом, особенно заметной становилась разница в их характерах.

Володька шел ходко, широко размахивая руками. Олег не спеша вышагивал длинными, как жерди, ногами. Руки его были по обыкновению в карманах брюк.

Он рассеянно слушал Володьку и внезапно мог перебить его, высказав неожиданно пришедшую в голову мысль.

— Знаешь, Володька, удивительно устроено в этом мире, говорил он, и глаза принимали мечтательное выражение. — Еще вчера человек был тебе совсем чужой, а сегодня уже кажется, что жить без него невозможно.

— Это без кого же? — спрашивал Володька, которому рассуждения Олега всегда казались слишком отвлеченными.

— Да так, вообще, — уклончиво отвечал Олег. Володька не настаивал. Он и так знал, без кого не мог жить Олежка. Конечно без этой Люсеньки.

Что касается Володьки, то он ни разу еще не был влюблен. Он не из тех, кому легко вскружить голову. Еще не выросла та девчонка, которой удастся это!

* * *

А девчонка между тем уже была. И близко, в самой экспедиции. Это была та самая Галя, о которой шла речь между Денисовым и Щербинским.

Несмотря на то, что Галя училась на том же факультете, а сейчас работала с ним в одной экспедиции, можно было подумать, что они встретились впервые. Володька с пренебрежением относился к таким, как он говорил, «маменькиным дочкам», у которых на первом месте была не учеба и не работа после нее, а желание поскорее найти себе мужа. Иначе для чего же были все эти «финтифлюшки», все эти «локончики» и бантики.

Но думая так, Володька ошибался. Он не знал Галю, потому что не хотел знать, заранее относясь к ней с предубеждением. Она действительно была «маменькиной дочкой», потому что была единственным ребенком в семье. Считалось, что у ней хрупкое здоровье, и ее тщательно оберегали от всего. Если она, уходя в школу, забывала надеть галоши, мать бросала в доме всю неотложную работу и бежала в школу. Нередко приходила туда, когда только что начался урок. Она сидела внизу у лестницы с дежурной уборщицей и ждала конца урока, волнуясь, что дома еще ничего не сделано, что к приходу Галочки не успеет свариться куриный бульон, который она должна кушать по предписанию врача.

Ее нетерпение передавалось уборщице, которая то-

же, чаще чем надо, поглядывала на часы и, может быть, на полминуты раньше давала звонок с урока.

Галя сбегала вниз по лестнице, оживленно разговаривая с подругами. Увидев мать, на мгновение застывала от неожиданности, а затем бросалась к ней.

— Мама! Опять галоши принесла! Ну зачем же! Ах какая ты право!

— Галочка! Детка, сухие ли ноги у тебя? Наверное, успела промочить! Мать с тревогой смотрела на Галю: «Что-то бледна она сегодня. Может быть класс не проветривался или устала очень».

— Галя, детка, головка у тебя не болит?

— Да нет, мама, с чего ты взяла!

Отец, придя с работы и пообедав, закуривал трубочку. Он добродушно посмеивался над матерью, слушая ее рассказ о том, как она бегала в школу.

— Под стеклянный колпак нас готова посадить мать. А! Галчонок! — Но когда Галя собиралась уходить к подругам, он настороженно следил за нею, застегнула ли она крючок у ворота.

Жизнь казалась Гале удивительно интересной. Каждое утро просыпалась она в ожидании, что обязательно должно случиться что-то необыкновенное.

Вот радио оповестило всему миру о наступлении на засуху. И вся страна некоторое время жила только этим. Все говорили о лесополосах, о строительстве прудов и водоемов, о том, какие перспективы сулило это стране. Говорили на работе, дома, в трамвае. Гале нравилось, что говорили только об этом.

В газетах она первым делом искала, что пишут о лесополосах, сколько и чего дает страна на эти лесополосы, сколько собрано семян, как идут работы, сколько гектар заложено, сколько предстоит заложить, как идет выполнение плана.

Утром, не открывая глаз, она ловила уже голос диктора, дающего очередную сводку работ по лесонасаждению. Вот диктор сказал:

«Намечено осуществить строительство государственных защитных лесных полос не в пятнадцать лет, как предусмотрено постановлением, а в значительно более короткие сроки».

В одно и то же мгновение эти слова вместе с Галей слышали люди на Крайнем Севере, в Крыму, на Кавказе,

в Таллине, во Владивостоке. То что эти слова диктора Галя слушала вместе со всеми, сближало ее с этими людьми, и это ее радовало.

Проходило некоторое время, волна подъема спадала, и Галю вновь охватывало состояние ожидания. Что интересного принесет наступающий день? И он приносил. Одно за другим выходили в свет постановления правительства о великих стройках на Волге, на Аму-Дарье, на Днестре, на Дону.

У Гали даже дух захватывало. «До чего интересно жить!» А что будет завтра? Какие открытия сделают? Какая хорошая песня будет пропета? Что нового поставят в театре в этом сезоне? Какая картина будет показана на экранах кино? Какая книга будет написана?

Гале очень нравилась жизнь в экспедиции. Выйдет она утром из палатки, теплая ото сна, оглянется вокруг (небо на востоке алое, звезды на нем меркнут), поешится от утреннего холодка и обязательно скажет: «Ой, девочки, как хорошо-то!».

Вечером усталая, в изнеможении вытянется в спальном мешке, ощутит всем телом его прохладную чистоту и опять радостно изумится:

«Ой, как хорошо-то!»

Разрежут в степи, во время обеда огромный арбуз, развалится он алыми ломтями, вонзит она в его сочную мякоть свои зубки и скажет обязательно: «Ой, как хорошо-то!»

Это бесконечное наслаждение красотами мира мешало Гале сосредоточиться на работе.

— Не хотел бы я иметь в своем отряде такую, — говорил Олег Володьке. Володька же более определенно выражался:

— Да я бы на целый километр не подпустил к своей работе эту «финтифлюшку». Напутает чего-нибудь, а потом расхлебывай.

И вдруг эту «финтифлюшку» назначили в его отряд. В его отряд! Володька воспринял это, как личное оскорбление.

— Иван Иванович! Да вы что! Смеетесь что ли?

— А что? — спросил спокойно Денисов, между тем, как глаза его и в самом деле смеялись. Он сразу догадывался, чем возмущен был Володька.

— Зачем вы мне Галку подсунули?

— Что значит, подсунули? Включили в твой отряд, ты хочешь сказать.

— Ну да! Как будто это не все равно!

— Далеко не все равно. Во-первых, Галя не вещь, чтобы ее подсовывать, а во-вторых, я не понимаю, что ты имеешь против нее. Она прекрасная девушка.

— Как девушка она, может быть, и прекрасная, даже излишне прекрасная, а как работник, ни к черту не годна!

— Напрасно ты так думаешь. И работник она хороший. В лаборатории она хорошо справляется. Другое дело, что она не знает методики полевых исследований, но это твое дело обучить ее... Для этого ее и включили в твой отряд. Я убежден, что она пройдет у тебя хорошую школу...

— А-а-а! — махнул безнадежно рукой Володька. Он еще продолжал негодовать, но делал это больше для виду, тем более, что Олег сочувственно смотрел на него.

В душе же Володька был польщен поручением Денисова.

Ну если уж на то пошло, если девчонка дана ему на выучку, он покажет ей, что значит труд почвовед в полевой обстановке! У него она пройдет хорошую школу! Надо, чтобы еще здесь, в лаборатории, она почувствовала это.

— Белашка! — крикнул он. — Ты сколько берешь с собой ящиков со стаканчиками?

— Нисколько не беру. А что, надо взять?

— Она еще спрашивает! Ты что в гости едешь или работать?

— Ну до чего же ты груб, Володька!

— Поменьше разговаривай! Бери вот эти ящики, тащи в машину.

Все утро готовились к отъезду. Наталья тоже принимала участие. Ей нравилась вся эта суматоха. Володька, как угорелый, носился по лаборатории, отбирая все, что могло понадобится для работы. В машину складывались ведра, фляги, лопаты, буры, ящики с алюминиевыми стаканчиками.

— Володька! Ты так всю лабораторию перетащишь. — Урезонивал его Олег.

— Я люблю, чтобы у меня все было с запасом, чтобы ни в чем нужды не было.

— Кулацкая у тебя психология, браток. Ну зачем ты набираешь столько трубок! Все равно ты их все не используешь.

— Пожалуй, ты прав, — согласился Володька. — Половину можно оставить. Отбери с собой, которые лучше. Маша! Проверь вот эти аналитические весы. Все в порядке? Смотри, чтобы потом не плакаться. А разновес ты проверила?

— Проверила.

— Проверь еще раз!

— Фу, какой ты, придира, Володька! — рассердилась Маша.

— Да, а забыла, как в тот раз уехали без двадцатиграммовки. Хорошо, что у меня в кармане оказалась запасная. Что еще взять надо?..

Через минуту он уже носился по лаборатории в поисках буриков для определения удельного веса почвы.

— Где бурики? — спрашивал он у всех. — Единственные приличные бурики были шестой и восьмой и те пропали! Я убежден, лежат они где-нибудь. Олег! Давай снимем эти ящики, нет ли их в самом нижнем?

Они сняли тяжелые ящики, составленные один над другим в углу лаборатории и стали рыться в них.

— Вот этот, Володька, кажется ничего, — сказал Олег, разглядывая вытащенный бурик.

— Третий? Хороший! Берем его с собой, но одного мало. Интересно у Манефы Юрьевны есть какой-нибудь бурик. Она свой привезла из Москвы. Олежек! Иди попроси у Манефы Юрьевны.

Володька вытащил из тумбочки два термометра.

— На, Белашка! Положи их вон в тот футляр!

Галя приняла из рук Володьки термометры, и вдруг один выскользнул из ее рук.

— Разбила... виновато сказала она и, со слезами на глазах, склонилась собрать стекла. Она ждала, что сейчас разразится страшная гроза, и боялась поднять голову.

Но Володька, вспыхнувший было от гнева, сказал только:

— Разбила уже! Так и знал! Ну ладно, одним обойдемся! Последнюю фразу он произнес не так сердито. Вид Гали, убитой своей оплошностью, смягчил его. Да и некогда ему было думать об этом термометре.

— Наталья Михайловна! Положите разновес к себе,

только хорошенько заверните! — крикнул он, выбегая из лаборатории.

Через полчаса он стоял на крыльце и, вытирая тыльной стороной ладони пот со лба, сказал с облегчением:

— Ну, кажется, все погрузили! Олег, список у тебя. Читай! Ничего мы не забыли.

В списке перечислялось множество вещей, нужных в пути и на месте работы. Список был составлен ими еще с вечера.

— Подожди... Фляга одна? Мало. Надо две. Тимофей Алексеевич! Давайте еще одну флягу!

— А ведра, ребята, взяли? — спросил шофер, вынырнув откуда-то из-под машины. На мое ведро не рассчитывайте, берите свои.

— Взяли! — нетерпеливо ответил Володька. — Что значит не рассчитывайте. А если понадобится до зарезу!

А сам подумал: «Ох, и жила же этот Тимофей!»

— Вот ты фордыбачишься, Владимир, — сказал Тимофей Алексеевич, с кряхтением взваливая в машину жестяную флягу на 25 литров, — а того не поймешь, что каждый должен о себе думать. Взять то же ведро. Вы ему враз башку свернете, а мне оно три сезона служило и еще столько же прослужит.

Володька сделал негодующий жест. Он хотел возразить Тимофею насчет этого: «каждый должен о себе думать!» но Олег бросил на него выразительный взгляд, и Володька сдержался.

— Ну все! Поехали! — сказал он, садясь в кабину, и крикнул в кузов:

— Маша! Последи, чтобы и второй термометр не разбился!

До участка Тернового было семьдесят километров, Наталья, которая впервые выезжала в такую дальнюю поездку, думала, вот приедут они, устроятся с жильем, разместят лабораторию, отдохнут с дороги, подкрепятся, а с утра примутся за работу.

Но машина остановилась возле какого-то чахлого колка, где росли корявые застарелые дубки. Володя выпрыгнул из кабины и крикнул весело:

— Приехали, друзья! Выгружайтесь! Олежка, сбрасывай буры!

«Неужели сразу и работать?» Чуть было не спросила Наталья.

Начинать работу «с места в карьер» в таких поездках было в порядке вещей. Даже Тимофей Алексеевич, который очень следил за тем, чтобы лишнего не переработать и тот не находил в этом ничего странного.

— Бурильщики-и-и! Ко мне! — скомандовал Володька. — Маша, ты будешь с Олегом! Белашка со мной!

— Лучше бы я с Олегом бурила... — робко сказала Галя.

— Ничего, Галочка, мы еще с тобой побурим, — утешил ее Олег.

Но Володька как будто не слышал этого разговора.

— Значит так, — продолжал он деловито, — вы берете с Машей пробы из двух скважин на два метра. Ясно?

— Ясно.

— Олежка, если трудно будет бурить на солонце, не надрывайся, оставь, после вместе пробуруем.

— Ладно! — Олег взвалил бур на плечо, взял ящик со стаканчиками, и они с Машей пошли к своей точке. Наталья отправилась с гербарной папкой собирать растения. Тимофей Алексеевич завалился спать в машину. Галя и Володька остались одни.

Глядя себе под ноги, Володька сделал несколько шагов в сторону, выбирая место для бурения. Галя, как тень, следовала за ним. Она боялась, что не справится с работой, сделает что-нибудь не так, и Володька, чего доброго, обругает ее или прогонит совсем.

— Вот здесь начнем, — сказал он, найдя нужную точку. — Приготовь стаканчики...

Но прежде чем начать, он прочитал ей лекцию о бурении. Уж если на то пошло, что она должна пройти у него хорошую школу, ей придется начать с азов.

— Приготовь тетрадь. Приготовила? Пиши... Номер ключа...

— А что такое ключ?

— Ты и этого не знаешь! — нахмурился Володька, но набравшись терпения, объяснил Гале, что такое ключ. Оказывается, «ключ» — это всего-навсего участок с типичной почвой. Гале это показалось забавным! Она и не подозревала о существовании почвенного ключа. Она знала ключ скрипичный в музыке, знала ключ от замка, ключ-источник, студеный, журчащий. Знала ключ, как отвлеченное понятие, например, во фразе: «Орошение — ключ к решению многих важных проблем». Фразу эту

недавно сказал Щербинский в своем докладе. Знала ключ... В каком еще значении может быть это слово?.. Галя задумалась, лицо ее стало рассеянным.

Это не понравилось Володьке. Он сухо продиктовал Гале номер ключа и рассердился, когда она неправильно написала его. Затем приступил к бурению.

Бур с глухим шуршанием вгрызался в землю. Сначала он шел довольно легко, но чем глубже, тем больше труда стоило Володьке крутить рукоятку.

Галя сидела на подогнутых под себя ногах и ждала, когда Володька вытащит бур.

— Битте! — говорил Володька, протягивая его Гале. Она должна была осторожно отколупнуть почву в подставленный стаканчик, а остатки почвы выскрести из ложки стамеской. От того, что Володька следил за ней, она была точно скована, руки дрожали и земля из ложки бура высыпалась мимо стаканчика.

— Ты не торопись, спокойнее... — сказал Володька, хотя в душе он хотел бы, чтобы дело шло живее. С Машей они не сидели бы столько на одной точке. Той только знай подавай бур, успеет за тремя бурильщиками.

Бурить становилось все труднее и труднее. Бур теперь, ввинчиваясь с сухим скрипом, проходил через столбы солонца, где почва скипелась от солей. Володька дышал тяжело, со свистом. Пот катился по его багровому лицу.

— Ух! — то и дело говорил он, останавливаясь передохнуть.

— Ничего, дальше пойдет легче, почва будет влажная, — успокаивал он себя. Но легче, как видно, не становилось. Вот он опять выпрямился, вытирая пот со лба.

— Володя! Тебе тяжело? Дай, я помогу!

Галя взялась за рукоятку бура и начала крутить ее вместе с Володькой. Но крутили они ее не в лад и только мешали друг другу.

— Нет, Галя, пусти. Я лучше один...

Володька не заметил даже, что назвал Галю уже не «Белашкой», а по имени. Но Галя отметила это. От неожиданности она на мгновение выпустила рукоятку бура из рук, но тут же спохватилась и принялась крутить ее с удвоенным рвением. Скоро движения их стали согласованнее. Бур визжал, стонал, вгрызаясь в плотный грунт.

— А верно, вдвоем легче! — сказал Володька, точно открытие сделал. — Стоп! Взяли! — скомандовал он. Поддев на себя согнутыми и локтях руками рукоятку бура, стал тянуть его вверх, пытаясь вытащить. Галя тоже ухватила руками за штангу. Оба тяжело дышали, но бур не двигался с места.

— Ну-ка шевельни!

Галя принялась раскачивать бур за штангу, а Володька рывками дергал его вверх. Наконец, им удалось вытащить бур. Почти счастливые они смотрели друг на друга.

— Ух, и работка! — тяжело отдуваясь сказал Володька. — Устарела наша техника, идет от времен Докучаева. Если мы с Олегом не придумаем что-нибудь не ломаем в корне эту древнюю методику бурения, я буду считать, что напрасно прожил жизнь...

Через минуту бур снова «заело». Как ни раскачивали они его, ничего не вышло.

— Тимофей Алексеевич! — крикнула Галя вылезавшему из машины шоферу. — Идите скорее! На помощь!

— Чего у вас? — недовольным тоном пробурчал Тимофей Алексеевич. — Бур не вытащите? Ты, Владимир,крепи рукоятку, а то зубы себе, к черту, повышелкаете, — и с опаской взялся за бур. Но скоро забыв об осторожности, он вместе с Володькой и Галей изо всех сил стал тащить его.

— Страдальцы! — трагическим голосом произнес он в последнем усилии вытащить бур. — Ох, свят, свят, вытащили! — шутливо перекрестился он, когда бур, наконец, благополучно извлекся из скважины.

— И что ты думаешь делать дальше? — спросил Тимофей у Володьки.

— Что дальше делать! Бурить! Ну-ка, Галя, сядь на рукоятку, мы тебя с Тимофеем Алексеевичем покатаем на карусели.

Гале это предложение показалось невероятно забавным. Никогда еще не каталась она на такой карусели. Ей и хотелось прокатиться и боялась, что Володька решил подшутить над ней. Но Володька не шутил, он повторил приглашение:

— Садись! Нам легче будет! Ты же все-таки груз!

Галя села на рукоятку бура, и Тимофей Алексеевич с

Володькой стали вертеть ее. В конце концов, обессилив от хохота, она свалилась на землю.

Подошла Наталья. Ее гербарная папка разбухла от растений. Улыбаясь, смотрела Наталья на эту забавную карусель, а потом бросила папку на землю и сама принялась помогать.

Володька удивился тому, как ловко она справлялась с работой: следила за делениями на штанге и брала пробы в стаканчики.

— Вы забыли, Володя, что я жена почвовед! — мягко ответила она на замечания Володьки. Тимофею уже нечего было делать. Он стоял возле, заложив руки в карманы, позевывая от скуки.

— Ты что, Владимир, до темна бурить собираешься?

— До темна не до темна, а до светла будем.

— Значит, кадрель эта еще не скоро кончится. Коль так, давай второй бур, тоже бурить буду.

Двумя бурами дело шло уже совсем хорошо. Наталья бурила с Тимофеем Алексеевичем, Володька попрежнему с Галей.

— Владимир! — крикнул Тимофей Алексеевич. — Темнеет! Давай кончать! А то растеряем мы тут все свое барахло!

Он бросил бурить и стал подтаскивать к машине разбросанное по степи оборудование.

— Интересно, найдем ли мы лампы или не найдем? — озабоченно сказал Володька, когда машина тронулась с места. — Хорошо было бы сегодня же все взвесить.

— Володя, нам надо еще буры наточить сегодня, — напомнил Олег.

— Обязательно.

На усадьбу к Борису Матвеевичу, начальнику первого производственного участка, где они должны были жить эту неделю, попали поздно ночью. Все уже спали, лишь в конторе, размещавшейся в дощатом сарае, горел свет.

— Подворачивайте к конторе, Тимофей Алексеевич! — перегнувшись из машины, крикнул Володька.

Машина остановилась. Из сарая вышел Борис Матвеевич Терновой. Он был в галошах на босу ногу, ворот его рубашки был расстегнут.

— А я думаю, что за полуночники? — сказал он, глядя в темноте в приезжих. — Вы что так припозднились-то?

— Работа задержала, Борис Матвеевич! — важно ответил Володька, протягивая руку.

— Как у вас, Борис Матвеевич, с жильем? Сможете нас устроить? Нам, главное, лабораторию разместить, чтобы она закрывалась.

— Найдем.

В сопровождении Тернового через несколько минут они подъехали к дому. Это был жилой дом, наполовину отстроенный. В нем настланы были полы, сложена печь, вставлены стекла, но стены только что оштукатурены. Темные, не успевшие просохнуть они придавали комнатам угрюмый вид.

— Хорошо! — сказал Володька. — Здесь мы и расположимся. Спасибо, Борис Матвеевич! Маша! Галя! Вносите вещи! Олег, идем в контору за столом! Наталья Михайловна, захватите из конторы лампу, Борис Матвеевич дает молнию.

Когда возвратились обратно, то застали Машу и Галю за мытьем полов. Тимофей Алексеевич обеспечивал им к окну и на проводе, подключенном к аккумулятору, подбесперебойное освещение, он подогнал машину вплотную весил лампочку «желтый глаз».

— Вот тебе на! Расшлепались! — удивился Володька. — И чего это вам вздумалось мыть их!

Он стоял у порога озадаченный, утратив всю свою независимость, как человек внезапно выбитый из колеи. — Я думал: принесем стол, соберем аналитические весы, и начнем взвешивать. А тут на тебе!

— Да ты только посмотри, Володька, сколько мусору мы выгребли! — сказала Маша. — Вот удовольствие было бы целую неделю в прязи валяться!

Володька ушел злой. Наталья принялась помогать девушкам. Маша, конечно, была права, вымыть пол было необходимо, валялись на нем куски битого кирпича, присохли ошметки глины, оставшиеся после штукатурки.

Наталья обратила внимание на то, какие красивые полные руки с ямочками на локтях были у Маши. Она туго выкручивала тряпку и, согнувшись, сильными размашистыми движениями протирала пол насухо. Разве можно было сказать, что она устала, что провела целый день в степи на тяжелой работе.

— Девочки! Вам чистой воды не надо? — спросил Олег, открыв дверь и, ставя ведро с чистой водой у поро-

га. — Надо! Надо! Олеженька! — обрадовалась Галя. — Вот умница, что догадался!

Наконец, пол был вымыт, вещи внесены, стол поставлен на место.

Тимофей Алексеевич, на котором лежали обязанности «кока», успел уже вскипятить чай на примусе.

— Пейте-ка чай, ребята, да ложитесь спать. Какая уж сейчас работа! Утро вечера мудренее...

Но Володька и слышать не хотел об этом.

— Сегодня во что бы то ни стало надо наточить буры и взвесить пробы, чтобы пораньше выехать в степь. Пейте быстрее и за дело, — скомандовал он.

Чай пили на полу, разостлав на нем вместо скатерти плащпалатку. Ребята здорово проголодались. Наталья не успевала резать хлеб и намазывать ломти маслом. Ей приятно было делать это, приятно, что все ели много, как и должны есть здоровые люди, хорошо поработавшие на свежем воздухе. Чайник у Тимофея Алексеевича был большой, но выпили его весь.

— Ух, вот напился! — сказал Володька, отодвигаясь. Еда и отдых разморили его. Лицо покраснело, синие глаза посоловели, блаженная улыбка человека, отдыхающего после хорошей работы, растягивала рот.

Когда Тимофей Алексеевич вновь стал убеждать, что «утро вечера мудренее», Володька неожиданно согласился с ним.

Ребята и Тимофей Алексеевич легли спать в первой комнате, проходной, девочки и Наталья в следующей. Вытягиваясь в своем спальном мешке, Галя сказала восторженно:

— Ой, девочки! Как хорошо-то! И уже совсем сонная спросила:

— Маша! Ты не спишь?

— Нет.

— Давай завтра поспим подольше, пусть мальчишки без нас успеют все взвесить!

— Мальчишки очень устают за день, бурение — тяжелая работа, — сказала Маша. — Надо хоть тут освободить их и взвесить самим.

— Да, конечно, — вздохнув, согласилась Галя. — Володька просто измучился с этой скважиной на солонце.

Утром Наталья проснулась рано. Все еще спали. Как ни старалась она одеться тихонько, чтобы не разбудить

девочек, но Маша проснулась. Сонными, непонимающими глазами огляделась вокруг и вскочила испуганная: «Проспала?» Наталья подумала, что одевшись, Маша сядет за взвешивание, а Галю, наверное, пожалеет разбудить.

Взяв гербарную папку, она тихонько вышла.

Ей предстояло пройти через комнату, где спали мальчишки и шофер. Тимофей Алексеевич спал на спине, широко открыв рот, всхрапывая, Олег лежал богатырски раскинув руки, лицо его и во сне было нежно, задумчиво. Володя спал на боку, поджав ноги «калачиком». В этой его позе было столько мальчишеского, что Наталья улыбнулась: «Начальник отряда комплексной экспедиции».

Выйдя на воздух, Наталья пошла к розовевшей вдали голой, как лысина, балке. Она решила до того, как все проснутся и покончат со вчерашними делами, обследовать эту балку. Может быть, днем ей, помимо своей работы, придется помочь в бурении.

Она шла по степи, время от времени наклоняясь, выкапывала растение и закладывала его между листами бумаги. На душе ее было спокойно. Впервые за последние два месяца ей было так легко. Она шла, не думая ни о чем, наслаждаясь бездумно и этим розовым утром, и самой работой, и сознанием того, что она равноправный, а главное, нужный член маленького коллектива.

Галя проснулась от того, что под окном зашумела машина. В комнате никого не было. В углу, где спала Маша, белел вкладыш ее спального мешка, очевидно, Маша так торопилась, что не успела свернуть постель.

Галя вытянулась в сопредет спальном мешке и зазмурилась. Хорошо-то как! И какое это счастье, спать сколько хочется, и есть же такие счастливые люди, которым не надо чуть свет подниматься. Вот лежишь так, закроешь глаза и знаешь, что не спишь, а какой-то сон начинается уже снится. Все! Встаю!... Раз, два, три!

Галя села и начала одеваться. В комнату заглянул Володька.

— Володька! Убирайся! Не видишь, я одеваюсь! — крикнула Галя и набросила на плечи платье, которое собиралась надеть.

— Подумаешь, не одета! Дольше бы копалась! — голова Володьки скрылась за дверью.

— Скоро что ли? — Тут же крикнул он нетерпеливо— Мне бурики нужны!

— Входи!

— Засоня! Добрые люди уже наработались, а ты только глазки продираешь!

— Так чего же ты не разбудил меня?

— Разбудишь тебя, сама, как сурок спала!

На самом деле они с Машей пожалели разбудить Галя, не разбудили и Олега. Володька один наточил буры, хотя для этого ему пришлось встать чуть не в пять часов вместо семи. Пока он точил буры, Маша успела все взвесить, а Наталья Михайловна вернулась из степи с туго набитой папкой. Вернулась бодрая, порозовевшая. Темные глаза ее блестели оживленно.

Сразу же после завтрака выехали в степь. Было еще довольно рано. Сильный порывистый ветер налетал на полынь, она гнулась к земле, и ходили по ней зыбкие волны. Запах полыни сегодня был особенно удушлив или, может быть, казался таким. Переднее полотнище брезента было откинута, и ветер свободно гулял в машине.

Володька стоял в ней широко расставив ноги, придерживая полевую сумку, висящую через плечо, отводя ее слегка назад.

«Вот, — думал он, приписывая свои мысли тем, кто видел его сейчас, — стоит в машине, подставив лицо встречному ветру, сильный, волевой человек, начальник одного из отрядов комплексной экспедиции. Ни единый мускул не дрогнет на его лице. Он уже не молод, ему двадцать два года (скоро будет двадцать два.). У него твердый взгляд, мужественное обветренное лицо, чисто выбритые щеки»...

Володька потрогал редкую щетину на своих щеках и покосился на Галя. Она смотрела на него. Володька нахмурился, басовито крикнул, поправил на плече ремешок сумки.

Галя, смущенная тем, что взгляд Володьки застал ее врасплох, негодуя вскинула голову и придала лицу надменное выражение: «Мальчишка! Воображает из себя!» Точно такое же выражение у нее было тогда в трамвае, когда ему вздумалось почитать книгу из-за ее плеча.

— Далеко что ль ехать-то? — высунулся из кабины Тимофей Алексеевич, спрашивая у Володьки.

— Поезжайте ко вчерашнему колку, Тимофей Алексе-

евич! И снова машина мчится степью, крытая брезентом, похожая на маленький дом на колесах. Да она и в самом деле как дом. В ней есть все, что нужно для жизни и работы в степи отряду в несколько человек. Все вплоть до примусной иголки и томака стихов Щербины.

В конце недели Наталья, Маша и Галя работали только на картировании почв. С бурением было закончено. Осталось лишь глубинное бурение, для чего необходимо было заложить шурф.

И вот Володька и Олег били шурф на солонце. Почва здесь была твердая, веками скипевшаяся от солей, одной лопатой невозможно было обойтись, приходилось долбить и ломом. Володька и Олег делали это посчередно. Руки их покрылись кровавыми мозолями, они почти выбились из сил. Было жарко, хотелось пить, губы обветрели, во рту все пересохло. Во фляге оставалось немного воды, но это был неприкосновенный запас, который берегли для определения водопроницаемости почвы.

Солнце белым расплавленным шаром повисло над ними, от его яркого света начинало ломить глаза. Временами налетал порывистый ветер, но он не приносил облегчения. Налетит, обдаст жаром, и вдруг покажется, что кто-то открыл дверцу огромной духовки.

Не было ни души кругом, только они двое в яме, голые по пояс, обливающиеся потом.

— Вот, дьявол! — проворчал Володька, разглядывая свою ладонь, скованную, онемевшую, до блеска натертую древком лопаты.

— Что ты? — спросил Олег, выпрямляясь. Он был выше Володьки, и сейчас его голова забавно торчала из ямы. Володьки из ямы уже не было видно.

— Мозоль лопнула!

Олег поморщился. Он знал, как это больно.

— Надо перевязать! — посоветовал он.

— Чем же ты перевяжешь? Бинта-то нет! Ладно! Поехали дальше, — сказал Володька и снова взялся за лопату.

Некоторое время оба работали молча. Но Олег не мог долго молчать работа не мешала ему думать о самых разнообразных вещах, порой не относящихся к работе. Но чаще всего она настраивала его на философский лад.

Вот и сейчас. Он выпрямился, восторженно оглядел голую, как лысина, степь и мечтая вслух, заговорил.

— Пройдет лет пятнадцать, Володька, и не узнаем мы этих мест. Поднимутся леса, климат станет мягче, и будет где укрыться от солнца.

Он ждал, что скажет Володька, но тот молчал, с трудом вгоняя в грунт лопату:

— А правда, Володька, хоть и трудно сейчас, а хорошо сознавать, что капля и твоего труда в этом деле есть...

— Капля пота ты хочешь сказать!

Володьке почему-то всегда хотелось сбросить Олега с высоты, когда тот начинал говорить в «высоком стиле».

— Пусть капля пота, крови, желчи... — согласился Олег. — Важно, что мы не стоим в стороне от этого дела.

После минутного молчания он продолжал философствовать:

— Я очень рад, что мы с тобой, Володька, почвоведы. Замечательная специальность! Сколько возникает мыслей. Я решил ничего не брать на веру. Раньше всему на слово верил, а теперь нет. Ты имеешь, Володька, свой взгляд на то, как действует лес на почву?

К яме подошла тетка с хворостиной, босиком, подол ее юбки был подоткнут.

— Ребята! — сказала она степенно поздоровавшись. — Вы тут телка беспричального не видели?

— Вот он ваш телок! — зло ответил Володька, который еще утром выгнал телка из лесопосадок. Он вылез из ямы и, встав перед ней, наставительно и грозно сказал:

— Предупреждаю честно, если будет потрава, то штрафом не обойдетесь! Это опытный участок экспедиции, и никаких потрав не должно быть. Травы теперь нет, пускаете скот без пастуха, вот коровы и лезут в лесополосы...

— А то не полезут что ли! Знамо полезут! — охотно согласилась баба, обезоруживая этим Володьку. — Худоба она понимает что ли!

Баба ушла искать своего «беспричального телка». Володька снова прыгнул в яму.

К полдню шурф на три метра был готов, оставалось самое трудное — пробурить со дна его еще на два метра вглубь. Почва на дне шурфа была глинистая, вязкая. Пока бур ввинчивался в нее, было еще полбеды. Вытащить бур — вот где была мука! Его засасывало тяжелой гли-

ной. И когда все же удавалось вытащить, он хлопал, как пробка, вытщенная из бутылки.

Прошло по меньшей мере часа четыре, пока они разделились с глубинным бурением. Теперь оставалось одно — взять пробы на удельный вес и поставить трубки на водопроницаемость. Последняя работа особенно задерживала Володьку и Олега.

Они сидели на краю ямы и с нетерпением поглядывали на трубки, вода из которых никак не хотела уходить.

— Вот и будем тут, как дураки, сидеть всю ночь, — ворчал Володька. — А какой толк! Все равно определение водопроницаемости на глубине полутора метров не имеет практического значения. Кто же будет промачивать почву на такую глубину, когда здесь и воды-то нет.

Он злился на Олега, предложившего проследить процесс водопроницаемости в глубинных горизонтах.

— Ты не прав, Володя, — спокойно возразил Олег. — Во-первых, вопрос имеет теоретический интерес, а мы с тобой решили ничего не брать на веру, во-вторых, недалек день, когда опыт этот будет иметь и практическое значение, вода-то придет сюда!

Возвратились они домой около полуночи. Галя и Тимофей Алексеевич уже спали, но Маша и Наталья Михайловна сидели у лампы и разговаривали, поджидая их.

— Боже мой, как вы долго! Вот устали, наверное! — сказала Наталья. — Умывайтесь скорее, ужин еще горячий.

— Это все Олежка втравил меня! — пожаловался Володька, поддевая со сковороды горячую картошку, но тут же с увлечением сам принялся рассказывать о проделанном ими опыте.

— А интересные вещи получаются, Наталья Михайловна! На полутораметровой глубине вода ушла за восемь часов, а на глубине трех метров так до сих пор и стоит. Еще и завтра ее застанем!

Володька осунулся за эти дни. Небритая борода рыжей щетиной проступала на его щеках и подбородке. У Олега щеки впали и от этого нос казался больше.

Наталья смотрела на них, с жадностью уничтожающих ужин, и горячая волна нежности к ним охватила ее. Как хотела бы она, чтобы ее Юрка вырос таким же честным и страстным в работе как эти мальчишки. Что надо сделать, чтобы он вырос таким?

Прожив на участке несколько дней и найдя гипс на сравнительно небольшой глубине, они уехали от Тернового, довольные тем, что смогли помочь ему.

Поездка эта дала Наталье очень многое. Помимо того, что в эти дни она успокоилась, отдохнула от душевного напряжения, почувствовала себя членом маленького, тесно спаянного коллектива, она поняла, что только работа сможет заполнить ту пустоту, которая образовалась в ее жизни. Сейчас ей было уже страшно подумать о том, что по возвращении в город ее жизнь заполнится только детьми.

* * *

— Подъе-е-м! — крикнул Володька, пробегая с полотенцем и мылом к умывальнику. Он только что встал, сделал гимнастику и ему казалось просто немыслимым, что кто-то мог еще спать в такое чудесное утро.

В палатке девочек послышался шорох. Галя спросила сонно.

— Девочки! Который час?

— Четверть седьмого, Галя! Пора вставать!

— Ой, как не хочется! Я еще минуточку посплю. Мне кажется, я только заснула...

Галя говорила жалобно просительно и тут же заснула. Она не слышала, как встали и оделись другие девочки, и только когда, уходя умываться, они стащили с нее одеяло, она села на постели и со вздохом начала одеваться.

Через минуту от ее сонливости не осталось и следа, и Гале уже самой казалось странным, что ей так трудно было подняться. Наскоро причесавшись, она во весь дух помчалась к умывальнику.

— Клава! Займи мне место за столом. Я забегу в лабораторию приготовить стаканчики.

— Ты разве берешь сегодня на влажность?

— Ну да, мы с Володькой бурим на солонце.

После поездки на участок к Терновому Галя была уже не та тихая, робкая девочка, которая пугалась одного слова «бурить», смутно представляя себе, что это такое. Теперь она с полным правом могла сказать: «Мы с Володькой бурим на солонце». И самого Володьки она уже не боялась. Наоборот, ей казалось, что с некоторых пор Володька ее побаивался. Он уже не смел называть ее «Белашка», а звал, как и все, Галя.

В лаборатории была одна Маша. Вынув из шкафа готовую сушку, она расставляла ее на столе, чтобы поскорее остудить. Сегодня Маше предстояло взвешивать одной. Галя уезжала с Володькой.

— Маша! Какие стаканчики можно взять? Эти? А они свободны? Ну, конечно, нет!

У Гали с досады даже слезы навернулись. Этот Володька просто невозможен. Ведь последняя сушка была его. Рывком срывая крышки с алюминиевых стаканчиков, Галя вытряхивала из них почву. Она торопилась. Господи, неужели она опять опоздает, как в тот раз. Тогда по ее вине задержалась машина, и ей здорово попало от начальника экспедиции.

«Галина Николаевна! — сказал он, — мы не ассоциация вольных художников. И если людей наказывают за двадцатиминутное опоздание, то почему мы считаем себя вправе опаздывать на полчаса!»

Она тогда готова была провалиться от стыда.

Все уже сидели за столом в ожидании завтрака, когда Галя прибежала в столовую. Около Клавы места не было.

— Клавочка! Я же просила тебя!

— Ну что же я сделаю, Галка! Если Володька пришел и сел на твое место.

Опять этот Володька! Ну что за противный мальчишка! Мало того, что ей пришлось освободить за него стаканчики, так и тут еще... Нет, этого она не оставит.

— Ну ка, девочки, помогите!

Общими усилиями Володьку высадили из-за стола. При этом поднялась такая возня, что из рук Ольги Павловны чуть не вылетел поднос, на котором она принесла завтрак.

— Да что вы, девчата! Сдурели что ли!

— Ольга Павловна, это не мы! Это Володька виноват!

— Опять Володимер! Ох, и беда же с тобой, парень! — добродушно сказала Ольга Павловна. Володька был ее любимец.

Все принялись завтракать. Володька сидел на порожке столовой и держал свою тарелку на коленях. Лицо его показалось Гале грустным.

У нее сжалось сердце. Ну зачем она прогнала его? Они прекрасно могли бы все поместиться за столом, если бы только чуточку потеснились.

— Девочки, подвиньтесь! Володя! Иди сюда, здесь есть место!

— Мне и тут хорошо!

Обиделся. Ну, ясно, обиделся. Теперь будет дуться весь день, не разговаривать. Ну, и пусть! Это ей надо обижаться, а не ему. Кто сегодня целое утро провозился с его стаканчиками!

— Володька, если ты еще хоть раз оставишь стаканчики с почвой, я пожалуюсь Манефе Юрьевне.

Володька молчал. Может быть, он не слышал ее?

— Володя! Ты слышишь?

— Слышу.

Галя получила удовлетворение, но не надолго, через минуту она уже фаскаивалась в своих словах. Все-таки, она свинья порядочная. Подумаешь, стаканчики, как будто так трудно было освободить их. Уж если на то пошло, то она Володьке гораздо большим обязана. Разве мало он помучился с ней, пока овладела она методикой полевых работ. Кто научил ее брать пробы на влажность, на удельный вес, ставить опыты с влагоемкостью, с водопроницаемостью почвы? Действительно, она прошла у него хорошую школу. Это даже Иван Иванович отметил. И, чтобы загладить свою вину, Галя ласково спросила:

— Вовочка! Ты выбрал хороший бур? Не очень? Павел Васильевич! — Закричала она Брынзе, который переступил порог столовой. — Павел Васильевич! Почему у нас все буры кривые?

— Гм... Почему? «Удивительный вопрос, почему я водовоз!» Вы что думаете, если бур железный, так ему и износу нет? Вот в понедельник соберу все буры, не дам ни одного, да и отвезу их в кузню на ремонт.

— А как же бурение? Оставьте хоть один, Павел Васильевич!

— А через два дня из-за этого бура опять машину гнать!

— Но, Павел Васильевич! Нам же бурить надо! Вы понимаете, бурить!

Сам того не подозревая, Володька с улыбкой смотрел на Галю. Ему приятно была ее горячность, ведь речь шла о бурении для его дипломной.

— Не волнуйся, Галя. Александр Петрович дает нам сегодня Петю.

— Петю! Ура-а! — восторженно закричала Галя.

Она успела перехватить любующийся взгляд Володьки, и ей стало отчаянно весело. — Ух, и денек же будет сегодня! Петр Иванович! Вы сегодня с нами! — объявила она Петру Ивановичу, явившемуся завтракать.

Петр Иванович был в экспедиции разнорабочим. Он выполнял самые тяжелые работы: бурил, копал ямы, бил шурфы. Это был здоровенный дегина с белыми «сметанными», как говорила Ольга Павловна, волосами. Глазки у него были маленькие, и над ними тщательно подровненные бритвой белесые брови. Он следил за собой и чисто и аккуратно одевался. Вообще он был неплохой парень, но водились за ним странности, которых никак было не понять, а особенно молодежи. Петр Иванович — был верующий.

«На пасху», например, он два дня не работал, категорически отказался.

«Отдавайте под суд!» — твердил он, когда его пытались образумить. Под суд его, конечно, не отдали, а два лишних воскресенья он отработал. «Под пасху» же он отправил своим родителям, жившим где-то на севере, телеграмму, в которой поздравил «дорогих папашу и мамашу со светлым праздником христового воскресения».

Ребята пытались представить, что было с телеграфисткой, принимавшей такую телеграмму.

— Петя! Неужели ты в бога веришь? — спрашивали они.

— Верю, вот и крест ношу!

Петр Иванович лез за ворот рубашки, вытаскивал крест и охотно показывал его всем. Ребята смотрели на крест как на какое-то чудо, а на самого Петра Ивановича смотрели с сожалением. Надо же такой заскок иметь человеку!

— Это его, там, на севере, молокане с толку сбили! — строил предположения Брынза, который и сам не знал хорошенько, что это за «молокане».

* * *

— Ох, девочки, и устала же я сегодня! — сказала Галья, вытягиваясь на своей постели. — Пробурили две точки на солонце и одну на светло-каштановой. На солонце было что-то ужасное. Мы чуть не валились с ног от усталости, так было трудно. А тут еще этот Володька. Манефа Юрьевна сказала ему сейчас в столовой, что выбрал он

не характерный солонец, вот он и «скис». «Не характерный!» Терпеть не могу таких беспринципных людей!

Галя с ожесточением подоткнула кулаками подушку и еще раз повторила:

— Терпеть не могу!

— Галя! А, может быть, и в самом деле бурили не там!

— Что? — оскорбилась Галя и даже села на постели. — Володька, кажется, не первый год работает с почвами, и уж во всяком случае отличит солонец от светло-каштановой почвы!

— А глубину залегания гипса ты отметила? — спросила Маша.

— Ну, конечно, отметила! Что за вопрос!

Но Маша во всем любила точность, она была пунктуальна до педантичности.

— Какая глубина?

— Не помню, кажется, семьдесят пять... небрежно бросила Галя. Но вдруг внутри у нее как будто все оборвалось. Она не помнила, сделала ли вообще отметку о гипсе.

А что, если не сделала? Тогда что? Тогда — потерял день работы не только ее и Володьки, но и Петра Ивановича, который бурил с ними.

То, что они с Володькой зря потратили день, было еще полбеды, а вот то, что рабочий день Петра Ивановича прошел впустую, это было уже совсем ужасно. Петр Иванович получал зарплату, и, значит, на ветер были выброшены государственные деньги. Нет, надо пойти сейчас же в лабораторию и все выяснить, проверить в журнале.

— Пойти посмотреть, не готова ли сушка, — равнодушно сказала Галя, вставая с постели.

Придя в лабораторию, она бросилась к тумбочке, достала журнал и стала лихорадочно листать его.

Так... номер ключа... Дубовая балка... участок номер три... Солонец. Глубина тридцать, сорок, семьдесят — сто сантиметров... А где же отметка о гипсе? Отметки о гипсе не было. Как же так? Галя отчетливо помнила, что гипс показался на глубине семидесяти пяти сантиметров. Да, да. Она убеждена в этом. Но почему же нет отметки о нем? Это ужасно!

Галя села на табуретку, держа в руках раскрытый журнал и заплакала. Если бы была эта отметка о гипсе, как все было бы хорошо! Володька тогда доказал бы, что солонец выбран им правильно, что бурили они не зря, и что рабочий день Петра Ивановича не пошел прахом. А теперь, как все это докажешь?

В лабораторию заглянул Володька. Увидев плачущую Галю, он был озадачен.

— Ты чего размокла..?

Галя заплакала сильнее. Как сказать ему, что отметки о гипсе нет. Да он презирать будет ее всю жизнь...

— Гипс? — спросил Володька.

Галя кивнула головой и, перестала плакать от удивления. Как догадался он? Она не знала, что Володька, после замечания Манефы Юрьевны, сам просмотрел записи. Как он был зол на Галю не найдя спасительной отметки о гипсе!

Сейчас жалкий вид плачущей Гали обезоружил его. Конечно, он сам во всем виноват, не надо было так надеяться на других и проверить самому.

Володька с преувеличенным вниманием перебирал образцы почв, стараясь не глядеть на Галю.

— Володя! Что же мы будем делать? — спросила она со страхом.

— Завтра выходной день, все будут отдыхать, а мы с тобой уйдем пораньше и снова пробурием эти точки.

— Пешком? — спросила Галя. Но Володька ничего не ответил и вышел из лаборатории.

Галя вытерла глаза еще раз всхлипнула и принялась отбирать стаканчики для завтрашней работы.

* * *

Утром чем свет они уже шли по степи. Солнце только что поднялось. Длинные тени от Володьки и Гали двигались по дороге. Утро было прохладное от росы.

Они шли быстро. На плече Володька нес бур, в руках ящик со стаканчиками. У Гали была только сумка с едой. Ей стыдно было, что она несет такую легкую ношу в то время, как Володька навьючен, но он и слышать не хотел о том, чтобы передать ей часть своего груза.

До участка было не меньше десяти километров.

Только часам к восьми они добрались до него. Им предстояло еще выбрать «характерный» солонец.

— Смотри, Галя! Видишь вон то белое пятно с глыбашками? — показал Володька на кофейного цвета почву — это, пожалуй, то, что нам нужно.

— Да, пожалуй, — согласилась Галя, — вчера мы бурили чуточку левее.

— Вот здесь начнем! — Володька поставил на землю ящик и сбросил бур с плеча.

Бурение шло туго. Бур стонал, визжал, скрипел, вгрызаясь в плотный грунт. К тому же скважина неожиданно пошла вкось.

— Вова! Отдохни! — сказала Галя решительно и отняла у него рукоятку бура. Володька и сам рад был этой возможности отдохнуть.

— Ух! Ну и работка! — сказал он. — Хотя и говорят, что почву будешь только тогда хорошо знать, когда на себе испытываешь ее плотность, ее структуру. Но избави бог от такой учебы. Нет, не я буду, если что-нибудь не придумаю...

Он снова стал крутить рукоятку, но минуты через две опять остановился передохнуть.

— Ты знаешь, на первом курсе мы с Олежкой какую штуку выкинули? — сказал он, улыбаясь. — Послали нас бурить, а нам такой злостный солонец попался, что бур ни с места... Мы возьми да и плесни в скважину воды, чтобы легче бурить было. Ох, и дурачье же были! Бурили на влажность и своими же руками подлили водички. Было нам за это от Александра Петровича... Век помнить будем! «Мартышкин труд!» «Где у вас головы были!» «Таких ослов я еще не видел!» Знаешь, ведь как он может. Вообще на первом и на втором курсах дураками были. Дальше программы ни шагу! А надо было хватать и хватать! Сейчас даже жалко. Надо столько успеть сделать!

Володька с удвоенной энергией крутнул рукоятку бура, как бы желая наверстать упущенное, но до обеда они еле-еле успели пробурить одну скважину.

— Хватит, — сказал Володька, — после обеда закончим!

Он выпрямил спину, огляделся. Жарко. Ленивая тишина стояла вокруг. В траве приглушенно стрекотали кузнечики, над головой в бледном, точно выгоревшем небе, парил коршун. Вот он сделал несколько плавных кругов и скрылся за картиной.

Обедали они в маленьком дощатом сарайчике, который в экспедиции именовался домиком физиологов. Здесь физиологи растений раскидывали свою походную лабораторию, когда выезжали в степь.

В домике было полутемно, тихо. Удушливо пахло смолой и полынью, которая росла тут же вдоль стен и под столом, грубо сколоченным из досок. Пол был земляной, и ворох травы, притащенной кем-то, лежал в углу. Как приятно было растянуться на ней!

Володька закрыл глаза. Пока Галя вынимала еду и раскладывала ее на салфетке, он успел задремать.

— Вова! Кушай! Потом уснешь! — тормошила его Галя.

После обеда Володька мгновенно заснул и спал около часа. Гале жаль было будить его.

Солнце заметно склонилось к вечеру, когда они вновь начали бурить. Ясно было, что они не успеют закончить бурение сегодня. Что же делать? Неужели еще раз тащиться сюда?

— Вова! Знаешь что, давай останемся здесь до утра! А завтра пораньше закончим!

Володька нашел это разумным. Они бурили почти до темна, до тех пор, пока видны были деления на штанге. Потом стали устраиваться на ночлег: нарвали полыни и охапками натаскали ее в домик.

— Ух, хорошо-то как! — сказала Галя, вытягиваясь на зеленой постели.

Они долго не спали. Володька неожиданно для себя рассказал Гале об отце, о мачехе. Галя была потрясена. Она представила на месте мамы чужую недобрую женщину, и содрогнулась. Наверное, эта женщина ни разу не поцеловала бы ее, а мама всегда целует, когда Галя уходит из дому, и говорит: «Ну, иди, Галюша!» И завтрак никогда бы, наверное, не положила в ее портфель. И не ждала бы ее домой... Гале хотелось как-то утешить Володьку, сделать для него что-нибудь хорошее. Чтобы разогнать мрачные думы, она рассказала о мачехе своей подруги, замечательной, доброй женщине.

— Может быть, — в раздумьи ответил Володька, но ему, хлебнувшему горя со своей мачехой, это казалось мало вероятным.

Потом Галя стала рассказывать о туристском походе, который она в прошлом году совершила по Военно-Гру-

зинской дороге. Володька лежал на спине, закинув за голову руки, и слушал, немигающими глазами уставясь в темный дощатый потолок.

Галя на полуслове умолкла. Заснула. Несмотря на все старания Володька не мог заснуть. Он прислушивался к ровному дыханию Гали и к неровному и такому непривычному биению своего сердца. Ему вдруг захотелось протянуть руку и дотронуться до открытого плеча Гали.

Но он лежал в темноте боясь пошевелинуться. Потом осторожно встал и неслышно вышел из домика. Дверь все-таки скрипнула. Володька прислушался, но Галя не проснулась. Володька постоял, посмотрел на темное небо, на котором даже звезд не было видно, сделал несколько шагов в сторону и лег, уткнувшись лицом в пахучую траву. Так он и заснул.

Утром, проснувшись, Галя испугалась, не найдя Володьки в сарае. «Наверное, работает один», — подумала она. Выскочила из домика и сразу увидела его. Он спал, скрючившись, подтянув к подбородку коленки, наверное, ночью ему было холодно.

«Глупый!» — сказала Галя и улыбнулась. Во сне лицо Володьки было красиво, спокойно. Короткий прямой нос, гривка волос, свесившихся на лоб. Чистые, четко обрисованные губы, слегка припухшие.

Галя наклонилась и, не удержавшись, поцеловала его в губы. Он открыл глаза, хлопнул ресницами, увидев над собой Галю, и, глубоко вздохнув, притянул ее к себе.

— Ну довольно, Володька! — стараясь вырваться, сказала Галя.

— Смотри, что ты со мной сделал!

Она сидела растрепанная, розовая от смущения. Володька хотел снова поцеловать ее, но Галя вскочила и побежала от него.

— Догоняй! — крикнула она.

Домой они шли тихо, не торопясь. Дорогой они выясняли очень важный вопрос. Володька все хотел уточнить, когда же Галя поняла, что любит его.

— Когда? — задумчиво переспрашивала она. — Наверное, когда сидела над тобой и смотрела, как ты спишь. У тебя такое было лицо, что невозможно было не поцеловать. А ты когда понял?

— А я понял это сразу, как только увидел тебя в первый раз. Помнишь, в трамвае. Ты еще тогда захлопнула книгу и пошла от меня. А каблучки твои тук, тук, тук! Я до сих пор помню, как они постукивали. Кстати, где у тебя эти туфли? Я ни разу больше не видел их на тебе.

Вечером они сидели вдвоем в степи.

— Правда, Володя, у нас никогда не будет так, как у Щербинских, — спросила Галя, задумчиво глядя на розовое облачко, тающее на горизонте.

— Не будет, Галя! Никогда не будет, — торжественно, точно давая клятву, сказал Володька. Он взял Галю за руку, и они долго молчали. Небо над их головами было хрустально чисто.

— И, если ты полюбишь другую... — продолжала Галя, не отрывая глаз от маленькой робкой звездочки, зажегшейся над горизонтом, — то ничего не надо скрывать от меня.

— Как ты можешь говорить так! Разве я смогу когда-нибудь разлюбить тебя. Тебя... Володька счастливыми глазами смотрел на Галю.

— Я сказала, может быть... ответила она задумчиво.

Да никогда не будет этого! Не разлюбит он Галю. И, если будут у них дети, то никогда не изведает она горькую долю полусиротства. Не будет у них ни отчима, ни мачехи, а будут отец и мать, как у всех счастливых детей.

ГЛАВА X

Второй день на лесозащитной станции шло производственно-техническое совещание по итогам инвентаризации лесокультур.

Состояние лесопосадок было тревожное. Если вяз мелколистный, акация желтая и лох узколистный чувствовали себя прекрасно и не очень реагировали на почвенные разности, то дуб никак не хотел мириться с недостатком воды в почве и с засоленностью. Хорошо он чувствовал себя только в западинках.

Александр Петрович, под руководством которого про-

ходила инвентаризация, готов был впасть в другую крайность, отказаться совсем от дуба.

— Надо прямо сознаться, что с дубом мы переборщили. В постановлении правительства дуба для этих мест не было. Вяз мелколистный, акация белая, ясень зеленый, лох, тамарикс, жимолость — вот что там было. А мы, умники, на совещаниях, заседаниях раздули значение дуба, вот теперь и пожинаем плоды своего рвения. Здесь надо создавать леса без дуба.

Вон, полюбуйтесь, вяз мелколистный как чешет! Ему и солонец нипочем! — говорил он, махнув рукой в сторону вяза, ряды которого густо зеленели среди чахлых дубков.

Денисов был не согласен со Щербинским.

— Дуб растет до тысячи лет, а ты его хочешь в пять лет вырастить. Все эти породы сменят три четыре поколения, пока вырастет дуб. Зато потомство спасибо скажет нам за него.

На совещании, докладывая об итогах инвентаризации, Александр Петрович, со свойственной ему горячностью, резко критиковал порочную, как он выразился, позицию Главного управления полезащитного лесоразведения, пытающегося административным путем провести в жизнь единую для всех областей инструкцию по лесоразведению.

— По инструкции 1949 года, действующей и по сей день, — сказал он, — предлагается сеять дуб гнездами под покров сельскохозяйственных культур. В инструкции ни слова не говорится о том, где будет производиться посев. На Украине ли, в Поволжье ли, в Астраханской ли полупустыне. Для всех этих мест даются единые указания по агротехнике, без малейшего учета климата и почв. Спрашивается, каких результатов можно ждать при столь шаблонном подходе к делу создания леса в степи?

Александр Петрович отпил глоток воды из стакана и продолжал:

— Дальше. Дуб предлагается сеять гнездами из пяти лунок — конвертом. По идее академика Власенко, четыре периферийные лунки, расположенные по углам конверта, должны защитить пятую лунку, центральную. Но как известно теория проверяется практикой. Что же мы имеем на практике? На практике пятая лунка оказывает

ся обреченной на вымирание. Периферийные лунки перехватывают, отнимают от нее всю влагу и пищу, и она отмирает. Пятая лунка — бельмо на глазу у производителей, она парализует всю технику при гнездовом посеве. Но этого мало: расстояние между гнездами таково, что три лапы культиватора не проходят в междурядьях, они обязательно повреждают по две лунки с той и с другой стороны, в результате чего выпадают и эти периферийные лунки. Гнездо — проклятье для производителей, его надо вытянуть — вести посев в строчку из трех лунок. Только в этом случае можно будет механизировать уход за лесокультурами.

Натаалья слушала Александра Петровича и думала: «Нет, видно, никогда он не будет другим. Сколько бы жизнь ни учила его, не будет он обходить острые углы. Ведь добрая половина из сидящих в зале стоном стонет от этого гнездового посева, однако никто из них не набрался смелости вот так, открыто, с трибуны, заявить: «гнездо — проклятье!»

— О норме высева желудей. Никто не знает, сколько класть желудей в лунку. Академик Власенко сказал класть тридцать пять, кладем тридцать пять. Хотя заранее знаем, что все равно произойдет самоизреживание, и незачем загонять в гнездо по тридцать—сорок желудей. Незачем тратить ценный материал, который приходится иногда везти за тысячи километров.

Александр Петрович хотел продолжать дальше, но его прервал Варно, крикнувший с места:

— Академик Власенко утверждает, что внутривидовой борьбы нет, и мичуринская биология стоит на этой точке зрения. Вы же пытаетесь проташить вредную, отжившую теорию существования внутривидовой борьбы...

Александр Петрович повернулся в сторону Варно и сказал:

— Представьте себе два гнезда. В одном сидит пять дубков, в другом сорок. Там, где сидят пять—они крепонькие, там, где их сорок — они пожелтели, вытянулись. В чем дело? Вода одна и та же, пища одна и та же. Но там, где ее хватает на пять дубков, не может хватить на сорок!

— Ясен вопрос! Чего там? — нетерпеливо крикнул Башкиров.

— По инструкции запрещается вводить кустарник

одновременно с дубом, — продолжал Щербинский, — это неверно. Дуб надо высевать одновременно с посадкой сопутствующих и кустарников. Это сократит, во-первых, объем работ, а во-вторых, кустарники к осени поднимутся, дадут опушенную головку и будут хорошими снегозадержателями. Сопутствующие и кустарники надо создавать только посадкой, практика показала, что посев ничего не дает. У нас оказались большие площади под дубом незавершенными и без кустарников и без сопутствующих. Теперь нам срочно предстоит исправлять положение — производить посадку на огромных площадях, что во много раз увеличит объем работ.

Александр Петрович перевернул несколько страниц своего доклада, сказав:

— На покровных культурах я останавливаться не буду. Это пройденный этап в наших поисках. Скажу только, что административное внедрение этого порочного метода нанесло огромный ущерб государству и лежит на совести Главного управления полезащитного лесоразведения.

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что нами были допущены три главных ошибки: гнездо из пяти лунок, исключаящее механизированный уход, посев под покровные культуры, который я считаю величайшей агрономической ошибкой, и посев сопутствующих и кустарников семенами. Вот по линии исправления этих ошибок и должна пойти наша дальнейшая работа.

Щербинский собрал листы доклада и сошел с кафедры. Денисов, сидевший в президиуме, дал ему место возле себя.

Слово взял Варно. Пока Александр Петрович говорил, Варно беспокойно вертелся на месте и оглядывал всех, точно не веря своим ушам.

— Товарищи! — дрогнувшим голосом сказал он. — По-моему ни я, ни все сидящие здесь в зале не ослышались... Профессор Щербинский предлагает ни больше ни меньше, как ликвидировать гнездо в посевах дуба!

Варно произнес эту фразу фальцетом, вздернув плечи, изумленно оглядывая всех через стеклышки своего пенсне, как бы призывал всех в свидетели, но все молчали.

— Кто дал право! Я спрашиваю, кто дал право профессору Щербинскому, — голос Варно уже гремел, —

оспаривать метод, предложенный виднейшим ученым нашей страны?

«А давно ли ты этого «виднейшего ученого» признавать стал! Вспомни, как ты пренебрежительно отзывался о нем... — подумал Александр Петрович. — Сегодня ты с пеной у рта отстаиваешь метод гнездового посева дуба, а завтра ты откажешься от него, потому что это будет для тебя уже невыгодно...»

— Вы предлагаете, — продолжал Варно, — в целях механизации вытянуть гнездо и проводить посев дуба звеньями из трех лунок в ряду. Так я вас понял? Так. Что это как не попытка ликвидировать гнездо! Но вы, уважаемый Александр Петрович, идете дальше. Вы предлагаете сократить норму высева желудей до пяти, хотя прекрасно знаете, что дубочки страдают скорее от изреженности посева, нежели от загущенности. Ваша линия ясна. Вы надеетесь, что часть желудей не взойдет, часть дубков упадет за лето, и в лунке останется один, два дубка. Тем самым, думаете вы, он избежит жестокой внутривидовой конкуренции. Чем иным, как не позицией мальтузианства, которая сурово осуждена нашей научной советской общественностью, следует объяснить ваши предложения?

Метод академика Власенко нашел широкое признание. Он по достоинству оценен миллионами тружеников, преобразующих природу. Лженаучные рекомендации профессора Щербинского дискредитируют этот метод. Мы должны осудить антинаучную вылазку профессора Щербинского, расценить его предложения как попытку вытащить на свет реакционные, мальтузианские вымыслы о наличии внутривидовой борьбы в природе...

Варно сел, с видом человека, который вынужден был говорить резко и не раскаиваться в том, что выполнил свой долг.

«Типичный бесхребетный интеллигент! Угодник! не хватает ума и смелости иметь свою точку зрения, так готов проповедовать все что угодно, лишь бы была дана команда!» — со злостью думал Александр Петрович, больше всего задетый словами Варно: «Антинаучная вылазка!»

Следующим в прениях взял слово Туповлев. Когда он поднялся на кафедру, Наталья невольно посмотрела на

мужа. Она знала, как для него неприятно сейчас выступление Туповлева, которого он считал ограниченным человеком.

Туповлев, как и Галицкий, был сторонником гнездового посева. Но если Ярослав Иванович был искренне захвачен этим методом и глубоко убежден, что это самый лучший, самый эффективный способ разведения леса не только на всем земном шаре, но даже на луне, если только там растет лес, то Туповлев был сторонником его только потому, что этот метод был предложен академиком Власенко. Сам Туповлев даже не пытался вдаваться в подробности этого метода, в его достоинства и недостатки и, когда в его присутствии начинали критиковать метод, говорил обычно:

«Рекомендовали его головы покрепче наших!»

Александр Петрович не уважал Туповлева за ограниченность, талмудизм и несамостоятельность. Ни одного смелого суждения он не слышал от него. Лекции Туповлев читал, строго придерживаясь программы, не было случая, чтобы он уклонился от нее, слушать его было скучно, и студенты поочередно ходили на его лекции, отбывая это как повинность. Но зато, если в голове Туповлева хорошо укладывалась какая-нибудь идея, он становился фанатиком ее. Таким фанатиком он был и в отношении гнездового посева.

«Талмудчик!» — безапелляционно говорил о нем Щербинский, как он всегда говорил о людях, которые почему-либо раздражали его. — Если бы не актуальная тема по схемам смещения пород, выдвинутая им для студентов, я предпочел бы не иметь дела с ним.

— Гнездовой посев дуба и выращивание его в первые годы совместно с полевыми сельскохозяйственными культурами, — начал Туповлев, — дадут возможность, как предполагает академик Ефим Данилович Власенко, создать в почве под лесными полосами возможно большие запасы влаги и избежать в засушливой зоне степи так называемого критического возраста в жизни этой породы, т. е. избежать явления суховершинности. В гнезде дубки находятся в условиях необходимого для них загущения и в то же время излишне не расходуют влагу.

«Значит они святым духом питаются» — зло подумал Щербинский и безнадежно вздохнул.

Ему понравилось выступление одного лесничего, вы-

сокого парня с рыжей копной волос и черными мальчишески озорными глазами. В его выступлении чувствовалась горячность молодости и желание во что бы то ни стало решить трудный вопрос.

— Что делать? Как работать дальше? Как выращивать лес? Я не против гнезда, основанного на мичуринском учении. Но догмой гнездовой посев не должен быть. Гнездовой посев рассчитан был на большой производственный эффект: хлеб, механизация. Он себя не оправдал. Гнездовой метод — ошибка. И сторонникам его опереться не на что. Ни полосы не создали, ни гнезда не создали. Конечно, теоретически его существование обосновано крепко...

— Ну вот и создавайте опытные гнезда! — крикнул кто-то из зала. В чем же дело!

— Нет, спасибо за такую учебу, она нам дорого обошлась! — Дальше лесничий говорил о том, что посев дуба самая легкая задача. А о посадках сопутствующих забыли. Если будем одним дубом заниматься, без лесу останемся...

— А кто вам березу запрещает сажать! Сажайте! — насмешливо бросил Варно.

— Не в том дело, что запрещают, а нам некуда ее сажать! Все занято дубом!

В то время как все переглянулись и засмеялись, Варно, смутившись, задвигался на месте. Ни для кого не было секретом, что технические проекты по лесозащитным станциям области составлялись с его участием.

Взял слово Денисов.

— Вот тут товарищ Варно трагически вопрошал: «Кто, дескать, дал нам право критиковать!» Видный ученый и так далее... Пустой вопрос, товарищ Варно. Право критики дано каждому человеку. — Больше того, это долг каждого человека, не бездушно, не наплевательски относящегося к делу.

А у нас что получается? Некоторых видных ученых, хотя и высказывающих спорные взгляды у нас просто-напросто боятся критиковать. Больше того, эти ученые, считая себя непогрешимыми авторитетами в науке, всячески навязывают свое мнение, подменяют научные дискуссии администрированием...

Денисов не назвал фамилий этих ученых, но всем понятно было, о ком он говорил.

С совещания разошлись поздно. Светила яркая луна. Люди толпой выходили из клуба и разбредались дальше группами и поодиночке. Оживленные, они шли, переговариваясь, и шаги их вначале гулкие в тишине постепенно затихали вдаль.

Александр Петрович отстал от своих, ему хотелось побыть одному. После выступления Варно ему было не по себе. Нет, нет да всплывали в памяти слова, сказанные по его адресу: «Антинаучная вылазка!» И хотя Александр Петрович пытался убедить себя, что все сказанное о нем чепуха, и не стоит от этого приходить в дурное настроение, тем не менее ему было тяжело.

Вот работаешь, — думал он, — отдаешь делу все силы, всего себя, дело это становится твоей жизнью, и вдруг является какой-то Варно и в один миг прищепывает тебе ярлык «лжеученого», обвиняет тебя в реакционности, в мальтузианстве и вообще во всякой чертовщине, какай тебе и во сне не снилась...

Красота лунной ночи настраивала Александра Петровича на пессимистический лад. Но мало-помалу мысли его приняли иное направление. Перед величественной красотой лунной ночи постепенно стало отступать все то, что волновало его в течение вечера.

Он думал: вот пройдет несколько лет, и для него не будет существовать ни этой луны, ни этой торжественной тишины. Зато так же, как он сейчас, будет идти кто-то другой и страдать от того, что его обвиняют в семи смертных грехах.

Все очень умно и хорошо устроено в этом мире. «Один ляжет, другой встанет». Где, от кого он слышал эту фразу? Глупо, что он так расфилософовался. Луна что ли тому причиной? Во всяком случае, он еще не собирается «ложиться». Бой еще не кончен, борьба только разгорается.

К черту меланхолию! Луна, ночь прекрасны! Вон те впереди, что бредут, обнявшись, извечной походкой влюбленных, не теряют времени зря. Они меньше всего думают о смерти.

Александр Петрович свернул в сторону, чтобы не спугнуть их, но они сами окликнули его. Это были Володька и Галя. Им нечего было стыдиться, незачем было прятать свою любовь.

На областное совещание лесоводов Денисов предложил послать Наталью. Александр Петрович удивился, ему почему-то и в голову не приходила мысль о возможности ее поездки на такое ответственное совещание.

«Привык ты держать ее на задворках, вот тебе и странно, что она может куда-то поехать без тебя», — подумал Денисов.

Решено было, что Денисов и Наталья поедут поездом. Тимофей Алексеевич отвез их на станцию.

Когда поезд тронулся, Денисов и Наталья смотрели в окно. За окном простиралась степь до самого горизонта. Сейчас, в августе, степь более чем когда-либо напоминала пустыню, выжженная солнцем, иссушенная горячими ветрами, лежала она мертвая в своем однообразии.

— Да-а, пейзаж не веселый! У нас на Урале лучше! — сказал Денисов.

— А вы с Урала? — оживилась Наталья. — Представьте, а ведь я тоже с Урала. Вы когда оттуда? — спросила она так, точно Денисов только вчера приехал с Урала.

— Давно! — улыбнулся Денисов.

И вновь Наталья отметила, что ему очень идет его скупая сдержанная улыбка. Он морщил губы, стараясь удержать ее, а глаза его открыто, весело смеялись. Наталья подумала, что у Александра Петровича совсем другая манера улыбаться. Тот, когда улыбается, широко обнажает зубы, и поэтому кажется, что зубов у него больше, чем надо. Она отогнала мысли о муже и, продолжая разговор, сказала:

— А я недавно была на Урале. Вы знаете там маленькую пристань на Каме, Таборы? Так вот от нее нам надо было проехать еще двадцать километров.

Наталья рассказала, как пароход их пришел поздно ночью, высадил пассажиров и ушел. Слушая ее, Денисов представил себе крутой обрывистый берег. Пристань на воде, волны, глухо ударяющие о сходни. И ни одного домика. Поселок дальше, в двух километрах. Тихо. Слышно только как в темноте лошади, хрумкая, жуют овес да люди негромко переговариваются.

Представил он себе и старика, которого они уговорили подвезти их до дому. Старик упрямился, опасаясь

ехать ночью лесом с чужими людьми, и хотел во что бы то ни стало подождать товарищей.

«Оно, паря, не слышать, не бают, чтобы шибко баловались, ну а сообща-то ехать все же веселя-я».

Наталья так верно и в то же время так забавно передала речь старика, сохранив диалект и самую интонацию голоса его, что Денисов расхохотался.

— Вот не думал, что вы такая актриса, — сказал он, вытирая выступившие от смеха слезы.

А про себя подумал: «Торопишься ты, Иван Иванович, делать вывод о людях. Ты думал, что она только и способна что слезы лить».

Наталья, оживленная воспоминанием, продолжала рассказывать Денисову. Ее охватило редкое для нее и знакомое ей в общении только с очень близкими людьми состояние той внутренней свободы, когда чувствуешь, что тебя понимают с полуслова.

Не многие знали об этой способности Натальи раскрываться в общении с теми людьми, которым она симпатизировала. Кто мало знал ее, те говорили:

«Женщина, как женщина, ничего особенного. Поглослена своим мужем, детьми, хозяйством. Александру Петровичу, должно быть, скучно с ней. Он профессор, незаурядный человек, а она домашняя хозяйка. Те же, кто знал Наталью ближе, кто подпадал под обаяние редких минут ее душевной приподнятости, были другого мнения о ней.

Александр Петрович во многом и сам признавал превосходство Натальи над собой. Когда речь заходила о только что опубликованном романе или повести, о пьесе, которую они накануне смотрели в театре, он говорил:

«А это не по моей специальности. Об этом уж Наташа лучше меня расскажет!»

И сам слушал ее внимательно, точно то, что она говорила, было и для него откровением, как будто не он сидел с ней вчера в первом ряду партера.

Говоря о постановке «Дядя Ваня», она возмущалась тем, как неудачен был актер в роли Астрова. Это был серый тучный мешок, который в тупой скуке слонялся по сцене.

— Ну как они могли дать такого Астрова, который говорил, что в человеке все должно быть прекрасным: и душа, и тело, и поступки.

А как он сказал свою знаменитую фразу: «А жара-то, должно быть, сейчас в Африке страшная». Она с замиранием сердца ждала этой фразы, а он сказал ее так невыразительно, что публика даже не заметила, не поняла, сколько трагизма в этой фразе. И как обидно, что актер не сумел донести ее до публики.

Александр Петрович слушал Наталью и недоумевал. Чем же эта фраза замечательна? Ну сказал человек от нечего делать, что в Африке жарко. О том, что в Африке жарко, знает ученик третьего класса. Почему надо было актеру как-то особенно доносить эту фразу? И стоило ли огорчаться из-за того, что он не донес ее до публики?

Другое дело, когда актер, игравший Астрова, сказал «фауна», вместо фауна. Вот уже этого он ему не мог простить. Он подскочил в кресле, как ужаленный, а в антракте побежал за кулисы объясняться с актером.

— Узнаю Александра Петровича, — сказал Денисов, когда Наталья передала ему этот эпизод с мужем. — Горяч, вспыльчив, труден, как необъезженный конь, а вот люблю я его! И черт знает за что люблю.

Денисов развел в недоумении руками.

Наталья молчала, смотрела в темное окно, за которым бежали желтые цепочки огней Волго-Дона, и думала, а за что она любит его? Любит, несмотря на муки, которые он причиняет ей.

В город они приехали рано утром. Наталья не дала телеграммы о своем приезде, и ее никто не встретил. Денисова встретила жена.

Наталья в первый раз видела Денисову и сейчас с нескрываемым любопытством разглядывала ее.

Мария Ивановна или «Маша», как мягко называл ее Денисов, была из тех женщин, красота которых становится заметнее с годами.

Несколько полная, с гладко зачесанными назад волосами, со спокойным открытым лицом, она стояла, опершись на руку мужа, в пол-оборота повернувшись к нему, и с улыбкой слушала, что он говорил.

И по тому, как она опиралась на руку мужа, и по тому, как смотрела на него, можно было понять, что они большие друзья, любят друг друга.

Наталья сразу почувствовала это. Острое сожаление, что никогда уже у них с Александром Петровичем не будет этой ясности и чистоты в отношениях, пронзило ее.

Никогда с такой доверчивостью не обопрется она на руку мужа, всегда между ними будет стоять та, третья...

«В нашей жизни всякое бывает...»

Бодро утверждал чей-то баритон из репродуктора, под которым они стояли и разговаривали. Много раз слышала Наталья эту песню, но никогда раньше смысл не доходил до нее с такой силой, никогда так не ранил ее.

Она поспешила проститься с Денисовыми.

«Ветер утихает, тучи уплывают,
И опять синеют небеса-а...»

Неслось ей в догонку. Прохожие с удивлением оглядывались на женщину, которая шла быстро и, казалось, ничего не видела перед собой. Слезы неудержимо лились из ее глаз. Дойдя до садика Гоголя, она свернула на одну из дорожек, посыпанных песком, и села на скамейку. Здесь в эти часы было пустынно.

После внезапного ухода Натальи Денисовы переглянулись. Они поняли, почему она так заторопилась уйти.

Вздохнув, Маша еще крепче прижала к себе руку мужа. Она чувствовала себя непростительно счастливой в сравнении со Щербинской.

* * *

Женился Денисов несколько необычно. Его товарищ по курсу, охладев к любимой девушке, бросил ее. Бросил в тяжелом состоянии: она ждала ребенка. Как председателю профкома, Денисову пришлось близко столкнуться со всей этой историей.

Девушка сидела в профкоме перед его столом и плакала. Слезы текли по ее хорошенькому лицу, на котором беременность успела уже наложить свои следы: верхняя, слегка вздернутая, губа и лоб были в коричневых пятнах. Но странно они не уродовали ее, а только больше подчеркивали беспомощность.

Денисову было жаль девушку. Спокойный, уравновешенный, он не переносил одного — женских слез.

— Я не могу поехать. Отец не пустит меня в дом! — всхлипывала девушка, в ответ Денисову, предложившему ей взять академический отпуск и поехать домой.

Отец жил в деревне и, очевидно, был деспотом в семье. «Да, пожалуй, ей лучше домой не показываться, — думал Денисов. — Надо дать ей отдельную комнату, кажется в общежитии на Большевистской освободилась...»

Не откладывая, Денисов решил поговорить с Анатолием. Чтобы разговор был официальным (у себя в комнате они уже много раз говорили об этом), он вызвал его в профком.

Анатолий пришел угрюмый, злой.

— Ну, что тебе?

— Сейчас у меня была Кедрина.

— Ну и что! Мне-то что за дело?

— Ты должен как-то решить вопрос с ней.

— А чего решать, и так все ясно, жить я с ней не буду.

— А ребенок?

— Пусть родит, ее дело.

— Значит, ты не при чем? Моя хата с краю?

— Выходит, что так, — сказал Анатолий, и усмешка вспыхнула в его нагловатых глазах.

— Ну и подлец же ты! Не ожидал, что ты окажешься таким негодяем. Чтоб завтра же тебя не было в общежитии! Убирайся, куда хочешь. А на бюро комсомола я поставлю вопрос о твоём исключении.

— Это еще как сказать, — ухмыльнулся Анатолий, но из общежития убрался.

Через несколько дней Денисов пошел в то общежитие, где Маше дали комнату, посмотреть, как она устроилась.

Когда-то тихая, вымощенная булыжником улица называлась Екатерининской. Теперь у нее было новое название Большевистская, но за общежитием так и осталась: «Екатерининка».

Общежитие было мрачным, неудобным. Толстые каменные стены его и зимой и летом были мокрые. Комната Кедринной была на первом этаже. Оттого, что стены здания были массивными, единственное окно в комнате казалось маленьким, отодвинутым вглубь широким подоконником.

Она сидела у окна и, кутаясь в платок, смотрела на улицу, где крутились, падая на землю, снежинки.

Эта узкая комната, стреляющие в печке дрова, сумерки за окном и она, маленькая, кутающаяся в платок, навсегда запомнились Денисову.

— Ну, как живешь, Кедрина? — спросил он, садясь напротив. Она крепко зажмурила глаза, полуоткрыла рот, точно ей стало вдруг трудно дышать и несколько раз кивнула головой.

«Ничего, мол, живу, спасибо».

Денисов ждал, что она сейчас заплачет, но она не заплакала. Она крепко стиснула кулачки и, открыв глаза, прямо посмотрела на Денисова. Он вдруг заметил, какие ясные голубовато-серые глаза были у ней, точно омытые недавними слезами. И еще удивился тому, что не было в них недавнего отчаяния. Глаза говорили:

«Ну что ж будем жить одни, раз все так случилось».

За месяц, что оставался до родов, они почти не виделись. Иногда он встречал ее в университетских коридорах. Грузная, она шла в шумном потоке студентов, стараясь держаться поближе к стенке, чтобы не толкнули. Темные пятна на лбу и на верхней губе еще более потемнели, стали совсем коричневые, глаза были сосредоточены и смотрели вглубь, как бывает у всех беременных.

И вот Денисов узнал, что она в больнице и родила девочку. Ему казалось, что, как председатель профкома, он обязан навестить ее. Но дело было, конечно, не в этом. Ему просто хотелось, чтобы она не чувствовала себя одинокой, брошенной всеми, знала, что у нее есть друзья.

По дороге в больницу он купил плитку шоколада, яблок антоновки (холодные яблоки, казалось, скрипели, пока их отвешивал продавец). Поколебавшись, зашел в магазин «Детский мир» и спросил у продавца какую-нибудь игрушку для ребенка.

— Какого возраста ребенок? — спросил продавец строго. Стесняясь сказать, что ребенку всего лишь три дня, Денисов сказал:

— Три месяца.

Продавец окинул оценивающим взглядом свое разнокалиберное цветастое хозяйство и, выхватив ярко раскрашенного попугая, прикованного к оранжевому кольцу, сказал убежденно:

— Вот в самый раз!

Денисов уплатил за попугая и вышел из магазина.

Когда он появился в приемной больницы и спросил

Кедрину, санитарка недоверчиво оглядела его с головы до ног.

— Пойду, узнаю, есть ли такая. Вернувшись, уже с нескрываемым любопытством оглядывала Денисова, провозжая в палату.

— Вот здесь, — сказала она, распахивая перед ним дверь. Он вошел в палату, остановился, смущенный взглядами, которые были устремлены на него, и тем, что не сразу отыскал Кедрину среди женщин, лежавших на кроватях.

Наконец, он увидел ее, подошел и сел возле изголовья на табурет.

Когда он сел и положил ей на одеяло гостинцы и этого раскрашенного попугая, она вдруг заплакала. Согнутой в локте рукой она закрылась от Денисова. Слезы ручейками бежали по ее щекам, она ловила их дрожащими губами, не решаясь отнять руку, чтобы вытереть их.

Денисов сидел и молчал. Он не знал, что сказать ей, потому что не знал, отчего она плакала. Может быть, она плакала потому, что пришел к ней не тот, которого она ждала и который должен был прийти, а пришел он, Денисов, посторонний для нее человек. Пришел и своим приходом заставил ее плакать. Не надо было приходить. Может быть сам догадаться, что это бестактно. Ну что он может сказать ей сейчас? «Не плачь, Кедрина, не надо». Пустые, ничего не знающие слова.

И все-таки не найдя других слов и чувствуя, что сказать что-то надо, Денисов сказал именно эти слова:

— Не плачь, Кедрина. Не надо...

В ответ она еще сильнее заплакала «Не плачь». «Не надо». Ему легко говорить. Он не знает, что она пережила за эти дни. Еще в приемной она слышала, как санитарка тощая, злая, свистящим шепотом сообщила кому-то в коридоре: «Девка родить пришла!»

И как только они обо всем узнают? Конечно, они сделали вывод из того, что в больницу ее привел не муж, а подружки-студентки. И за ней и за ребенком они же обещались приехать.

«Только ты позвони нам, как будешь выписываться!» — кричали они, толпясь в дверях перед уходом.

Потом, когда она записывалась у дежурной акушерки Нины Ивановны и та спросила ее, замужем ли она, она ответила: «Замужем». Ну, да, конечно замужем, раз

есть ребенок. Но Нина Ивановна, сжав губы, пристально посмотрела на нее. Она не выдержала взгляда, опустила глаза. Зачем она опустила глаза! Разве ей есть чего стыдиться. Зато теперь вся больница шушукается, все оглядывают ее, как будто она нивесть какое преступление совершила.

Она слышала, как та же сиделка говорила кому-то за дверью:

«Нет уж коли была бы замужняя, так не смотрела бы такую сиротою казанскою. Третий день лежит, никто и не проведал ни разу!»

Даже не видя ее лица, можно было представить, как она ханжески поджимает губы.

Она лежала уже несколько дней, и никто не вспомнил о ней. Ко всем женщинам приходили мужья, матери, сестры. Приносили подарки, беспокоясь, расспрашивали о здоровье, давали советы, хвалили новорожденных. К ней никто не приходил, никто не спросил, что ей нужно, никто не полюбовался на малышку.

Она мучительно завидовала этим спокойным счастливым женщинам, у которых есть мужья, которые с полным правом родили желанных детишек.

Вот сейчас пришел Денисов. Конечно, он пришел, жалея ее. Он чуткий. Может быть, он занят больше, чем девчата, и все-таки пришел.

Она плакала и никак не могла остановиться. Женщины сверлили спину Денисова любопытными взглядами и перемигивались между собою. Что это за муж, который пришел и молчит, что это за жена, которая вместо того, чтобы радоваться приходу мужа и болтать с ним о домашних делах, закрылась от него локтем и рекой разливается.

— Ты, девка, нареветься-то после успеешь. А то сбежит мужик-то! — сказала одна из женщин, а другая, родившая двойню добавила:

— Они этих слез-то куда как боятся!

Наконец, Маша успокоилась. Все еще не отводя руки от лица, она поискала платок и, не найдя его, сказала осевшим от слез голосом:

— Дай мне платок. Он под подушкой!

Денисов торопливо пошарил рукой под подушкой и вытащил платок. Маша вытерла глаза, лицо, еще раз всхлипнула, посмотрела на Денисова и сказала, вздохнув глубоко:

— Все!

— Ну, вот и хорошо, Маша, — ответил Денисов, впервые так назвав ее, и погладил руку, лежавшую поверх одеяла. — Смотри, какую веселую птичку я принес дочери.

Лицо Маши подурнело от слез, нос покраснел и распух, и все-таки она показалась Денисову удивительно милой.

— Ты думаешь, она понимает что-нибудь? — спросила Маша. — Хочешь посмотреть ее? — Сказала и испугалась. Наверное, ему совсем не интересно.

Но Денисов, видя, что ей очень хочется показать девочку, сказал, что любит детишек, особенно таких маленьких. Няню попросили принести ребенка.

«Ничего безобразного. Ребенок, как ребенок, — думал Денисов, — и какие это умники выдумали насчет бесформенного куса мяса».

Поэтому, когда Маша, отдав девочку няне, взглянула на него, как бы спрашивая, понравилась ли она ему, Денисов тряхнул головой и сказал искренне:

— Хорошая девчушка, на тебя будет похожа.

Маша вздохнула и счастливо улыбнулась. Когда Денисов встал, чтобы уйти, она легонько потянула его за рукав и сказала:

— Сядь!

Денисов сел.

— Знаешь, Ваня, я о чем хотела тебя попросить, — Маша оглянулась на женщин, не слушает ли кто из них, но те не слушали, болтая о своем, — когда меня выпишут, возьми меня сам отсюда. Девчата приехать обещали, но, понимаешь, мне очень важно, чтобы ты за мной приехал. Я знаю, тебе, может быть, некогда, ты занят, но ты только выведи меня из больницы, чтобы все видели, а дальше я одна пойду. Хорошо? Придешь? — спрашивала Маша робко и смотрела на него умоляюще.

— Конечно, я сам за тобой приеду, — сказал Денисов. в душе недоумевая, почему для нее так важно, чтобы за нею приехал он, а не девушки, с которыми ей, вероятно, было бы удобнее.

— Только ты не плачь больше, а то мать говорила, что молоко может в голову кинуться, — пошутил он.

Маша улыбнулась на шутку, но глаза ее снова стали грустными.

— Ничего, это я так, по глупости. Может быть, я когда-нибудь скажу тебе, почему я плакала.

Но Денисов и без того понял причину ее слез, как только вышел из палаты. К нему подскочила та самая санитарка, что надевала на него халат.

— Ну как, наговорились, ребеночка повидали? Ну, вот и хорошо. А ведь мы, грешным делом, подумали, что у ней и мужа-то нет. Все девка да девка. Натерпелась она тут за эти дни, чай, и поревела не раз. Вы уж не обессудьте.

Когда Машу выписали, он приехал за ней. Сам принял ребенка из рук няни, а, когда та хотела сунуть ему и сверток с пеленками, сказал:

— А это передайте жене, — сказал, подчеркнув слово «жене».

Маша испуганно взглянула на него. — Машенька, возьми, если тебе не трудно.

Довез ее до общежития и ушел только тогда, когда убедился, что девчата взяли шефство над ней и над ребенком.

Он сначала изредка заходил к ней, потом стал заходить чаще, а когда уехал на летнюю практику в учебный совхоз, понял что тоскует по Маше, что любит ее. Осенью они поженились.

Не любил он только, когда друзья, близко знавшие историю его женитьбы, добродушно подсмеивались над ним.

— Мало ли кто как женится, — думал он. — Один женится по любви, другой по расчету, третий просто потому, что пришла пора жениться, наскучило жить одному. Он, Денисов, тоже женился по-своему. И кто посмеет сказать, что они не пара, что они живут плохо? Было бы большим несчастьем для него, если бы он не встретил Машу.

Жили Денисов и Маша дружно. Может быть, потому и ладилась их совместная жизнь, что ни тени жертвенности не было в их отношениях, когда один все отдает, а другой принимает, как должное, ничего не давая взамен.

Денисов видел, что Маше трудно сочетать работу в школе с хозяйственными делами и воспитанием дочери, но он не сказал: «Бросай работу!» как на его месте сказали бы многие любящие мужья. Он знал, к чему это могло повести. Он просто взял на себя часть обязан-

ностей по дому. Если Маше надо было готовиться к уроку, и она нервничала от того, что девочка мешала ей заниматься, он забирал дочь и шел гулять.

В саду девочка возилась с совочком в песке, а он сидел тут же на скамейке с открытой книгой и готовился к докладу. И необходимость поглядывать одним глазом из-за книги, что делает дочка, ничуть не мешала. Наоборот, ему казалось, что распускающаяся молодая зелень сада, ласковое солнце и ребенок, играющий у ног, создают в нем то душевное равновесие, когда хорошо работается.

В иные дни Маша подолгу задерживалась в школе, чаще это бывало перед экзаменами, тогда Денисов сам заходил за дочерью в детсад.

Вместе с Милочкой они готовили обед и, если Маша приходила домой раньше, чем они ждали, и хотела помочь им, они прогоняли ее из кухни: «Иди отдыхай. Ты же устала!»

«Мамочка! Тебе какую тарелку поставить? с цветочками?» — спрашивала Милочка, хлопотливо бегая вокруг стола и оглядывая его: все ли они с папой поставили на место.

* * *

Совещание было назначено в здании территориального управления по насаждению государственных защитных лесных полос.

Чуть зеленоватое, с белыми колоннами, с тяжелыми дубовыми дверями здание было отстроено недавно и выглядело настоящим дворцом.

У подъезда его стояло много машин. Здесь были большие, крытые зеленым брезентом машины Академии Наук, на которых вдоль и поперек бороздили степь участники многочисленных экспедиций. Были маленькие пронырливые «Газики», бодро подпрыгивающие на степных ухабах. Были солидные, мягко отсвечивающие машины марки «Победа».

Наталья пришла незадолго до начала совещания. Сдержанный гул стоял в здании. На лестничных площадках, в коридорах толпились люди, съехавшиеся из лесхозов и лесозащитных станций. В основном это были директора лесозащитных станций, старшие лесничие, начальники производственных участков, агролесомелиораторы,

научные работники институтов и экспедиций, проводившие изыскания на трассах гослесополос.

Большинство собравшихся, видимо, хорошо знали друг друга по прежним совещаниям или работе. Встречаясь, они обменивались радостными восклицаниями, приветствиями и тут же начинался разговор о том, что больше всего занимало и волновало их о лесе, как лучше и скорее вырастить его в степи.

Наталя стояла на площадке, разглядывала незнакомых ей людей и невольно прислушивалась к отдельным словам и фразам, долетавшим до нее.

«Что ты мне мороженую скумпию подсунул!» — услышала она позади себя чуть силоватый простуженный басок. — Люди, понимаешь, три дня в грязи возились, сажали ее на пень, руки себе пообмораживали, а все пошло прахом!

Наталя хотела повернуться и посмотреть на говорившего, но рядом с ней раздалась новая фраза:

«Ээ, милый мой! Ты попробуй вырасти дубки на светло-каштановой почве, а на черноземе-то их и дурак вырастит!»

Фраза эта была произнесена с такой запальчивостью, что Наталя улыбнулась и ей невольно пришла в голову мысль, что жизнь лесовода можно было бы дать в вопросах и восклицаниях.

Весна! Посадить и посеять лес в лучшие агротехнические сроки! Вы провели покровное боронование? Как желудь-то, наклюнулся? А что будет сопутствующей породой? Вы читали новую инструкцию, насчет соседства дуба с вязом мелколистным?

Лето: Влага, влага и еще раз влага! Будет водичка — будет и лес! А уход? Сколько раз вы прокультивировали? Трава — волкам прятаться!

Осень: Но Наталя так и не успела ничего придумать для осени. Мимо прошли двое, громко обсуждая агротехнические приемы заделки семян и отвлекли ее мысли.

Вслед за ними Наталя прошла в зал. Просторный, светлый, он был почти пуст. Кое-где в рядах сидели по двое, по трое участники совещания и негромко переговаривались.

Зал мало-помалу наполнялся. Собравшиеся на совещание, в основном, были мужчины. Загоревшие, обветренные,

с полевыми сумками через плечо, они даже сюда явились в сапогах. На многих были выцветшие на солнце гимнастерки, с темными пятнами на плечах — следами погоню.

Через зал прошла и села позади Натальи высокая красивая женщина. Платье на ней было модное из светло-коричневой шерсти; широкая в сборку казачья юбка и кофта с тугим лифом, облегающим красивую грудь.

«Москвичка, — подумала Наталья. Интересно, кто она такая и как попала на это совещание?»

Повернувшись в полоборота, Наталья незаметно разглядывала женщину. Красиво лицо, но есть что-то надменное в манере держать голову. И черные угольные глаза под изломами бровей смотрят недобро. Ожерелье из слоновой кости точно приросло к смуглой точеной шее...

— Добрый день, Наталья Михайловна! — услышала Наталья возле себя знакомый голос. Перед ней стоял Волошин.

— Здравствуйте, Павел Иванович! — ответила она и чуть отодвинулась, когда он сел с нею рядом. — Кто эта женщина? — спросила она, кивнув головой назад.

Волошин оглянулся, сделал безразличное лицо, точно разыскивая кого-то в задних рядах, и, повернувшись к Наталье, доложил:

— Протасова! Доктор геологических наук!

Потом прищелкнул языком и сказал с искренним восхищением:

— Вот женщина, я вам скажу. Умна как тысяча чертей и одна ведьма! И не синий чулок, как видите...

Наталья улыбнулась. Они заговорили о совещании. Павел Иванович утверждал, что оно должно быть интересным, судя по повестке дня. Он только принялся перечислять Наталье фамилии докладчиков и кто из них какую должность занимает, как его нетерпеливо окликнули.

— Иду, иду! — крикнул он и, сорвавшись с места, убежал, придерживая портфель подмышкой.

«Да, эта женщина не позволит засадить себя дома, — думала Наталья о Протасовой, оставшись одна. И никакие дети ее не удержат. Да вряд ли они и есть у ней. Такие женщины не позволяют себе иметь их».

К Протасовой подошел пожилой человек в роговых очках, и они заспорили.

— Нет, дорогой Андрей Ильич, — услышала Наталья

красивый грудной голос Протасовой, — при классификации почв по их лесопригодным свойствам мы неизбежно сталкиваемся с рельефом. Я уже не говорю о материнской породе, ее мы обязаны учитывать. Почвы аллювиальные и диаллювиальные...

В голосе Протасовой звучали самоуверенные нотки человека, ни мало не сомневающегося в себе.

Наталья представила себе, как уверенно держится на кафедре эта женщина, и позавидовала ей.

Подожел Денисов и сел рядом с Натальей.

— Вы что такая хмурая? Точно недовольны чем-то?

— Переживаю свою неполноценность, — ответила Наталья со вздохом.

Денисов пристально посмотрел на нее. А Наталья, не желая, чтобы Денисов видел ее взволнованное лицо, отвернулась и, глядя прямо перед собой, заговорила:

— Когда я вижу умных, красивых, уверенных в себе женщин, я еще сильнее чувствую, что я маленькая «букашка», — Наталья горько улыбнулась своему сравнению, — ничего не добившаяся в жизни, ничем не приумножившая ее богатств. Тогда как эти умные, красивые, сильные женщины хозяйками идут по жизни, властно берут от нее щедрые дары и сами дарят по-царски. Возьмите Протасову — доктор геологических наук...

— Ах, вот вы о чем! — перебил Наталью Денисов, догадавшись, наконец, к чему она клонит речь. — Я не знал, что вы так тщеславны, что вам покою не дает докторская степень! — Денисов весело улыбнулся.

— Я не шучу, Иван Иванович, — сказала Наталья, обиженная тем, что Денисов не понял ее или сделал вид, что не понял, сведя все к шутке. — Дело совсем не в тщеславии, а в уверенности, что твоя жизнь не прошла зря...

— А разве для этого обязательно быть доктором наук?..

— Нет, конечно. Было бы крайностью думать так. Но если рассуждать объективно, Иван Иванович, я в своей жизни не сделала и десятой доли того, что сделала эта женщина.

— А я убежден, что вы сделали больше...

— Ну, что вы! — запротестовала Наталья, — у ней за плечами интересная жизнь, какое-нибудь важное открытие, ведь не зря же ей дали степень доктора геологических наук! А что сделала я? Ну родила троих ребят,

воспитала их. Может быть, чуточку, только самую чуточку помогла мужу стать, тем, что он есть. И то вряд ли помогла. Не будь у него семьи, может быть, он достиг бы большего. Мне всегда казалось, что мы грузом висим у него на ногах, и я... я больше всего боялась, что этот груз потянет его вниз... И знаете, Иван Иванович, — высказала Наталья впервые со всей очевидностью пришедшую ей в голову мысль, — мне кажется сейчас, что все силы мои ушли на то, чтобы этого не случилось. Было бы так обидно, если бы семья помешала ему.

— Ну, вот видите, сколько вы успели сделать. Детей воспитали, мужу помогли вырасти, сами от жизни не отстали, а вам все еще мало. — Денисов вздохнул.

— Если вдуматься, Наталья Михайловна, не переоцениваем мы роль женщины в семье. По привычке ли, потому ли что это когда-то действительно было нужно, чтобы вывести женщину из тупика, мы твердим: «Женщина должна работать, должна заниматься общественно полезным трудом!» А разве труд в семье не общественно полезен? Ну-ка пришел бы муж на работу голодный, в грязной рубашке, издерганный, усталый, невыспавшийся от того, что всю ночь проходил с больным ребенком на руках. Много ли пользы принес он на работе? А воспитание детей? Разве это не общественно полезный труд? Всех нас тревожит детская безнадзорность, а порой даже и преступность. Но не тут ли собака зарыта? Призывая женщину заняться общественно полезным трудом, уводя ее из дому, не делаем ли мы ошибки, не отвлекаем ли мы женщину от ее прямых обязанностей?

Денисов говорил медленно в раздумьи. То, о чем он говорил сейчас, давно занимало его и он рад был высказаться перед Натальей, зная, что все это близко ей, что она поймет его.

— Ведь трудно допустить, чтобы женщина успевала и дома и на работе. Что-то обязательно должно пострадать и чаще всего страдают дети. Я согласен с тем, что женщине тесно в рамках семьи. Было бы дико ограничивать ее духовный мир только кухней и детьми. Но кто мешает ей читать, заниматься тем, к чему ее влекут склонности. Свободного времени у нее будет больше, если она не будет работать...

Наталья слушала Денисова и была согласна и не

согласна с ним. Конечно, Иван Иванович прав, говоря, что трудно женщине совмещать и дом, и детей, и работу, что-то неизбежно должно пострадать и печальнее всего, когда страдают дети. Но вот она не работала всю жизнь и все-таки чувствовала себя обойденной. Кругом столько замечательных дел творилось, а она стояла в сторонке от них, и ей было горько.

Она сказала об этом Денисову.

— Ну что ж! Раз так, включайтесь по-настоящему в эти дела, детей вы уже вырастили. Хотите я устрою вас геоботаником в новую экспедицию? Комплектуется экспедиция по дубравам, и меня просили порекомендовать кого-нибудь. Решайтесь. Экспедиция обещает быть интересной. Работы рассчитаны на два года.

— Не знаю, Иван Иванович. Боюсь подумать об этом. Надо с Александром Петровичем посоветоваться, — вышло у нее по привычке и тут же с горечью подумала: «А не все ли равно теперь Александру куда я поеду и что я буду делать».

Денисов не настаивал, понимая, что для Натальи не так просто решить этот вопрос. Он вышел покурить.

Наталья сидела, обдумывая предложение Денисова. Конечно, у нее теперь есть небольшой опыт экспедиционной работы. И дома ничего не случилось с детьми оттого, что они провели лето одни. Но ведь эта работа была временной, а та, что предлагает Иван Иванович, будет постоянной. Может быть, ей придется уехать из дому на год, на два. Как тогда сложится жизнь? А как все-таки посмотрит на это Александр? Конечно, она найдет какую-нибудь женщину, чтобы в доме был порядок и обед был приготовлен вовремя, чтобы дети не страдали от ее отсутствия. Но только ли в этом дело?

«Не знаю, ничего не знаю, — в смятении думала Наталья. — Надо все оставить до Александра, что скажет он». А вдруг он скажет, «никуда не поедешь, сиди дома!» Ведь он всегда считал важным только то дело, которое он делает. Он не хотел считаться ни с чем и раньше, когда они оба работали. После обеда садился готовиться к лекциям, а она отправлялась в кухню мыть посуду, хотя ей тоже надо было заниматься, ведь практические занятия она вела по его же курсу.

Он садился за книгу, а она пришивала пуговицы к его пальто, как будто он сам не мог пришить их. И всегда

так было и сейчас так будет. Она знает, он скажет ей: «Ты забываешь, Наташа, что я не могу уделять достаточно внимания детям, я должен закончить свою работу по почвам юго-востока, меня торопят. Книга включена в план издательства».

Ну да, конечно. Для него эта книга в сто раз важнее ее желания найти место в жизни, помимо семейного очага. И, конечно, он будет прав. Что значит ее труд, труд рядового геоботаника по сравнению с его трудом ученого, специалиста, крупнейшего знатока почв юго-востока.

И все-таки, сознавая, что в данном случае Александр Петрович может и прав, Наталья не хотела мириться с этим. Недолго работала она в экспедиции, но увереннее почувствовала себя. До сих пор она не думала о том, что ждет ее после того, как работы в экспедиции закончатся. Предложение Денисова заставило задуматься над этим. В самом деле, что будет делать она, чем займется? Снова рынок, обед, мытье посуды, штопка белья вечерами под лампой с большим абажуром, окрашивающим столовую в оранжевый цвет.

И так изо дня в день, изо дня в день, одно и то же. Для этого она кончила один из лучших вузов страны, чтобы следить, у всех ли пришиты пуговицы к пальто, заштопаны носки?

«Вот возьму да и скажу сейчас Ивану Ивановичу, что согласна!» — с забившимся сердцем решила Наталья.

После выборов президиума и соблюдения всех формальностей, слово для доклада было представлено начальнику экспедиции, разработавшей проект по созданию гослесополосы Сталинград — Степной — Черкесск.

Начальник был невзрачен на вид и, очевидно, близорук, так как даже в очках он вынужден был низко склоняться над бумагами.

— Надо особо подчеркнуть, — сказал он, — что сухость климата и почвы — главное препятствие при разведении леса в зоне каштановых и светло-каштановых почв...

Он с успехом мог бы и не говорить этого. И без него все присутствующие в зале знали это, знали по опыту своей работы. Между тем докладчик с непонятым упорством продолжал сосредотачивать внимание слушателей на трудностях.

— Зона каштановых почв на Ергенях занимает до 75% от общей протяженности трассы. Климат трассы су-

хой, континентальный. Продолжительность ветров в среднем за год 188 дней. Горячие и сухие ветры восточных румбов часто переходят в суховеи. К суховеям, как вам известно, относятся условно ветры со скоростью 4 метра в секунду и более при температуре воздуха свыше 20°. Осадков мало: 318 мм в год, в то время как испарение с водной поверхности достигает за год 900 мм. Летние дожди носят преимущественно ливневый характер, что на почвах с плохой водопроницаемостью приводит к бесполезному стоку вод. Зима холодная, с метелями. За зиму снеговой покров несколько раз сгоняется, и обнаженная почва промерзает на глубину до одного метра, это весной препятствует впитыванию вод. Толщина снегового покрова 20, а местами даже 16 сантиметров... Что имеет место в Тингуге, например...

— Четырнадцать! — поправил докладчика Башкиров, сидевший в президиуме. — Иной год не больше десяти!

— Как видите, даже десять! — обрадовался неизвестно чему докладчик.

Перечисление цифр продолжалось долго. Это утомило слушателей, а потому все были рады, когда докладчик, заканчивая, сказал:

— Коллектив экспедиции работал самоотверженно, с энтузиазмом, с сознанием большой ответственности за порученное дело. Между отрядами было организовано соревнование, и оно принесло свои плоды. Экспедиция закончила полевые работы на месяц раньше срока, к концу подходят и камеральные работы. Задание партии и правительства выполнено.

Аплодисменты покрыли последние слова докладчика. Он собрал свои бумаги, но продолжал стоять на кафедре, намереваясь еще что-то сказать. Хлопки смолкли. Все ждали. В зале воцарилась настороженная тишина.

Но начальник экспедиции почему-то медлил. Он в волнении снял очки, от которых на переносице обозначился красный рубец, долго протирал их, но так и не надел больше и, глядя в зал близорукими без очков глазами, сказал тихо:

— Товарищи! Мы затратили большие средства на проведение исследований, еще большие средства будут затрачены на освоение этих земель лесами... Но у меня нет уверенности, я считаю своим долгом честно сознаться в этом, нет уверенности в том, что мы сможем вырастить лес...

— Это только ваше мнение, или мнение всей экспедиции? — резко спросил кто-то из зала.

У докладчика задрожал подбородок. Сейчас особенно бросалось в глаза, что был он у него странно скошен и безволен.

— Я уже сказал, что это мое личное мнение... — еще тише сказал докладчик. Побледнев, он беспомощно оглянулся на президиум и, собрав свои бумаги, сошел с кафедры.

В зале стояла тишина. Уж очень необычно было это заявление, сделанное начальником экспедиции.

— Разрешите мне! — поднялся с места начальник дубравной экспедиции. И большой, сутуловатый, со скульптурно-вылепленным неправильным лицом, на котором выделялся крупный нос, похожий на созревающую сливу, направился было к столу президиума, но тут же был остановлен председателем:

— Нет, уже разрешите придерживаться принятого нами порядка дня. Позиция докладчика, высказанная им, настолько ошибочна и, я бы сказал, беспрецедентна, что требует серьезного обсуждения, что и будет сделано в прениях. А сейчас разрешите мне только сказать вам, Семен Яковлевич, как можно и можно ли вообще хорошо делать то дело, в которое не веришь?

В напряженной тишине зала вопрос прозвучал скорбью и недоумением.

Начальник сидел, опустив голову. Лицо его покрылось пятнами. Чувствуя на себе взгляды всех, он так и не поднял головы.

Председатель несколько помедлил, и потом подчеркнуто спокойно сказал:

— Переходим к следующему вопросу. Слово имеет...

Все невольно вздохнули, как всегда бывает, когда напряженная атмосфера несколько разряжается.

В перерыв, который был объявлен после второго доклада, в коридорах шли оживленные споры. Прав или неправ был начальник экспедиции, взявший на себя смелость заявить, что он не верит в то дело, которому призван служить?

После перерыва начались прения.

Первым выступил Денисов.

— Я убежден, — сказал он, — что совещание скажет свое слово в отношении позиции докладчика, сомневаю-

щегося в возможности вырастить лес в степи. Меня волнует другой вопрос: разделяют ли точку зрения своего начальника другие члены экспедиции. Если это так, если экспедиция в целом не верит в то дело, которому она призвана служить, то в каком же смятении должны оказаться производственники? Что им остается делать? Когда на все их поиски, на все их усилия вырастить лес, наука говорит: не выйдет, товарищи, зря расходуете силы, время, государственные деньги!

Не партийная эта точка зрения, товарищи! Партия поставила перед нами задачу вырастить лес в степи! И мы должны сделать это! И мы сделаем! Лес будет расти в степи! А кто сомневается в этом, не мешайте, не путайтесь под ногами, держите свои сомнения при себе, не дезорганизуйте ряды перед наступлением, перед боем...

Наталья сидела взволнованная речью Денисова. Сейчас она увидела его с новой стороны. До сих пор он представлялся ей мягким, хотя и настойчивым человеком. Она даже не предполагала, что в его голосе могут прозвучать такие жесткие нотки.

«Не путайтесь под ногами!»

— Кроме того, — продолжал Денисов, — мне кажется надо обсудить и такой вопрос: мы лесополосу не на один год выращиваем, она простоят десятилетия и, что в итоге вырастет, нам не безразлично. Поэтому надо более интересные деревья выращивать. Вот, например, казачью грушу. Это же чудесное дерево! Какую оно шапку имеет! Она все может задержать и, кроме того, для местной промышленности сырье даст. Взять Камышинскую лесополосу. Сто шестьдесят гектаров яблонь посажено. Огромный сад растет. В Сальске засадили полосу абрикосами, сейчас такой урожай их, что не успевают собирать! Вот на это надо обратить внимание. Выращивать не ясень зеленый или американский клен, эту крапиву буйную, много чести им, а плодовых деревьев побольше надо давать!

* * *

После совещания, спускаясь с лестницы, Наталья увидела Волошина. Он стоял у самого выхода, разговаривая с начальником экспедиции Агролесопроекта. Взгляд его рассеянно скользил по толпе. Увидев Наталью, Волошин торопливо бросил несколько слов собеседнику и вмешался в поток.

Темная сентябрьская ночь обступила их как только они вышли на улицу. В этой чернильной тьме казалось невозможно было сделать и шагу.

— Осторожнее, не оступитесь! — сказал Волошин и взял Наталью под руку. Ей было неприятно, но чтобы не обидеть его она сделала вид, что не заметила.

— Нам, оказывается, по дороге! — обрадовался Волошин, узнав в какой стороне живет Наталья.

— Хорошая ночь, не правда ли? — спросил он.

Ночь действительно была хороша. Мягкая, теплая, окутанная облаками. Деревья в темноте стояли притихшие. Было уже поздно, улицы казались пустынными и только из сада, с танцевальной площадки, в тишину врывалась музыка.

Волошин шел, нарочно замедляя шаги. Идти рядом с Натальей, чувствовать ее строгую, холодную, было приятно. Как бы невзначай прижал он руку Натальи. Наталья вдруг остановилась, быстро отняла руку и, сказала мягко:

— Вот мы и пришли! Я дома!

— Жаль! — растерянно проговорил Волошин.

— Прощайте, Павел Иванович!

— Нет, я так не хочу прощаться! Грешно в такой вечер сидеть дома! Пойдемте на набережную. Будем сидеть и смотреть на огни пароходов...

— Нет, нет! — заторопилась Наталья. — Мне пора домой, спокойной ночи.

Волошин, склонясь, поцеловал руку и опять, как тогда, при первой встрече, исподлобья глядя на нее, спросил полувопросительно, полуутвердительно:

— Все такая же верная и неумолимая?

— Да, все такая же верная и неумолимая, — чуть смущенно, но твердо и немного насмешливо ответила Наталья.

Волошин шумно вздохнул, поклонился и быстро пошел от нее.

ГЛАВА XI

Прошло четыре дня, как Денисов и Наталья уехали на совещание. Обратного ждали их к вечеру, за ними выслана была машина, но с утра зарядил дождь, к обеду разразившийся ливнем, дороги расползлись, и расчи-

тывать на то, что Наталья и Денисов приедут сегодня, было нечего.

Из-за ненастья в степь никто не вышел. Все сидели по своим палаткам и, прислушиваясь к монотонному шуму дождя, читали, писали письма, играли в шахматы. То и дело кто-нибудь выглядывал из палатки и осматривал небо. «Не проясняется ли!» Но дождь шел и шел, мелкий, назойливый. Серыми лохматыми тучами было затянуто все небо.

Александр Петрович сидел в своей палатке. На столе перед ним были разбросаны листы бумаги. Но сосредоточиться ему не удавалось. Уже не первый день у него все валилось из рук. В последнее время все чаще и чаще мучила мысль о безвыходности создавшегося положения. Щербинский понимал, что семья рушится, и что он является единственным виновником этого.

Пора было принять какое-то решение. Работы в экспедиции подходили к концу, Манефа вот-вот должна была уехать.

Сейчас, когда Натальи не было, Александра Петровича не оставляло чувство тревоги и странной неудовлетворенности, точно ему чего-то не хватало. Щербинский злился, что не может отделаться от этого чувства. Несколько дней назад он радовался, что Наталья уезжает. В последнее время так трудно было быть вместе, с глазу на глаз, в маленькой тесной палатке. Лежать почти рядом, настороженно ловя каждое движение, и все-таки оставаться чужими и даже враждебными друг другу.

После отъезда Натальи Александр Петрович почувствовал облегчение, у него точно гора с плеч свалилась. Он был рад тому, что не надо кривить душой. А самое главное, не будет стоять перед ним и терзать его живым укором похудевшее, потемневшее лицо Натальи с измученными бессонницей, лихорадочно горящими глазами.

Нередко, когда Наталья сидела на своей постели с тоскливыми, смотрящими в одну точку глазами и медленно заплетала на ночь косы, он торопился сбежать от нее.

Куда же девалась эта легкость первого дня. Видеть Наталью рядом, пусть даже страдающую, было гораздо легче, чем совсем не видеть ее и не знать, что она думает, что делает. И странное дело. Если при Наталье он мучительно выискивал удобные случаи, что-

бы, не вызывая подозрений Натальи, побыть с Манефой, то сейчас он уже не стремился к этому. За все это время он только раз встретился с Манефой в день отъезда Натальи. И хотя ему попрежнему хотелось быть возле Манефы, в то же время что-то мешало пойти на свидание с ней. Как только мысли его обращались к Манефе тут же рядом неизбежно вставала и Наталья.

Эта двойственность усугубляла разлад в Александре Петровиче и заставляла его страдать еще больше.

Он встал, подошел к выходу, откинув полог, оглядел небо. Оно было в тучах, ветер гнал их на юго-восток. Несколько капель, сорвавшись с брезента, упали ему за ворот. Александр Петрович поежился. «Плаща, конечно, не догадалась взять с собой!» — подумал он о Наталье.

Снова мысль о ней, о том, что он сам разрушает спокойное счастье своей жизни, обожгла его. Он лег на постель и, закинув руки за голову, лежал, прислушиваясь к шорохам за пологом палатки.

Дождь дробно, назойливо стучал в брезент. Сбоку, в отвернувшийся край палатки подтекала вода, но Александр Петрович не замечал ничего.

Он вспомнил такой же ненастный вечер. Была осень, гололедица, шел дождь с крупой. Он с трудом добрался до дому. Открыл дверь своим ключом, и еще в прихожей его охватило теплом, уютом и тишиной.

Наталья и дети уже спали. Через стеклянную дверь кабинета проникал в прихожую розовый полумрак от настольной лампы, которую забыли выключить. Раздевшись, Александр Петрович прошел в кабинет и несколько минут посидел на диване, наслаждаясь теплом дома, его покоем. В полутьме мягко отсвечивали за стеклом книжного шкафа кожаные переплеты книг. Левитановская «Осень» неожиданно приняла новые тона. Эту картину ему подарила Наталья, повесив ее у него в кабинете со словами:

«Пусть наша осень будет так же красива».

Александр Петрович выпил чаю в столовой, в термосе он был совсем горячий, и прошел в спальню. Наталья полусонная сказала: «Ты пришел, Саша!» — и обняла его шею теплыми руками.

Ощущение ее теплых рук было так живо и сейчас, что Александр Петрович поморщился как от боли.

Он был счастлив тогда, но принимал это счастье как

должное, как само собой разумеющееся. И только сейчас, под угрозой потери его, понял, как хорошо прийти домой, где ждут тебя, где твой приход — радость.

«Как много верного, неубывающего счастья дает семья», — подумал он фразой, вычитанной недавно из какого-то романа.

Александр Петрович продолжал лежать. Дождь как будто начал стихать. В неплотно задернутый полог палатки виден был алеющий закат. Кто-то прошел мимо, шлепая по лужам, очевидно, Володька, потому что его голос через минуту спросил: «Вы не спите, Александр Петрович?» Но Щербинский не ответил. Ему не хотелось никого ни видеть, ни говорить.

На другой день к вечеру приехали Денисов и Наталья. Все выбежали им навстречу, когда машина остановилась возле столовой.

Наталья была оживленна. Давно Александр Петрович не видел ее такой. Стоя в машине, она передавала вещи Денисову и, смеясь, отвечала на многочисленные вопросы. Увидела подходившего мужа, и тень прошла по ее лицу, оживление потухло. Щербинский подал ей руку и сказал:

— Прыгай, Наташа!

Она оперлась на его руку и прыгнула.

Когда все поужинали и разошлись, Наталья, раздеваясь, сказала:

— Ой, Саша, и устала же я за эти дни! Но я очень рада, что поехала. Столько было интересного!

В темноте она долго рассказывала ему о совещании, о своих впечатлениях.

Но, очевидно, она действительно очень устала, потому что, рассказывая о том, какой ожесточенный спор возник на совещании по поводу того, как лучше сеять дуб, гнездовым способом или строчно-луночным, она вдруг сказала какую-то фразу, совсем не относящуюся к ее рассказу. Заметив это, засмеялась.

— Я совсем сплю! — и действительно уснула.

Александр Петрович прислушался к ее сонному дыханию, но сам долго не мог уснуть. Он видел, что Наталья как-то изменилась за эти четыре дня. Это чувствовалось и в тоне ее рассказа и в поведении. Что-то новое, свежее сквозило во всем. Это и обрадовало Александра Петровича и задело.

Наталя и в самом деле изменилась после поездки на совещание. Как будто немного затянулась душевная рана. Менее острой стала боль.

Сейчас она много работала, занимаясь, главным образом, корнями. Ей поручили интересную работу: проследить за развитием корневых систем различных древесных пород.

— Представьте себе, Наталя Михайловна, — говорил ей Денисов, — что получится, если мы посадим два дерева рядом и вдруг окажется, что они распространяют корни в одних и тех почвенных горизонтах. Они будут обворовывать друг друга и в воде и в пище. Надо так подбирать породы, чтобы деревья друг друга не угнетали. А это будет возможно, если мы будем знать их корневые системы.

Отмывку корней Наталя начала с белой акации. Выбрано было небольшое деревцо. Иван Кузьмич вырыл возле него яму глубиной около метра, чтобы Наталя во время работы могла свободно стоять в ней.

— Да... Работка! — говорил Иван Кузьмич, с большим любопытством следя за работой Натали. — И много вам придется копать, Наталя Михайловна?

— Много, Иван Кузьмич. Но вы посмотрите, как интересно идут корни у белой акации... Сначала они распространились в стороны по поверхности, а потом от них вглубь пошла вторичные корни. Они пошли за влагой и, наверняка, им придется идти за ней два, три метра. В литературе, Иван Кузьмич, описан дуб, который углубился корнями до 11 метров, но так и не нашел воды. Тринадцать лет боролся с безводьем и все-таки погиб!

Работа по отмывке корней была тяжелая. От согнутого положения ныла спина, ноги были в постоянной сырости, хотя Иван Кузьмич и бросал Натале под ноги доски от ящиков. Почва была так мало проницаема, что вода за ночь не уходила из ямы. Почти каждый раз утром Натале приходилось лезть в холодное месиво из глины.

— Ох, Наталя Михайловна, не наживете вы себе здоровья с этой работкой! — говорил Иван Кузьмич, скручивая негнувшимися пальцами папиросу в короткие минуты отдыха от работы.

Наталя улыбалась. Ее радовало, что напряженная

работа уже давала свои плоды. Были получены очень интересные результаты по корневым системам многих древесных пород. Выяснилось, например, что корни тамарикса шли вглубь на пять, шесть метров. Корни лоха хорошо мелиорировали почву, корни груши, растущей рядом с дубом, внедрялись в его корни, и сажать их рядом, оказывается, ни в коем случае нельзя. Вяз мелколистный с первых лет развивал такую мощную корневую систему, что душил дуб.

— Я же говорил, что он непримиримый конкурент дуба! — говорил Денисов. Он радовался и тому, что Наталья собрала интересный материал, подтвердив его предположения, и тому, что она, наконец, нашла интересное для себя дело.

Глядя сейчас на нее, он думал, что вряд ли она согласится на прежнюю роль только матери и хозяйки и был рад за нее. Ему хотелось подтолкнуть ее на что-то такое, отчего она еще больше приподнялась бы в собственных глазах. И он предложил ей сделать доклад о совещании.

Наталья испугалась. Нет, нет, она не сможет ничего сказать интересного об этом совещании.

— А я убежден, что доклад сделаете вы лучше меня... — говорил Денисов.

И вот Наталья стоит на сцене маленького клуба лесозащитной станции, где решено провести это собрание.

Десятки глаз устремлены на нее. Ей делается страшно. Что скажет она людям, которые годами выращивали лес в степи? Она невольно посмотрела на мужа.

Он так же сидел в зале, нетерпеливо посматривал по сторонам. Может быть, он тоже волнуется? Да, наверное, ведь он очень самолюбив и остро воспринимает все, что имеет к нему хоть какое-то отношение.

Но почему он так старательно избегает смотреть на нее, а когда взгляды их встречаются, с подчеркнутым равнодушием отводит глаза? Может быть, он не уверен в ней, не уверен в том, что она справится с докладом и не хочет краснеть за нее.

А, может быть, ему неприятно, что она с таким независимым видом стоит за кафедрой?

«Но разве тебе не все равно, что я делаю? Разве я для тебя что-нибудь значу?»

Наталья стояла за кафедрой и в волнении перекладывала листочки своего доклада. Как трудно произнести

первое слово. Но почему же так трудно? Разве она никогда не выступала с докладами? Выступала, конечно, но это было давно. Кажется это было... Она хочет вспомнить год, когда она последний раз говорила с кафедры.

Однако почему же она не начинает? Вот уже Денисов оторвался от блокнота и с тревогой смотрит на нее. Он ободряюще кивает ей головой.

Наталья набирает в легкие воздуха и грудным, чуть вибрирующим от волнения голосом произносит:

— Товарищи! Четыре дня продолжало свою работу техническое совещание по насаждению государственных защитных лесных полос. Совещание наметило и разрешило ряд важных проблем, стоящих сегодня в центре внимания работников степного лесонасаждения...

Тишина в зале. Слышно, как скрипнула на крыльце ступенька под чьими-то легкими торопливыми шагами, и звонкий мальчишеский голос крикнул под окном: «Валерка! Айда на лекцию!»

Все головы повернуты к Наталье, все глаза устремлены на нее, все ждут, что она скажет дальше, ибо то, о чем она говорит, волнует всех собравшихся здесь.

Кивает головой Денисов, как бы хочет сказать: «Так, так. Хорошо, Наталья Михайловна! Хорошее начало!»

И Наталья не чувствует больше стеснения в груди. Голос ее звучит увереннее, слова приходят сами собой, она испытывает почти наслаждение от того, как легко они приходят и облекают ее мысль в законченную форму.

Состояние внутренней свободы охватывает ее. Она вдруг ловит себя на мысли, что ей совсем не трудно говорить о таких сугубо специальных понятиях, как черный и сидеральный пар, кулисы, зяблевая вспашка, культивация, боронование, о понятиях, которые еще совсем недавно для нее не скрывали за собой ничего интересного и были простым обозначением обычных приемов обработки почвы.

После доклада Денисов подошел к ней. На лице его была улыбка.

— Ай, Наталья Михайловна. Наталья Михайловна! — сказал он с укором. — Зарываете вы свои таланты! Ей богу, зарываете!

— Наталья-то Михайловна какова! А! — сказал он, подхитившему Щербинскому. — Докладец-то какой сделал!

Видно было, что он искренне рад успеху Натальи, а больше всего рад тому, что этот успех ее очевиден и Щербинскому.

— Да, доклад хороший, — согласился Щербинский. — Я, признаться, не ожидал, Наташа, что так удачно справишься с ним.

«То-то же!» — хитро прищутив глаза, с удовлетворением подумал Денисов.

От его внимательного взора не ускользнуло, что в последнее время в отношениях Александра Петровича и Манефы Юрьевны произошли изменения. Несколько раз он видел Манефу Юрьевну раздраженной, злой, слышал однажды, как она сказала Щербинскому что-то очень резкое, язвительное.

Денисов еще не знал, чему приписать эти перемены, но почему-то заранее радовался за Наталью. Очень много, по его мнению, в Наталье было заложено умного, хорошего. Не мог Щербинский так легко расстаться с нею.

И Денисов не ошибся. В последнее время Щербинский действительно растерялся.

Он почувствовал, что Наталья не будет сейчас требовать выбора: или она, или Манефа. Она просто уйдет от него. Особенно он понял это, когда Наталья сказала ему о своем желании работать в другой экспедиции.

— Да! — сказал он тогда, сам не осознавая того, что хотел выразить этим «да», удивление ли, согласие ли с ее решением.

К этому вопросу они больше не возвращались, но Александр Петрович понял, что Наталья уходит от него и помешать этому он уже не в силах. И в то же время Щербинский знал, что в этом ее решении играла роль не только сама работа, интерес к ней, а желание во что бы то ни стало быть независимой от него. Ну, что ж! Она права. Ведь он первый нарушил равновесие их жизни. Он работал, она воспитывала детей, каждый из них вносил свою лепту в семью. Теперь семья распадалась, и вполне законно желание Натальи найти свое самостоятельное место в жизни.

Но не только это волновало Александра Петровича. Ему казалось, что Наталья презирает его. Ее трезвый испытующий взгляд иногда, невзначай перехваченный им, как будто говорил ему: «И этого человека я любила!»

Александр Петрович ловил себя на мысли, что не-

сколько месяцев тому назад ему было все равно любит его Наталья или нет. Даже хотелось, чтобы она не любила. Меньше было бы переживаний, упреков, а может быть, и раскаяния с его стороны. Сейчас же было неприятно равнодушие Натальи. В этом спокойном равнодушии он видел отчуждение, безразличие к нему, к мужу.

Все чаще ему приходила в голову мысль, что пора сделать выбор. Что терял он? Он терял любовь Натальи, терял детей, терял семью. И что получал взамен? — Непрочность чувства к Манефе, которое начинало уже несколько остывать, смутность своего будущего с ней, осуждение окружающих. Пожалуй, слишком неравны были шансы на выбор.

И, как ни тяжела была, в свою очередь, мысль порвать с Манефой, Александр Петрович чувствовал, что это надо сделать. Но как порвать с Манефой, не оскорбляя ее чувства? Эта мысль также не давала Александру Петровичу покоя, и он малодушно со дня на день откладывал свое решение.

* * *

В воскресенье утром Александр Петрович сказал, что придется ему сходить на второй опытный участок, проверить, правильно ли Володька и Галя сделали описание ямы.

— Напутали, наверно, там чего-нибудь, — говорил он недовольно морщась, натягивая узкие в голенищах сапоги, а сам косил глазом в сторону Натальи, как-то она отнесется к тому, что он собирается уйти в степь в свободный от работы день.

По тому, как он упорно заводил речь о необходимости пойти и делал вид, что это ему крайне неприятно («Рассчитывал делом заняться, а тут изволь тащиться по жаре!»), Наталья поняла, что дело тут не в проверке работы.

«Сговорился там встретиться с нею», — подумала она, и ее точно кипятком обдало. Что делать? Заплакать, закричать? Сказать, что никуда ты не пойдешь, я не позволю! Да разве она не знает его. Только из чувства одного протеста он уйдет. Уйдет и не вернется.

Страдая от бессилия удержать его, Наталья с ненавистью следила за сборами Александра Петровича.

Вот он положил в сумку полевой дневник, карандаш, рулетку, бутылочку с соляной кислотой. Потом зачем-то вытряхнул все это на стол, вновь уложил. И Наталье уже казалось, что вытряхнул он все это для того, чтобы она видела, что он идет на работу, а ни куда-нибудь.

— Ну, так я пошел, Наташа, — сказал он, поправляя висящую сбоку полевую сумку. — Ух, как не хочется идти!

Наталью возмутила эта ложь. К чему играть эту комедию? Неужели она любила когда-нибудь этого труса, который к тому же еще и лжет, изворачивается! Никогда не любила. Это только казалось ей, что она жить без него не может. Ей вдруг стало все равно, уйдет ли он сейчас, или не пойдет.

— Давай договоримся, Александр, — сказала она, прислушиваясь к тишине, которая вдруг наступила в ней, и сама удивляясь этой тишине. — Ты поступаешь так, как находишь нужным. Не надо никакой лжи, никакого притворства. Ты совершенно свободный человек. Можешь идти к ней, не таясь. Любить ее, если любишь. Мне все равно...

Александр Петрович оторопело взглянул на Наталью. Его поразило ее спокойное окаменевшее лицо.

— Опять выдумки! — пробормотал он, вспыхнув, и точно ошпаренный выскочил из палатки.

«Подумаешь, разрешила! Как будто я не обойдусь без ее разрешения!» думал он, крупно вышагивая в сторону от палаток. Но это продолжалось несколько минут. Скоро от его возбуждения не осталось и следа. Он шел уже медленно, неохотно. Свидание с Манефой было явно отравлено.

Какое уж это любовное свидание с разрешения жены. В том-то и была притягательная сила этих свиданий, что они были тайны. Это-то и волновало кровь, что он, как мальчишка, пробирался, шарахаясь и прячась от каждой тени, от каждого куста. Не будь этой волнующей остроты в коротких встречах с Манефой, может быть, и не затянулись бы их отношения, вопреки здравому смыслу.

«Ну вот и хорошо, что договорились, по крайней мере теперь все ясно, никто никого не будет обманывать! — несколько поостыв, пытался убедить себя Александр Пет-

рович. — Давно бы так. А то упреки, слезы. Подумаешь «мировая скорбь!»

Но, пытаясь убедить себя в преимуществе того, что теперь не надо будет лгать и изворачиваться, Александр Петрович испытывал смятение. Слишком неожиданным для него был этот бунт Натальи, хотя он и ждал его.

«Не любит больше, если бы любила, не отпустила бы».

И эта мысль болью отозвалась в душе. Как будто ему, идущему на свидание с другой женщиной, не все равно было, любит или не любит его жена.

* * *

Манефа уже давно ждала Александра Петровича. Она сидела под вязом в его короткой, не дающей прохлады тени и злилась. Злилась на солнце, которое пекло голову, на Александра Петровича, запаздывающего сегодня больше чем когда-либо. Уже который раз он приходит позже ее. Может быть, в один прекрасный день он совсем не придет? Нет, уж этого удовольствия она ему не доставит.

— Наконец-то! Пожаловали ваша светлость! — язвительно сказала она, когда Александр Петрович подошел и устало опустился рядом с нею на землю.

Щербинский промолчал. Удивительную усталость чувствовал он во всем теле. Как будто не пять километров, а все двадцать пять прошел он.

Солнце жгло немилосердно. Манефа сидела, прикрыв голову белым платочком. Александр Петрович прилег возле нее, укрыв голову в тени. Манефа приподняла его голову и положила к себе на колени. Сколько у него седых волос! Виски совсем белые. А разве скажешь, что он стар. И как печально, что все имеет свое начало и свой конец. Начало и конец...

Александр Петрович сквозь прищуренные веки смотрел на солнце, хотелось заснуть. И вдруг сквозь дрему, обессиливающую тело, он услышал слова Манефы:

— Я больше не приду сюда, Шура!

Александр Петрович приоткрыл глаза. Он увидел снизу лицо Манефы. Оно показалось ему сейчас не озорным и веселым, каким он привык видеть его, а задумчивым и даже грустным. Глаза, опущенные вниз, на него, были полуприкрыты веками, и показалось Александру Петровичу, что стоят в них слезы, усиливая блеск.

— Почему не придешь? — спросил он, подняв голову.

— Не люблю затягивать любовную агонию, Шура! Губы Манефы улыбались уже, но глаза ее еще влажно блестели. А, может быть, ему только показалось, что стояли в них слезы?

— Ведь не любишь ты меня больше?

Александр Петрович обнял Манефу и стал целовать ее полузакрытые глаза. Жалость и нежность к ней охватили его. Что сказать ей? Никогда эта женщина не будет ему чужой. На всю жизнь сохранит он чувство благодарности к ней, так просто и легко открывшейся ему. Чувство благодарности и вины перед нею за то, что, связанный семьею, не может предложить ей большего.

Неужели он в последний раз целует ее? Мысль о том, что навсегда теряет Манефу, ужаснула Щербинского. Он порывисто прижал ее к себе.

— Ну, так я не люблю больше! — подавив подступившие к горлу слезы, сказала Манефа и оттолкнула Александра Петровича.

Ослабели руки, обнимавшие ее. Манефа легко вскочила на ноги.

— Ой, сколько колючек набилось! — вскрикнула она, сунув ноги в босоножки, валявшиеся на земле.

Александр Петрович только сейчас понял по-настоящему, что это полный разрыв. Он совсем забыл, что еще несколько минут тому назад был почти рад словам: «Я больше не приду сюда, Шура», видя в них развязку. Неужели только потому, что она первая оттолкнула его, не пошла навстречу его желанию, он испытывал горечь? С обиженным видом Александр Петрович поднялся с земли:

— Значит, в отставку! — хмуро сказал он, косясь горячим насупленным взглядом на Манефу.

— Александр Петрович, дорогой, — певуче ласково заговорила Манефа. — Зачем же мелодрамы. Ведь мы с вами не в театре!

И, подхватив хмурого, упирающегося Александра Петровича под руку, потащила его к дому.

* * *

В последнее время все стали замечать, что Варно проявляет повышенный интерес к опытам Щербинского. То и дело видели его на опытных делянках. Чем он занимался там? Похоже было на то, что он подсчитывал

дубки. Но, когда его заставляли за этим, он торопился уйти или делал вид, что его интересуют норы грызунов.

Денисов обратил внимание Александра Петровича на странное поведение Варно, но Щербинский отмахнулся:

— Ну, что он там может делать? Пусть себе считает сколько ему вздумается. Все равно счет будет в нашу пользу...

Сам Щербинский ни разу не заставлял Варно на своих опытах. Но однажды они все-таки столкнулись на третьем опытном участке, где дуб рос в микропонижениях. Варно ни мало не смутился этим и заявил Щербинскому, что вот ознакомился он сейчас с дубками, растущими в понижениях и находит, что опыт далеко не оправдывает тех надежд, которые возлагает на него Александр Петрович.

Злорадство, которое чувствовалось в тоне Варно, задело Щербинского. Не видеть явных преимуществ дубков, растущих в понижениях, мог только человек, не желающий этого видеть.

— А чем плохи, по-вашему, эти дубки? — спрашивал он у Варно, переходя от лунки к лунке и показывая ему на сильные, вымахавшие за лето дубки, темная сочная зелень которых говорила, что они еще продолжают расти.

Варно видел, что дубки и в самом деле были хороши, но продолжал упорствовать.

— Ха! — сказал он. — Положите вы желудь в бесплодный песок, поливайте, и он будет прекрасно расти за счет пластических веществ, заложенных в самом желуде...

Александр Петрович принимал справедливость этого замечания, но ведь и те желуды, что были посажены в плоскую почву, тоже несли в себе запас питательных веществ, однако дубки из них выглядели хуже, высаженных в лунки.

— Кажущееся, кажущееся благополучие... — снисходительно говорил Варно. И Щербинского больше всего бесила именно эта снисходительность в тоне Варно. В ней таилось:

«Тешьтесь, тешьтесь, уважаемый коллега!»

Опыты на втором участке, где выяснялось, сколько желудей следует класть в лунку, тоже вызвали возражение Варно. Он считал, что вопрос этот уже решен академиком Власенко и нечего ломиться в открытую дверь.

Александр Петрович, наоборот, считал вопрос о количестве желудей самым спорным.

— Тысячу деревьев на гектар это уже хорошо! Это значит, на каждое дерево десять квадратных метров. А мы сеем на гектар двадцать пять тысяч! — говорил он, горячась.

— По мнению академика Власенко, сомкнутость в результате густого древостоя — основной способ борьбы с сорной растительностью, — возразил Варно.

— А! Тут-то я вас и поймал вместе с Власенко! Значит, вы признаете взаимопомощь внутри вида. Так? А? Что стоит в таком случае ваше утверждение, что «в природе нет внутривидовой борьбы и конкуренции, нет так же и внутривидовой взаимопомощи!»

И Щербинский стал говорить о том, что Власенко не только не разъяснил, а запутал вопрос о внутривидовой борьбе и уж ни в коем случае не доказал ее отсутствия.

— И пресловутое «самоизреживание», к которому вы любите прибегать во всех затруднительных случаях, ни больше ни меньше, как фиговый листочек, которым вы пытаетесь прикрыть идеалистическую сущность «закона» отсутствия внутривидовой борьбы. Я почвовед и на первое место ставлю агротехнику, а не видовые взаимоотношения. И гнездовой метод, который вы теоретически обосновываете отсутствием внутривидовой борьбы, на мой взгляд, — ошибка. Растения предъявляют нам свои требования в отношении почвы, влаги, подбора сопутствующих пород и кустарников, а мы не желаем считаться с этими требованиями. Мы создали единую инструкцию, своего рода «Прокрустово ложе», и сказали лесу: «Расти!»

Сергей Львович — маленький, тщедушный — стоял перед Щербинским, заложив руки в карманы, и слегка покачивался на носках. Бородка его клинышком торчала вперед, стеклышки пенсне поблескивали. На все нападки Щербинского Варно отвечал лишь пренебрежительным: «Ха!».

Это «ха» и покачивание на носках выводили из себя Щербинского и он почти кричал:

— Шаблонизировать, давать для всего юго-востока, для восьмидесяти тысяч колхозов единые указания — величайшая глупость. Она дорого обойдется нам!

Наталя всегда с тревогой прислушивалась к спорам

мужа с Варно и думала: «Зачем он его дразнит? Неужели он не понимает, что Варно может больно ужалить». Самой Наталье Варно казался далеко не безобидным.

Она рада была, когда Варно неожиданно уехал из экспедиции, у него заболела дочь. Наталья видела, как он стоял с трясущимися губами, держа в руках телеграмму. Пенсне соскочило, голубые, навывкате глаза, округлились и выражали страдание. Он в таком ужасе произнес: «У Олечки скарлатина!» — что Наталье от души стало жаль его.

— Не волнуйтесь, Сергей Львович, это не так страшно, — сказала она, чтобы успокоить его.

Варно встрепелся было. — Вы так думаете? — спросил он, но тут же безнадежно махнул рукой.

— Нет, это уже конец... Оля такая слабенькая, у ней гланды...

Наталья, чтоб успокоить его, сказала, что это ничего не значит, что иногда слабые дети лучше переносят болезнь.

Сергей Львович жадно слушал Наталью. Расспрашивал, как протекает болезнь, строил предположения, как у Олечки она может идти. Заволновался ужасно, когда Наталья сказала, что страшна не столько сама по себе болезнь, как опасны последствия.

— Нет, нет! Я сам должен быть там! Я спасу ее! Я не отойду от нее ни на минуту.

Он побежал договариваться о машине, чтобы сейчас же, не медля, уехать в город, быть возле дочери.

Наталья смотрела ему вслед. Маленький, жалкий, растерянный, он бежал к лаборатории, оступаясь, точно слепой, на каждом шагу.

«А интересно, Александр побежал бы вот так же, получив подобную телеграмму? Нет, не побежал бы, — вздохнув, вынуждена была признаться себе Наталья. — Конечно, он забеспокоился бы, узнав о болезни кого-нибудь из детей, но тут же сказал бы себе: Чем я могу помочь? Ведь все равно я ничего не смыслю в медицине. Это дело врачей спасать жизнь. И потом не могу же я бросить работу здесь...»

Утром, перебирая на столе Александра Петровича бумаги, после того, как он ночь работал, Наталья обрати-

ла внимание на листок со следующими словами, взятыми в кавычки:

«Содержание развития составляет борьбу мнений между новым, иногда еще слабо намеченным, и старым, которое иногда еще кажется новым».

В скобках после этих слов уже самим Александром Петровичем было написано: «Гнездовой посев!» Большой восклицательный знак, стоявший после слов «гнездовой посев», говорил о том, что фраза эта имела для Александра Петровича свой особый смысл.

Наталья поняла, о чем он думал, когда записывал ее. Для него, ставшего на позицию отрицания гнездового посева, этот метод был уже «старым», тормозящим движение вперед. Хотя по существу этот метод был новым, оставаясь таким для большинства и сейчас.

Наталья вздохнула. Она почти завидовала мужу. Завидовала той страстности, с какой он отдавался делу. Для него жизнь была всегда борьба, борьба страстная, непримиримая. Какое бы дело он ни делал, он всегда готов был отстаивать его до последнего дыхания. И споры, в которые он то и дело вступал, отстаивая свою точку зрения, это тоже была борьба, борьба за дело, в важности которого он был глубоко убежден.

Перелистав несколько страниц рукописи, она снова натолкнулась на фразу, густо обведенную красным карандашом: «Без борьбы мнений нет движения вперед».

Все последние дни Александр Петрович много, лихорадочно работал. Нередко он уезжал на целый день в соседнюю лесозащитную станцию, где тоже проводилась осенняя инвентаризация лесокультур, возвращался оттуда поздно и подолгу работал.

Наталья знала, что он готовил докладную записку в Главное управление лесозащитного лесоразведения, излагал свои выводы по гнездовому посеву дуба.

Нередко он засиживался за работой так долго, что Наталья не слышала, когда он ложился спать, и ложился ли вообще. Просыпаясь ночью, она видела его голову, склоненную над столом. Он энергично, размашистым почерком писал. Лицо его были сорседоточенно, брови нахмурены.

Заметив, что она не спит, он вставал с места, распрямлял онемевшие плечи и делал несколько шагов по палатке.

— Ну, Наташа! написал же я, — говорил он восторженно удивленно, точно сам себе не верил, что мог так хорошо, резко написать. Он останавливался возле постели и озорно ерошил свои волосы.

— В пух и прах все и вся разделал! Не знаю только, чем все это для меня кончится. Не одобровать мне! Ей богу, не одобровать!

Но видно было, что он ничуть не боялся этого «не одобровать!». Наоборот, он доволен был тем, что его докладная записка вызовет бурю. «Хорошо!» — говорил он, предвкушая, какие ожесточенные споры поднимутся вокруг гнездового метода, в широких научных кругах. «Хорошо!» — повторял он, ибо глубоко был убежден в том, что в науке нет ничего хуже застоя, отсутствия свободы мысли, толкающей науку вперед.

— Ведь вот чудaki, — говорил он, разумея под «чудакami» работников Главного управления полезащитного лесоразведения, — настаивают на гнездовом посеве, когда совершенно же очевидно, что нельзя с одной меркой подходить к созданию леса в степи. Надо же учитывать местные особенности, учитывать почвы, климат и так далее.

— И вот ведь что обидно, Наташа, — говорил он, сделав несколько шагов по палатке и снова останавливаясь перед Натальей, — хорошую идею, которую народ вынашивал в себе столетия, мы этой своей твердолобостью опошляем; сводим на нет. Если бы только ты видела те лесополосы, которые мне сейчас приходится обследовать! Едешь по степи, видишь далеко-о в безлесную даль уходят зеленые ленты. Глядишь и радуешься: «Вот он лесок! Поднялся!» Подъезжаешь к полосе, а на ней один бурьян, дубков-то и не видно. Создали не лесополосы, а бурьянополосы!

Наталья следила за оживленным лицом мужа, на котором не было и тени усталости, слушала его взволнованную речь и радовалась за него. Он снова вступил в полосу того духовного подъема, который и раньше овладевал им, и который она так любила в нем.

Когда это творческое горение охватывало его, он работал по суткам, забывал обо всем, о сне, о пище. Все, не имеющее прямого отношения к его работе, отступало на задний план. Ни она, ни дети для него тогда не существовали.

Раньше это обижало ее, сейчас она почти радовалась этому. Ведь если она переставала существовать для него, то в такой же мере для него не существовала и та, другая. Эта мысль приносила Наталье облегчение. Она догадывалась о том, что между Александром Петровичем и Манефой произошло что-то. Судила об этом потому, что Александр Петрович стал как будто спокойнее, ровнее, мягче.

Наталья боялась верить этой перемене. Иногда ей в голову приходила мысль уже не игра ли это? Не собирается ли муж нанести ей окончательный удар, и этой своей доверчивостью заранее обезоруживает ее. Но Наталья тут же с негодованием на себя отвергала это подозрение. Слишком хорошо она знала своего мужа, чтобы предполагать в нем такое коварство.

Что бы там ни было, но Наталья была рада этой перемене. Она старалась себя держать с мужем так, как будто этого лета и не было. Когда Александр Петрович заговаривал с нею о том, что его занимало, она слушала его как раньше, волнуясь и негодуя вместе с ним. И он, чувствуя это, все с большей охотой поверял ей свои мысли и настроения.

— Ты представляешь, Наташа, какой ужасающий разрыв сейчас получился между вновь закладываемыми площадями и старыми,—говорил Александр Петрович.—Засеваются все новые и новые площади, а старые так и остаются незавершенными. И кончать их нечем. Посадочного материала нет, он весь идет на свежие посадки. Надо срочно выращивать посадочный материал. Сейчас это самая злободневная проблема для лесоводов. Понадеялись на то, что сопутствующие будут высеваться, а не высаживаться, вот и расплачиваемся. «Кусаем локотки», как говорит Башкиров.

— Эх, сколько работы предстоит! Не скоро исправим свои ошибки. А сколько проблем решить!.. Например, есть участки с хорошей почвой, где дуб не растет или начинает куститься. В чем дело? Неизвестно. Неизвестна и причина зимнего отпада. Все это надо немедленно выяснить. Надо пересмотреть состав сопутствующих пород и кустарников. Заменить акацию желтую смородиной, жимолостью, кленом татарским...

В нетерпении Александр Петрович делал несколько

шагов по палатке, потом сажился за стол и продолжал работу.

Наталя смотрела на его низко склоненную голову и думала: будет ли кто другой так терпеливо выслушивать его, как всю жизнь выслушивала она. И поймет ли когда-нибудь Александр, что она для него значила..?

Невеселые думы были у Натали, но ей становилось легче от мысли, что сейчас снова муж не мог обойтись без нее. Успокоенная Наталя засыпала. Когда она вновь просыпалась, он сидел за столом, не замечая, что ночь на исходе, что давно пора спать.

— Довольно, Саша. Устал ты, — говорила Наталя. — Ложись!

— Да, в самом деле! — отвечал Александр Петрович и с удивлением оглядывался. Он не думал, что так поздно, или вернее рано. Он тушил лампу и откидывал полог палатки. Бодрящая свежесть уже по-осеннему холодного утра врывалась в палатку.

Наталя вдыхала этот свежий чистый воздух, натягивала до самого подбородка одеяло и вновь засыпала. Но сон ее был уже не крепок. Она слышала, как ворочался, не спал на своей постели Александр Петрович. — Значит, еще не закончилась его работа.

Наталя с тревогой думала, что через час, два вставать, и он не успеет отдохнуть, а впереди ему предстоит трудный день.

* * *

Недели через две после того, как Щербинский послал в Главное управление свою докладную записку, в одной из центральных газет появилась статья, резко осуждающая всякие попытки внесения изменений в гнездовой посев.

Статья эта, подписанная видным лицом, занимающим руководящий пост в Министерстве лесного хозяйства, так и называлась: «Против извращений метода гнездового посева дуба».

В статье очень резкой критике подвергались попытки внести поправки в гнездовой метод посева дуба. Упомянулась фамилия Щербинского и высказывалось сожаление, что он не одинок, что есть еще «люди от науки», ко-

которые разделяют его точку зрения и, давая неверные практические предложения, тем самым тормозят развитие отечественного лесонасаждения. Статья призывала дать отпор этим людям.

Под «людьми от науки» разумелись крупнейшие советские ученые, противники гнездового метода посева леса.

Статья в экспедиции произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Еще никогда в статьях полемического характера о гнездовом посеве ни один автор не позволял себе так неуважительно отзываться о людях, которые все силы отдавали делу создания леса в степи.

На лесозащитной станции, где была вначале получена и прочитана газета, она вызвала негодование. Денисов, случайно оказавшийся на станции, принес ее в экспедицию и со смущенным видом передал Щербинскому.

Щербинский прочитал статью внешне спокойно, свернул газету и положил на стол. Лицо его было бледно, глаза потемнели.

— Та-ак... Значит «люди от науки»... Ловко сказано!

И вдруг вскочил, заметался по лаборатории.

— Я знаю, как выращивать лес, но мне не дают его выращивать как надо. Если я говорю, что гнездо — проклятье, что пятая лунка парализует технику, что гнездо надо вытянуть, чтобы механизировать уход, что в лунку надо класть не пятьдесят, а пятнадцать желудей, меня обвиняют во всех смертных грехах, вплоть до мальтузаинства...

Наталье больно было за мужа, но она так и не нашла, что сказать ему в утешение.

* * *

В экспедиции только и разговору было в последние дни о поездке Александра Петровича со студентами вдоль трассы гослесополосы Сталинград — Степной — Черкесск.

Поездка рассчитывалась на неделю. Щербинский считал, что будущим почвоведом совершенно необходимо ознакомиться в природе со всем разнообразием почв юго-востока.

Но тут неожиданно обиделись ботаники, зоологи. А они! Разве им не нужно познакомиться с растительным и животным миром степи? Они тоже хотят ехать.

— Что же, почему бы им не поехать, — сказал Денисов. — Неделя, в конце концов, не решит дела, а поездка им даст много полезного.

— Ура-а! Иван Иванович за нас! — восторженно закричали девочки. — Девчонки, качать Ивана Ивановича! Володька! Олечка, на помощь!

Денисов, смущенно улыбаясь, поторопился выбраться из круга. Теперь ему и в самом деле не поздоровилось бы.

И вот в столовой, в лаборатории, в степи говорили только об одном: Что нужно взять с собою? Где будут останавливаться? Как устроятся с ночлегом? С питанием? Что нового, интересного увидят в пути?

Вечером, накануне отъезда, все толпились в лаборатории, возле стола, за которым Александр Петрович по карте уточнял маршрут с шофером.

— Значит, так... Тимофей Алексеевич, — в раздумьи говорил Щербинский, потирая лоб и делая карандашом отметки на карте. — До Кумо-Манычской впадины мы едем почти в меридиональном направлении, на юг... Остановки: Садовое, Обильное, Акшибай, Кегульта. Едем по самому гребню Ергеней. Над пересыхающим руслом Восточного Маныча Ергени обрываются скалистым уступом Чалон-Хамура, и мы вынуждены будем свернуть... на запад. Дальше... Минуем Кумо-Манычскую ложбину и спустимся в низовья рек Большого Егорлыка и Калауса. Потом захватываем край песчаной Ачикулакской степи и поднимаемся на третичное Ставропольское плато. Пересекаем его. Огибаем Черкесск и поворачиваем обратно... Обратно едем уже другим маршрутом: Зеленчук, Курсавка...

Слушая Александра Петровича, Володька упивался новыми экзотическими словами: «Чалон-Хамур», «Кегульта». Читая приключенческие романы, он всегда завидовал людям, которые жили в местах с такими романтическими, непонятными наименованиями как «Гренада», «Таити», «Ориноко». Слова «Бекетовка», «Дар-гора» казались ему на редкость обыкновенными.

Он не подозревал, что совсем недалеко от Дар-Горы и Бекетовки есть такие интересные для путешественника места.

При уточнении маршрута по каждому отрезку пути неожиданно столкнулись с препятствием.

Тимофей Алексеевич, не проронивший ни слова, пока все галдели вокруг него и Щербинского, заявил вдруг:

— Через эту балку, Александр Петрович, вы как хотите, а я не поеду.

— Почему?

— А потому, что в прошлом году мы в этой балке два дня с начальником комплексной экспедиции сидели, пока нас тягачом не вытянули.

— Объезжать далеко, да и не к чему. Поедем через эту балку, — сказал спокойно Щербинский тоном, не допускающим возражения.

Маленькие, выцветшие глазки Тимофея Алексеевича стали злыми, румянец раздражения залил его худое лицо.

— А я предупреждаю вас, — сказал он поучающе. — Тут гиблое место! И мы машину угробим!

Тон этот заставил, в свою очередь, вспыхнуть Щербинского.

— Черт с ним, чем бы нам ни угрожало это «гиблое место», а мы поедем по этому пути и все! Вы находитесь в безоговорочном подчинении начальника экспедиции и будьте добры подчиниться!

— Я подчинюсь если вы распишетесь на моем предупреждении. Дадите расписку? — спросил Тимофей Алексеевич, и все увидели, что руки его плясали от сдерживаемого волнения.

— Да! — резко бросил Щербинский.

Ему крайне неприятна была вся эта история. Он знал, что предупреждение шофером дается только в самых исключительных случаях, когда проезд действительно невозможен. Но теперь уже поздно было отступать. Да и нельзя это сделать в присутствии студентов.

Как ни раздражен был Щербинский против Тимофея Алексеевича, он старался сдерживать себя, ибо по горькому опыту знал, что опасно ссориться с шофером в дороге, ведь в пути целиком зависишь от него.

Дальнейшую разработку маршрута они закончили благополучно. После ухода Щербинского, Тимофей Алексеевич некоторое время оставался в лаборатории, слушая оживленные разговоры молодежи о поездке, но слушал он рассеянно, в душе продолжая переживать столкновение с

начальником. Сейчас ему самому уже казалось, что зря он затеял эту историю с балкой. Прошрое лето было сырое, а нынче, может быть, и капли воды нет в этой балке.

Озлясь на себя за излишнюю осторожность, Тимофей Алексеевич уже все видел в мрачном свете. Теперь ему не нравилось, что выбор остановился на его машине, что вместе с почвоведрами едут и ботаники и зоологи.

— Семь пятниц на неделе! — сказал он желчно. — То говорили, что поедут пять человек, начальник шестой, а теперь уже пятнадцать человек едут. Не думают, что сегодня перегрузи машину, завтра перегрузи, а она и копыта в сторону. А в дороге кто заплачется? Шофер!..

— Да что вы, Тимофей Алексеевич! Разве пятнадцать человек много! Вспомните, вы из степи по тридцать человек возили.

— Так-то вы налегке были, а тут у вас у каждого котомка, а то и две будут! Вот оно и получается перегрузка!

Выговорившись и тем несколько облегчив себе душу, Тимофей Алексеевич отправился к своей машине. Конечно, она у него всегда на полном ходу, недаром начальник выбрал именно ее для поездки, но все-таки не мешает кое-что проверить в ней.

* * *

Вечером, накануне отъезда разложили большой костер. Все сидели возле него притихшие и задумчиво смотрели на огонь. Пламя костра завораживало, от него трудно было оторвать взгляд.

Всем было немножко грустно. Вот скоро и конец их кочевой жизни. Жаль расставаться после того, как чудесно жилось и работалось в это лето. Соберутся ли они еще когда-нибудь вместе.

Вдруг в тишине, в которой отчетливо слышно было, как потрескивает бурьян на костре, Манефа запела.

Пела она о девушке, проводившей милого на фронт, подарившей ему на прощание шелком вышитый кисет. Не вернулся милый домой. Передали девушке лишь один кисет, залитый кровью.

«Я кручину никому, никому не покажу,

Темной ночью выйду в поле, выйду в поле на межу»...

Тоской, слезами звенел голос Манефы. Почему она выбрала эту песню, уже по самой мелодии напоминающую плач?

Все сидели молча, притихшие. Впервые, может быть, люди, которые видели Манефу ежедневно, сейчас подумали, что уж не так-то легка жизнь этой женщины, одевающей улыбкой радости других.

Манефа оборвала пение, оглянулась и, увидев впечатление, произведенное на всех ее пением, напряженно засмеялась, желая все: и выбор песни, и ту страстную тоску обыкновенной русской бабы, которую она вложила в нее, обратить в шутку. Но никто не засмеялся.

Манефа не то икнула, не то всхлипнула, стремительно поднялась с места и быстро пошла в степь. Никто не поднялся вслед за нею, никто не окликнул ее. Галя сделала было движение подняться, но Денисов глазами приказал: «Сиди».

Александр Петрович с нарочитой старательностью подкладывал в костер пучки бурьяна. Наталья сидела, опустив глаза.

В первую минуту ей показалось, что Александр Петрович поднимется вслед за Манефой, но этого не произошло. Чувство жалости к себе и к Манефе неожиданно захлестнуло Наталью. Она вдруг поняла, что Манефа так же несчастна, как и она, Наталья. И что горе им обоим причинил один и тот же человек.

Задумывался ли он над этим? Вряд ли. Слишком баловала его до сих пор жизнь и не до страданий близких было ему! С удивлением и растерянностью Наталья ощутила, что у ней нет прежней ненависти к Манефе и что не ее, а мужа она ненавидит за непростительное легкомыслие и эгоизм...

А Манефа шла по степи, сдерживая рыдания. Когда костер и люди скрылись из виду, Манефа упала в сухую горькую полынь.

Долго плакала она. Плакала об уходящей молодости, о бесцельно убитых годах, о жизни своей одинокой, не согретой большим настоящим чувством, плакала об Алексее. Только он один любил ее. Почему она не заметила тогда его большой любви, прошла мимо нее, раздаривая себя направо и налево.

Огромная луна, красная как медный котел, нехотя вылезла из-за горизонта и залила степь ровным бесстра-

ственным светом. В ее холодных лучах степь казалась вымершей пустыней.

Выплакавшись, Манефа села. Опустошенная, смотрела она в безжизненную даль и машинально покусывала сорванную былинку. Голова ее гудела. Мысли, горькие как та полынь, что была во рту, вяло толпились в ней. Прежнего отчаяния уже не было. Была усталость и безразличие к тому, что будет с нею, как дальше пойдет ее жизнь.

* * *

Утром Денисов, встретив Манефу Юрьевну, не отвел глаза, как обычно, а смотрел на нее с участием.

— А я к вам с просьбой, Манефа Юрьевна! — бодро сказал он, здороваясь и всем своим видом показывая, что ничего особенного вчера не случилось, и что он не замечает ее бледности.

— Что такое, Иван Иванович?

— Вот какое дело, Манефа Юрьевна, — сказал Денисов, присаживаясь на ступеньки лаборатории и жестом приглашая сесть ее.

— Лесозащитной станции предложено заложить новый питомник. Проекта по питомнику нет, изыскания не сделаны. Вот Башкиров и просит нас помочь им в этом деле. Как вы на это смотрите?

— Вы хотите, чтобы я сделала эти изыскания? — засмеявшись, сказала Манефа, она сразу поняла, к чему клонит Денисов.

— Хочу. Кроме вас больше никому провести их, все будут в отъезде, а откладывать нельзя. В прошлом году на Горно-Балыклейской станции заложили питомник без проекта, а на участке оказалось пятьдесят процентов глубоко-столбчатых солонцов. Скандал! Это в питомнике-то, когда есть положение вообще запретить создавать дубравы на площадях, где больше двадцати пяти процентов солонцов. Итак, какое будет ваше просвещенное мнение?

Денисов смотрел на Манефу Юрьевну смеющимися глазами. Он был рад тому, что, несмотря на вчерашнее, снова была она в своем бодром жизнерадостном настроении, и старался подладиться под этот ее тон. Кроме того, он не сомневался в том, что она согласится взять на себя исследования. Уж кого, кого, а ее не запугаешь работой.

— Что уж с вами сделаешь, придется взять на себя! А рабочих ямы копать они дают? Я сама не собираюсь копать их!..

— Да, конечно, — заверил Денисов. Он был доволен тем, что изыскания под питомник будут сделаны Манефсй Юрьевной. Она свое дело знает, против этого ничего не скажешь.

* * *

Машина уже ждала Александра Петровича. Он отдал последние распоряжения и пошел к себе взять вещи и проститься с Натальей.

Она кончала пришивать пуговицы к его плащу.

— Наташенька! — сказал Александр Петрович, входя в палатку. — Ты не видела, куда я положил свой почвенный нож?

«Наташенька!» Как давно он не называл ее так! Душная спазма вдруг сжала горло Натальи. Ничего не ответив, Наталья почти выбежала из палатки, она боялась, что расплачется при муже.

Александр Петрович в недоумении посмотрел ей вслед. «Скажешь не так, сделаешь не так!» — подумал он раздраженно, имея в виду сложность женской психики. Он принялся сам искать нож в ящике с почвенными образцами, но состояние виноватости перед женою уже овладевало им.

Все последние дни он испытывал щемящую неудовлетворенность. Он понимал, что его чувство к Наталье не могло быть прежним. Оно было опалено, и оттенок горечи примешивался к нему. Сознание того, что оно было разрушено им самим, было мучительно. От любви к Манефе, как-то вдруг тоже ничего не осталось, кроме большой неловкости и сознания своей вины перед нею.

Ощущение пустоты, которая образовалась после утраты яркого чувства к Манефе и ясного счастья с Натальей, и наполняло его тоской.

Нет, так он не может уехать. Они должны поговорить.

— Боже мой, как трудно, как трудно! — давясь слезами, шептала Наталья, стоя за палаткой. Она имела в виду, что трудно будет начинать жизнь сначала, на прежних основаниях.

Вернулась она несколько успокоенная, и только припухшие веки выдавали следы ее слез.

Александр Петрович уже собрался. Он подошел к Наталье проститься.

— Наташа! — сказал он, глядя на нее страдающими глазами. И она поняла, что сейчас мучило его. Порвав с Манефой, он совсем не был уверен в том, что его жизнь с ней, с Натальей, наладится. Сможет ли забыть она все, что стояло между ними.

— Наташа! Я очень виноват перед тобою...

Наталья испуганно подняла на него глаза, лицо ее жалко перекосилось точно от боли.

— Не надо! Ничего не надо говорить! — сказала она. Александр Петрович, что-то хотел сказать, но Наталья почти крикнула:

— Нет, нет, не надо! Ничего не говори! Все будет хорошо! — спокойнее добавила она, сделав над собой усилие, инстинктивно догадавшись, что именно этих слов ждал он от нее.

Александр Петрович испытующе посмотрел в ее глаза, она прикрыла их ресницами, испугавшись, как бы он не прочитал в них жестокую для себя правду.

— Нет ничего хуже позднего раскаяния, Наташа, — сказал Александр Петрович дрогнувшим голосом и поцеловал ее в лоб. Она ничего не ответила ему.

Александр Петрович взял рюкзак и вышел. Наталья не пошла провожать его. Она слышала, как завели машину, как захлопнулась дверца кабины, как машина тронулась, и провожающие кричали что-то вслед.

Она сидела без сил. Во всем ее теле была такая усталость, что, казалось, невозможно было встать, пошевелить рукой. Это была не та приятная усталость, которая овладевает человеком после хорошей работы, когда тело гудит, а на душе легко при мысли, что день прожит не зря. Это была усталость человека, долгое время находившегося в большом напряжении всех душевных сил. Сейчас это напряжение миновало, и все существо Натальи молило об одном — покое. Наталья легла и впервые за последние три месяца уснула сразу, не думая о том, что терзало ее.

На участке, где предполагалось заложить питомник, Манефа поселилась у стариков, у которых когда-то ночевала Наталья. Старики потеряли дочь, ее убило грозой в степи. После дочери остался годовалый мальчик. Он забавно ковылял за бабкой по двору на толстых, коротких ногах. Влажные глаза его были с косым разрезом.

— У-у-у! Какой бутуз! — засмеялась Манефа, увидев его в первый раз, и взяла мальчишку на руки.

Он не сопротивлялся, но во всем тельце его плотном, упругом, как резина, чувствовался протест. Слегка отстраняясь от нее, он смотрел в сторону, точно прислушиваясь к чему-то, и терпеливо ждал, когда его спустят с рук.

Но Манефа и не думала спускать. Ей, всегда равнодушной к детям, почему-то так приятно было держать на руках этого мальчишку. Она держала его на коленях, подбрасывала, приговаривая забытые с детства присказки. Скоро они совсем подружились.

— Ну, Колька! Давай одеваться! — говорила Манефа, выходя утром из своей комнаты и садясь на большую деревянную кровать, где Колька спал с бабкой.

— Где твои чулки, штаны? Ну, живо! Раз, два!

Ей доставляла невыразимое удовольствие эта возня с ним.

— Постой, где у тебя тут пуговица? Вон куда ее бабка пришила. Ну, и бабка, вот так бабка!

С каждым днем она все больше привязывалась к мальчишке, купала его на ночь, смастерила ему даже трусики — это была первая детская вещь, сшитая ее руками.

— Милый ты мой! — говорила она, стиснув зубы от прилива нежности. — Что ты делаешь со мной! — и принималась душить его поцелуями.

— Вот возьму да и увезу тебя с собой в Москву!

Сказала в шутку и тут же всерьез подумала, а почему бы и не увезти?

Сказала об этом бабке. Та заплакала:

— Милушка моя, да что уж ты последнюю радость отнять от нас хочешь. Как же мы со стариком-то останемся. Ты ишо молодая, родишь свою, а не родишь, так возьмешь какого, да и воспитаешь. Мало ли их сирот, по белу свету маются.

— Ну, что ты плачешь, бабушка! Ведь силой я его

не отберу у тебя! — Манефа вздохнула. — Придется, видно, мне взять другого Кольку! — и она с сожалением посмотрела на мальчишку, за обе щеки уписывающего арбуз.

И вот лежит Манефа в темноте и улыбается, представляя себе своего будущего малыша, которого она обязательно возьмет по приезду в Москву. Какой он будет, этот малыш, она еще не знает, но ей хочется, чтобы он походил на Кольку, был такой смешной и толстый, с такими же черными, похожими на арбузные семечки глазами.

Через несколько дней она вернулась в лагерь бодрая, посвежевшая. От Денисова не укрылось выражение необыкновенной оживленности на ее лице.

— Как поработалось, Манефа Юрьевна? — спросил он ее при встрече.

— Замечательно!

— Все сделали?

— Все, Иван Иванович! Изыскания сделала, проект составила... и чуть было глупость одну не сделала...

— Какую?

— Чуть было мальчишку не усыновила! — Манефа засмеялась чуть хрипло. Но это был не прежний смех беспечной женщины, горечь чувствовалась в нем. От разлуки ли с Колькой, или от чего другого? Она могла бы не говорить с парторгом о Кольке, но ей хотелось знать мнение Денисова, человека, которого она больше всех уважала в экспедиции.

— Усыновление ребенка никогда не может быть глупостью, — тихо сказал Денисов. — А почему бы вам и не сделать этого? Сразу ваша жизнь полнее стала бы...

— Да вы уговорите! — рассмеялась Манефа, но вдруг оборвала смех и серьезно сказала:

— Да в сущности меня и уговаривать нечего. Я уже твердо решила: вот приеду в Москву и возьму какого-нибудь карапуза. А он будет кричать «Уа-уа-уа!» А мне будет его кормить не-е-чем, молока-то у меня не бу-у-дет...

Манефа уже снова смеялась, но глаза ее блстели. Не от слез ли?

— Нет, вы серьезно?

— Да я же сказала, что возьму!

— Руку, Манефа Юрьевна! Вашу руку!

Сторонники гнездового посева дуба чувствовали, что с каждым днем их позиция становится все более шаткой. С мест все чаще и чаще поступали сведения о провале этого метода.

На сотнях тысяч гектаров колхозов, лесхозов и лесозащитных станций культуры дуба, создаваемые гнездовым способом, погибли. Лесополосы, превратившиеся скорее в бурьянополосы, стали серьезным рассадником сорняков в колхозных полях. Это был полный крах гнездового метода.

Трудно было поверить, чтобы Варно и другие, кто стоял за гнездовой посев, не видели этого краха. Уж слишком очевидны были факты. Все громче стали раздаваться голоса протеста против гнездового метода, грозящего погубить самую идею преобразования природы.

Но защитники гнездового метода посева дуба, типа Варно, продолжали цепляться за него. Перестань они упорствовать, отстаивать гнездовой метод, они выглядели бы в глазах общественности банкротами, должны были бы понести ответственность за сотни тысяч гектаров погубленного леса. Это было страшно и этот страх ответственности перед народом делал борьбу еще более ожесточенной, еще более яростной.

Большим подспорьем для защитников этого метода и для Варно было то обстоятельство, что до сих пор метод гнездового посева в высших кругах, в Главном управлении лесозащитного лесоразведения считался непогрешимым. Несмотря на упорное сопротивление лесоводов, его продолжали внедрять в широких производственных масштабах в качестве единственного и обязательного метода.

Это давало возможность до поры до времени сдерживать голоса протеста на местах. Как ни возмущались производственники тем, что им навязывается сверху порочный метод, не каждый осмеливался заявить об этом вслух. Грозный окрик сверху, приклеивание ярлыков были излюбленными приемами в этой борьбе с противниками гнездового метода.

И только немногие, такие, как Щербинский, как Денисов и Башкиров, имели мужество резко, где бы то ни было, заявлять свой протест против гнездового гнёта. За экспедицией Щербинского и за лесозащитной станцией

но, и не предпринимал никаких мер к тому, чтобы снять с себя это обвинение.

Она думала о том, как помочь ему? Что может сделать она? И будет ли значить что-нибудь ее слабый голос, голос жены, в защиту мужа?

На следующий день, работая на инвентаризации лесокультур, Наталья с особенным вниманием приглядывалась к дубкам, посеянным гнездовым методом.

Одни из них выглядели хорошо, другие хуже, третьи совсем плохо. Почему такая разница между ними? Наталья раздвигала дубки в лунках, разглядывала, сравнивала. Вот лунка, где посеяно тридцать желудей, она казалась лучше лунки, где посеяно три, но если присмотреться, в отдельности к каждому дубку, они выглядели плохо. Стволик у них был слабенький, не одеревяневший, и корневая шейка в поперечнике не больше сантиметра. Дубки совсем не подготовились к зиме. «Конечно, прав был Александр, утверждая, что им не хватит воды и пищи при такой скученности», — думала Наталья, переходя к другому ряду, где в лунках было по три дубка. Здесь каждый дубок выглядел на славу. «Вот красавец дубок! Интересно сколько приросту он дал за лето?»

Наталья присела возле дубка, измерила его. Ого! почти двадцать пять сантиметров! А как глубоко он пустил корни? А что если откопать их? И откопать не только у этих трех дубков, но у тех тридцати. И взять не крайности: три и тридцать, а взять лунки с двадцатью пятью дубками, двадцатью, пятнадцатью, десятью... Откопать и расположить в ряд на большом листе бумаги. Получится своеобразная диаграмма из самих растений. По этой диаграмме было бы очень интересно проследить связь между густотой посева дубков и степенью развития их корневой системы. И эта диаграмма, конечно, в какой-то мере ответила бы на вопрос: Кто прав? Варно ли, утверждающий, что чем больше дубков в гнезде, тем лучше. Щербинский ли, доказывающий обратное?

Вечером Наталья поделилась своей идеей с Денисовым. Тот обрадовался.

— А ведь это здорово получится, Наталья Михайловна! Давайте-ка, не откладывая, принимайтесь за дело!

На следующий же день Наталья приступила к откопке и отмывке корней. У ней не было времени на то, чтобы тщательно кропотливо следить за расположением корней

дуба в почве по горизонтам и соответственно этому отображать распределение их на миллиметровке, как это она делала, работая над корневой системой сопутствующих пород и кустарников. Сейчас она должна была просто отмыть корни дубков и составить из них диаграмму.

Все последующие дни она много работала. Поднявшись с солнцем, она торопливо съедала кусок хлеба, запив его вчерашним чаем, чуточку пахнувшим жестью от чайника, и шла в степь. Ей хотелось до приезда мужа сделать все...

Через несколько дней вернулся Александр Петрович со студентами. Наталья со страхом ждала его приезда. Как-то отнесется он к случившемуся? Но опасения ее были напрасны. Оказывается, Щербинский знал уже обо всем от главного инженера терруправления, с которым встретился в Степном.

Наталью поразила угрюмая сосредоточенность, замкнутость мужа, так не свойственная ему. Денисов тоже был удивлен этой угрюмостью Щербинского. Когда он начал было рассказывать Александру Петровичу о том, что говорят об его опытах в университете, Щербинский коротко сказал: «Знаю». И тем самым отбил охоту продолжать разговор дальше.

Наталья с беспокойством следила за Александром Петровичем. Ел он все эти дни плохо и почти не спал.

— Ты почему не спишь? — спрашивала она проснувшись среди ночи и видя, что он лежит на постели, подложив под голову руки, с глазами устремленными в одну точку.

— Да, так ничего, — говорил он и проводил рукой по лбу, точно прогоняя тяжелые мысли. Чтобы успокоить ее, он закрывал глаза и делал вид, что засыпает. Но она все равно знала, что он не спит.

Господи! Что с ним? Хотя бы он поговорил с кем.. Но Александр Петрович ни с кем не хотел говорить. Он явно избегал этого. Больше того, он совершенно отстранился от руководства экспедицией. Жизнь и работа в ней шли своим чередом. По раз навсегда заведенному порядку люди с утра отправлялись по своим рабочим местам, вели исследования, проводили лабораторные работы, вечерами засиживались подолгу, готовя отчеты.

Александр Петрович часто уходил далеко в степь и бродил там в одиночестве.

Денисов тоже с тревогой поглядывал на Щербинского: ему не нравилось, что тот отстранился от дела. Такая инертность в решающий момент борьбы была непростительна, она могла погубить все дело. И он решил поговорить об этом с Александром Петровичем.

— Защищаться! — вспыхнул Александр Петрович, когда Денисов упрекнул его в бездействии. — Нет, я не скажу ни слова! Зачем. Я же шулер в науке... Мне нет доверия...

«Тьфу ты черт бы побрал тебя, с твоим самолюбием!» — подумал Денисов.

— Мое оружие—опыты! Вот они и будут бороться за меня!

Он встал и, не глядя на Денисова, пошел от него. Его раздражало, что даже Денисов не понимал его сейчас. Не понимал того, что ему, заподозренному в нечестности, уже нельзя защищать дело, которое для него дороже всего. Ведь начини он защищать его сейчас, как это делал до сих пор, все скажут, он потому так яростен, что борется за себя, что себя реабилитирует. Нет, он ни во что не будет вмешиваться. Пусть комиссия сама разберется во всем.

Комиссия приехала в составе шести человек. Александр Петрович встретил ее подчеркнуто любезно. Был весел, приветлив со всеми, за исключением одного Варно, которому не подал руки.

Он повез комиссию на опытные участки. Решено было начать обследование с опытов пятидесятого года.

— Вот, товарищи, все, что сделано нами. Смотрите! Судите! — сказал Александр Петрович, когда члены комиссии вышли из машины и остановились у лесополосы. — Обо всех опытах на первом, втором и третьем участках вам подробно расскажет студент-дипломант Владимир Михайлович Корнев. Володя! Расскажите товарищам, членам комиссии, где, когда и как закладывались нами опыты...

Володька вспыхнул: для него это было полной неожиданностью. Только теперь он понял, для чего Александр Петрович взял его с собою.

Самоустранение Щербинского было неожиданностью и для членов комиссии, которые сочли это излишней шепетильностью.

— Александр Петрович! Мы предпочли бы выслушать

ваши пояснения, — внушительно сказал один из членов комиссии.

— Нет, уж позвольте мне уклониться от этого. Я считаю это даже необходимым в интересах объективности... — ответил Щербинский, особенно выделив последнее слово.

Он заверил комиссию, что на студента Корнева вполне можно положиться и, откланявшись, уехал с участка.

Комиссия вынуждена была приступить к работе без участия Щербинского.

* * *

Пять дней комиссия знакомилась с опытами Щербинского и теперь работа ее подходила к концу. В заключение решено было провести совместное расширенное совещание с участием членов экспедиции и работников лесозащитной станции.

Наталья с большим волнением ждала этого совещания. Она собиралась выступить на нем с сообщением о проведенной ею работе за последние дни. Выкопка и отмывка корней была уже закончена, оставалось расположить дубки в определенном порядке на большом листе бумаги.

Александр Петрович, давно не заглядывавший в лабораторию, не знал, над чем там трудится до поздней ночи Наталья.

А она, разостлав на полу огромный лист бумаги, склеенный из нескольких листов, размещала на нем выкопанные с корнями дубки, прикрепляя их к бумаге.

Вот первыми слева легли дубки, выкопанные из лунки, где росло их тридцать штук. Тонкие, хилые стволы всех тридцати дубков и корневая система их, идущая вглубь не более 60—80 сантиметров, говорили о том, что нелегко пришлось дубкам бороться за жизнь в такой куче. Пищи, воздуха, даже места, им явно не хватало, а главное, не хватало воды! Вот почему они были такие слабые.

А вот рядом расположились двадцать пять дубков из следующей лунки, еще правее двадцать, пятнадцать, десять дубков. Все они выглядели неважно, правда, десять дубков чувствовали себя в лунке несколько лучше, нежели двадцать пять, корни их шли уже до полутора-двух метров, и сами дубки были покрепче.

И уж, совсем крепкими выглядели последние три дубка, выкопанные из лунки с тремя растениями. У них был толстый хорошо одеревеневший ствол, крупные листья, а корни тянулись чуть ли не до трех метров. Они не уместились даже на этом огромном листе бумаги, и Наталья пришлось просто свернуть и слегка прикрепить их.

Выполняя в сущности очень утомительную и однообразную работу с корнями, которые топорщились во все стороны и никак не хотели ложиться на бумагу, Наталья испытывала почти восторг. Ее работа была осмыслена, одухотворена. Помимо того, что она устанавливала ярко выраженную связь между количеством дубков в лунке и развитием корневой системы, что было очень важно для оправдания Щербинского, она доказывала и правоту того дела, за которое он боролся. И то, что она, Наталья, помогала ему в этой борьбе, вносила свой, пусть маленький, вклад в это дело, было для нее очень важно.



Небольшой клуб лесозащитной станции был до отказа переполнен к началу совещания. Собрались не только «свои», но и много было посторонних, приехавших из других лесозащитных станций, расположенных по соседству.

Варно на этом заключительном совещании не было. Он еще накануне уехал в город, заявив, что он абсолютно не согласен с выводами комиссии, считая, что она была пристрастна в них.

— Да, собственно говоря, и комиссии, как таковой, не было, — сказал он перед отъездом. Я смотрел в одну сторону, вы — в другую. Я обращал внимание на хорошие дубки, вы же, как мухи на мед, кидались на плохие...

— Ну, знаете, это уж поклев! Это уже, черт знает, что такое! — вскипел председатель комиссии, оскорбленный и за себя и за товарищей.

— Это неуважение уже не только к нам, но и ко всем, кто нас уполномочил, доверил... Я вынужден буду...

— Ха! Пожалуйста! Я тоже обо всем доложу, где надо. А сейчас требую записать в выводах мое особое мнение! — выделив слова «особое мнение», сказал Варно. С этими словами он и уехал.

«Скатертью дорога!» — подумал председатель комиссии. Он не слишком был встревожен тем, что Варно от-

казался поставить свою подпись под заключением комиссии, потому что остальные члены ее были единодушны в своих выводах.

На совещании говорили много и за и против гнездового посева. Но противников его было все-таки больше и хотя приводились ими неоспоримые данные о том, что гнездовые посевы выглядели хуже рядовых или совсем погибли, сторонники гнездового метода продолжали упорствовать.

Туповлев по обыкновению разразился длинной речью, в которой то и дело, ссылаясь на академика Власенко, нудно доказывал преимущества гнездового посева.

— Академик Власенко Ефим Денисович утверждает, что оставшиеся хорошие гнездовые посевы через двадцать лет будут лучше рядовых, через тридцать, пятьдесят лет еще лучше. Это будут леса, а рядовые посевы совсем не дадут леса.

— А вы не страшайте! — крикнул кто-то из зала.

— Я не страшаю. Гнездовые и сегодня лучше, чем рядовые...

Башкиров, который должен был выступать после Туповлева был в большом нетерпении. Он сидел на краешке стула, готовый в любую секунду сорваться с места, как только ему дадут слово.

— Как дальше создавать лес? Строчно-луночным или гнездовым способом? Пора решать с этим вопросом, а не ходить из угла в угол. Спорим, спорим, а рядом, понимаешь, по облесению железных дорог тихо, без шума, без крику, работает Министерство Путей Сообщения и имеет неплохие результаты. Они работают по принципу: приказано — исполнено! А тут черт те знает, какой шум подняли. У нас не английский парламент. Плох гнездовой способ? Плох. Это каждый производитель на своей шкуре проверил. Так чего ж, понимаешь, продолжают его нам вдалбливать в головы. Пора поставить крест на гнездовом методе, запретить его, похоронить, вбить сверху осиновый кол, чтобы он никогда не воскрес!

— Торопитесь поставить осиновый крест на гнездовом методе! — крикнул со своего места Туповлев.

— Не торопимся, товарищ ученый, а малость опоздали. Надо давно было прикончить его! А то он у нас вот где сидит! — Башкиров рубанул себя по затылку и сошел с кафедры.

Его проводили смехом и аплодисментами.

Наталья сидела и с замиранием сердца ждала, когда назовут ее фамилию. Она тоже записалась в прениях. Кажется, ее черед был после Башкирова...

— Слово предоставляется Наталье Михайловне Щербинской, геоботанику комплексной экспедиции. Подготовиться... словно издалека услышала Наталья голос председателя. Она встала и, волнуясь так, что у ней подкашивались ноги, прошла в президиум.

— Товарищи! — сказала она, поднявшись на кафедру и глядя в зал, на море голов. Лицо ее побледнело и глаза казались темнее и больше. — Вопрос о гнездовом посеве, волнующий ученых и производственников, не праздный вопрос. От решения его зависит: смогут ли лесоводы в ближайшие годы создать полноценные насаждения в степи и тем самым помочь агрономам решить зерновую проблему в стране.

Наталья говорила уже совсем свободно, ни мало не волнуясь.

— Экспедицией была проведена работа с корнями дубков, посеянных гнездовым методом, с целью выяснения, как же степень загущенности посева сказывается на развитие корневой системы дубков, а следовательно, на развитии их самих. Нами получены следующие данные.

Наталья взяла большой рулон бумаги, стоявший в углу на сцене и осмотрелась, отыскивая глазами, куда бы прикрепить диаграмму.

Денисов, который сидел в президиуме, вскочил, чтобы помочь ей. Рулон развернулся, все с интересом стали разглядывать дубки на нем. Наталья стояла возле диаграммы, давая пояснения. Указкой, услужливо поданной ей из президиума, она отмечала границу между лунками. Зал, притихнув, слушал ее. Все вытягивали головы, чтобы лучше видеть дубки на диаграмме. Ясность и бесспорность выводов, которые можно было сделать о гнездовом посеве, глядя на эту диаграмму, увлекала. Чахлая, нитевидная корневая система первых тридцати дубков, едва достигавшая пятидесяти-шестидесяти сантиметров, и мощно развитая корневая система трех последних в ряду дубков, говорили сами за себя. Особенно поразило всех то, что корни трех дубков, протянувшись через трехметровое полотнище диаграммы, лежали на полу. Конечно, корни

таких дубков успевали уйти глубоко вниз, чтобы использовать дополнительную влагу.

Председатель комиссии встал из-за стола и подошел к диаграмме, чтобы поближе рассмотреть ее.

— Какие выводы можно сделать из представленной работы?—прозвенел в тишине голос Натальи.—Первый...

«Молодец, молодец, Наташа!»—думал Александр Петрович с загоревшимися глазами, слушая Наталью. Сжатость, четкость, определенность выводов, которые сделала она из работы, восхитили его.

«Так... Хорошо, хорошо... Еще одним доказательством больше... Но, какой же все-таки она молодец! И когда только она успела!»—думал Александр Петрович, забыв о том, что в последние дни он очень мало виделся с женою. Ему хотелось сейчас же встать, подойти к ней и расцеловать ее при всех.

Наталья кончила. Счастливая, возбужденная, она направилась в зал. Проходя мимо Александра Петровича, она перехватила его взгляд.

Взгляд сказал ей, что она приблизилась к нему как никогда, как не была близка к нему даже в пору их любви. Но этот же взгляд сказал ей, что теперь их отношения не могут быть прежними. Той безропотной покорной Натальи, к которой он привык, с которой сжился, больше не было. Была другая Наталья. И примет ли он эту, другую Наталью? Сможет ли удержать ее возле себя? И захочет ли удержать?..

Наталья не заметила, что слово предоставили председателю комиссии. И только настороженная тишина, наступившая вдруг в зале, заставила ее очнуться.

Председатель комиссии стоял на кафедре, слегка опершись на нее руками и склонив голову на бок, точно прислушиваясь к чему-то.

— Прежде всего, разрешите мне, товарищи, с этой трибуны, — тихо с расстановками начал председатель, — со всей ответственностью заявить, что обвинение, предъявленное профессору Щербинскому Александру Петровичу, руководителю работ комплексной экспедиции по полезащитному лесоразведению, не обоснованно...

Председатель хотел продолжать дальше, но аплодисменты, которыми вдруг разразилась молодежь, а за нею и весь зал, прервали его речь. Все оглядывались на Александра Петровича.

Щербинский сидел, откинув голову, прислонившись к спинке кресла, и по его непроницаемому лицу трудно было понять, что он думает.

— Комиссия, детально ознакомившись с опытами профессора Щербинского, нашла, что проведены они были с предельной тщательностью, четкостью и добросовестностью. Что цифровые данные, которыми оперировал профессор Щербинский в своей докладной записке Министерству лесного хозяйства и Главному управлению по полезащитному лесоразведению о состоянии дубков в гнездовых посевах, соответствуют действительности и не дают никаких оснований подозревать автора записки в пристрастности...

Последнюю фразу председатель произнес с особенным подъемом и, как бы желая еще более подчеркнуть ее значительность, дальше уже совсем обыденным тоном сказал:

— Ну, а теперь приступим к самим выводам... И надел очки, собираясь доложить совещанию цифровой материал.

Денисов сидел в президиуме, слушал председателя комиссии, а сам поглядывал в зал, на Александра Петровича и думал: «Неужели не выступит!» И от мысли, что тот может и в самом деле отмолчаться в столь решающий момент, Денисову становилось досадно. Поэтому, когда Щербинский попросил слова, Денисов востроился и весь устремился навстречу ему.

Щербинский при полном молчании зала прошел на кафедру, помедлил секунду на ней, точно ему трудно было собраться с мыслями, и тихо начал:

— Я пережил и очарование идеи и горькие минуты разочарования. Теперь мы располагаем достаточным количеством фактов, чтобы сказать: «Гнездовой метод плох!» Он не движение вперед, а шаг назад в деле степного лесоразведения. Игнорирование громадного опыта производственников, догматический подход к делу привели к печальным результатам.

Кто виноват в этом? Виноваты мы. Надо найти в себе мужество признать, что в последние годы мы говорили не то, что думали, не то, что есть в действительности, а то, что от нас требовали. Испугавшись грозного окрика сверху, испугавшись, что нам приклеят оскорбительный

ярлык, мы не подали своего голоса в защиту дела степного лесоразведения, не повели его по должному пути. Мы молчали в лучшем случае, в худшем поддакивали...

Щербинский говорил уже теперь со свойственной ему резкостью.

— Именно мы несем ответственность за то, что идею возглавили попутчики, ревнители, пожелавшие снискать себе на этом деле славу. Разве можно скрыть от народа, что на сотнях тысяч гектаров лес погублен...

Сразу же после совещания Наталья поторопилась уйти к себе. Ей тяжело было столкнуться с мужем при посторонних. Происшедшее так значительно было для них обоих, что ей не хотелось, чтобы кто-то присутствовал при этом.

Когда Александр Петрович вошел в палатку, Наталья сделала вид, что ей нужно найти что-то на столе. Александр Петрович подошел к Наталье, взял руками ее голову, троекратно, по русскому обычаю, поцеловал и, сказав растроганно: «Спасибо, Наташа!» — тут же вышел из палатки. Он не хотел, чтобы она видела слезы на его глазах. Слезы благодарности и раскаяния за то, что он так много горя причинил ей.

* * *

Вскоре после отъезда комиссии среди лесоводов пошли разговоры о том, что ожидаются большие изменения в деле степного лесоразведения. Поговаривали о том, что лесоводам на местах будет предоставлена большая самостоятельность в выборе средств при создании леса, что новая инструкция, которая будет спущена на места для помощи лесоводам, отнюдь не будет называться инструкцией, а только наставлением и выполнение ее будет не обязательным. Что гнездовой способ, догматически применяемый повсеместно, будет официально признан порочным и предпочтение будет отдано другим методам. Так это будет или не так, время должно было показать. Во всяком случае сторонники гнездового посева в последнее время что-то притихли.

— Чуют, откуда ветер тянет! — смеясь говорил Денисов Щербинскому. — Хорошо-о! Теперь Варно сюда и носа не покажет!

Он довольно потирал руки. Но говоря о Варно, Денисов понимал, что дело не только в том, что Щербинский одержал верх над Варно, развенчал его, а дело в том, что своей страстной непримиримой борьбой против метода гнездового посева, Александр Петрович помог пробить брешь в системе той косности и догматизма, которые до сих пор царили в деле степного лесоразведения и мешали этому делу развиваться дальше.

Он сказал об этом Александру Петровичу. Щербинский счастливо улыбнулся. Он был благодарен Денисову за то, что тот верно определил его место в этой борьбе.

— Да... Брешь пробита!—сказал он, отводя хлеставшие по лицу ветки орешника. Они с Денисовым пробирались к лагерю напрямик, через разросшийся за лето орешник.

— Теперь пойдет дело!

Но радуясь тому, что дело пойдет, Александр Петрович уже испытывал неудовлетворение. Ему казалось, что сделано непростительно мало, что надо сейчас же, не медля сделать что-то такое значительное, что сразу двинуло бы дело вперед. Такова была натура Щербинского, жадного стремительного человека, никогда не удовлетворяющегося достигнутым. Достигнута одна цель, а впереди уже маячит другая, третья.

Сейчас Александр Петрович был уже недоволен результатами посева дуба в микропонижениях. Метод, которым он еще так недавно гордился, как собственным детищем, метод, на который он возлагал столько надежд, сейчас уже не удовлетворял его. В голове его зародилась новая идея, которой он целиком был захвачен.

— Рвы! Вот что нам нужно. Не глубокие борозды, а именно рвы! — говорил он Денисову, крупно шагая рядом с ним. — Ты посмотри вот на это дерево. Я давно наблюдаю за ним... Ты только посмотри, какая мощная у него крона!

Они остановились возле дерева, что росло на самом краю полузаросшей, обвалившейся воронки. Это была белая акация. Она действительно буйно раскинула свою крону, тогда как другие деревца, стоящие чуть поодаль, выглядели несравненно хуже.

— Ты думаешь в чем тут дело? В блиндаже! И только в нем. Видишь вот эту воронку? От бомбы ли, от чего ли другого, но она образовалась рядом с деревом, когда оно

было еще маленькое. В ней собиралась вода и вот тебе результат. Дерево живет, да еще как живет! Ему и сушь нипочем. Что ему! У него своя кладовая влаги!

Заговорив об этом новом захватившем его способе посадки леса, Александр Петрович раскрывал перед Денисовым те широкие возможности, которые сулил этот способ.

Когда они спустились в балку, Александр Петрович сказал:

— А вот здесь, Иван Иванович, на будущий год мы заложим опыты с поливом... Да, да, не удивляйтесь, с поливом. Рано или поздно вода придет сюда и надо заранее дать рекомендации производителям... А на первом опытном участке распахнем целину межполосную и будем изучать влияние полос на посевы. Прибавку урожая в три-четыре центнера на гектар я считаю для этих мест заниженной. Можно добиться шести-восьми центнеров. Я считаю опыты эти уже можно ставить. Что ты хочешь, полоса уже есть! Работает на себя! Вяз мелколистный чуть ли не в три метра вымахал! — сказал он в запальчивости, видя, что Денисов смеется.

Но тот смеялся не тому, что Щербинский преувеличил несколько высоту лесополосы, сказав: «вяз в три метра вымахал». Полоса действительно начала уже работать на себя, а смеялся задору Александра Петровича.

«Этот Щербинский еще таких дел понаделает! — думал Денисов об Александре Петровиче. — Развяжите ему только руки!»

Сам Денисов больше уже не будет работать в экспедиции, он получил новое назначение. Да и экспедиция вот-вот закончит свою работу, оставалось всего несколько дней.

Людам жаль было расставаться с Денисовым. За полгода совместной работы в экспедиции они привыкли к нему, к его спокойной манере разрешать все спорные вопросы. За этим спокойствием чувствовалась твердая разумная воля. Денисову можно было довериться.

Наталье было особенно грустно от того, что Денисов уезжает. Вот и не будет больше рядом друга, товарища, который так много для нее сделал.

Боясь не застать Денисова, который нынче же вечером должен был уехать, Наталья почти бежала домой. Вчера, когда он вновь предложил ей работать, на сей раз

уже в своей экспедиции, она так и не дала ему окончательного ответа. Сегодня же ей казалось немыслимым отказаться от его предложения. Нет, она будет работать. Не работать она не может.

Денисов уже сидел в машине, когда она прибежала на базу.

— Ну, как решили, Наталья Михайловна? — спросил он, привстав ей навстречу и протягивая руку. Глаза его, улыбаясь, смотрели на Наталью. — Прощайте или до свидания.

— До свидания, Иван Иванович! До свидания! — радостно возбужденная ответила Наталья. Глаза ее влажно блестели.

* * *

Дети спали. Прикрыв распахнутое окно, Наталья пошла к сыну. Юрка спал, уронив книгу на пол. Его красивые, твердо очерченные, как у отца, губы вздрагивали в улыбке, очевидно, Юрке снилось что-то хорошее.

Наталья подняла с полу упавшую книгу, прочитала заглавие: «Тайна профессора Бураго». Улыбнулась с легкой грустью и, поцеловав Юрку, вышла из комнаты. Проходя мимо кабинета, она видела склонившуюся над столом фигуру мужа. Мягкий свет настольной лампы падал на его высокий чуть нахмуренный лоб.

Наталья прошла в спальню. Абажур из красного плотного шелка, накинутый на настольную лампу, оставлял всю комнату в тени, бросая лишь яркий круг света на письменный столик Натальи.

Наталья присела было к столу, чтобы написать письма и задумалась. Рука ее неподвижно лежала на белом листе бумаги. Она вздохнула, встала и, погасив свет, вышла на балкон.

Темная осенняя ночь охватила ее бодрящей свежестью. Наталья опустила в плетеную качалку и, слегка покачиваясь в ней, задумчиво смотрела на залитый огнями город. Огни переливались, мерцали в темноте.

Итак, завтра она уезжает в экспедицию к Денисову. Как-то дальше пойдет ее жизнь? Что будет без нее с Александром Петровичем? С детьми? Примирятся ли они с ее отъездом? Почему-то больше всего Наталье было оставлять Юру. Девочки очень дружны между собою, это им скрасит жизнь без матери. Потом они уже совсем

большие. Лена на втором курсе, Таня через год студентка.

За Лену она может быть спокойна. Они, кажется, поладили с отцом. Во всяком случае, доклад, написанный ею под руководством отца, который она сделала недавно в студенческом научном кружке, говорил о том, что она увлеклась геологией и не жалела уже, что пошла в университет, а не в театральную школу.

Таня, та уже сделала выбор, это будущий почвовед. Это еще больше сблизило ее с отцом. А вот Юрка... Юрка пока один, и с отцом у него что-то плохо налаживаются отношения. Правда, Наталья, несколько раз ловила особенно теплый взгляд Александра Петровича, каким он смотрел на сына. Вчера он даже обмолвился, сказал: «Юрочка». Но сам Юрка не замечал этого взгляда или не хотел замечать его. Не так просто войти в доверие к мальчишке его лет, если раньше в этом доверии ему было отказано.

Наталья смотрела на сияющие огни, и мысли, сменяя одна другую, теснились в ее голове. В одном только Наталья была уверена, что Ольга Павловна, которая решила перебраться в город с Иваном Кузьмичем и жить этот год с детьми и Александром Петровичем, сумеет наладить им жизнь. Она энергично принялась за хозяйство, сразу завоевала симпатии девочек и, особенно, Юрки, хотя и была с ним непреклонна: «Никуда не пойдешь, сделай сначала уроки!»

С благодарностью Наталья подумала об этой женщине, которая заменит ее детям мать. Уж она не даст Юрочку в обиду, даже отцу.

Мысли Натальи обратились к Александру Петровичу. Как он относится к ее отъезду? Думает ли он, что это полный разрыв между ними, или надеется, что все со временем утрясется, войдет в свою колею?

Внешне он никак не проявляет своих сомнений. Он ровен, спокоен, внимателен к ней. Они много говорят о предстоящей работе ее и... ни слова о будущем. Иногда Наталья, неожиданно войдя в кабинет, видит, как он сидит за столом и не работает, взгляд его, устремленный в окно, рассеян. Но он тут же берет себя в руки и начинает говорить о том, что ей совершенно необходимо взять с собой теплые вещи. «Не забывай, что в феврале и на юге может быть очень холодно». Или говорит о тех труд-

ностях, которые могут встретиться в ее работе. «Обязательно пиши обо всем. Я убежден, что ты, думая о работе, забудешь о себе». «И о нас», точно хотел сказать он и не сказал.

Просыпаясь ночами, Наталья слышала его шаги в кабинете. «Не спит», — думала она и ей хотелось встать, войти в кабинет и спросить: «Что с тобою? Почему ты не спишь?» хотя знала, что тревожит его. Ей и самой было смутно. Как-то дальше сложатся их отношения? Она уже не чувствовала себя той несчастной женщиной, которой достаточно было того, чтобы он, пусть разлюбивший, был около нее, чтобы она могла дышать с ним одним воздухом. Нет, сейчас этого для нее было мало. Только как равная с равным она могла бы идти с ним дальше. Если этого не будет, то ей не нужно ничего, не нужен и он сам. Как о тяжелом сне жило в ней воспоминание об этом лете, и она та, страдающая Наталья, казалась далекой. И порой только острая жалость к той слабой Наталье заставляла еще наворачиваться на глаза ее слезы.

На балкон вышел Александр Петрович. Он молча сел позади Натальи и, положив руки на спинку качалки, стал тихонько раскачивать ее. То приближаясь, то отдаляясь от него, Наталья чувствовала его дыхание на своей щеке. Говорить ни о чем не хотелось.

Вдруг качалка остановилась, и Наталья, почувствовала, как руки Александра Петровича обвились вокруг ее шеи. Запрокинув голову Натальи, он больно поцеловал ее в губы. У Натальи против воли вырвался стон.

«И ее так же целовал...» — мелькнуло в сознании.

Взволнованный близостью Натальи, по-новому ощущая ее, эту близость, чувствуя свою вину перед Натальей, благодарный ей за то, что она не оттолкнула его, Александр Петрович с никогда ранее не испытываемой исступленной нежностью гладил волосы и лицо Натальи.

Она сидела, закрыв глаза, и ему в темноте не было видно лицо ее. Вдруг рука его, гладившая щеку Натальи, дрогнула и замерла. Щека была мокрая.

Александр Петрович, точно испугавшись, стал еще торопливее, с еще большей нежностью гладить волосы и лицо Натальи. Он верно понял ее слезы. Это не были слезы счастья, это были слезы горечи и еще не улегшейся обиды.

И пройдет ли когда-нибудь эта горечь, забудется ли обида? Многого теперь надо для того, чтобы все сглади-лось и забылось.

Так и сидели они в темноте без слов, каждый думая о своем и в то же время об одном и том же, еще далекие друг другу, не такие как прежде, но уже спаянные од-ним — опасением, что жизнь исковеркана, и не будет в ней больше чистых радостей, и желанием сделать так, чтобы они были, и робкой надеждой, что они будут.

Д.К.
1955

— 17713 —

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I	3
Глава II	30
Глава III	67
Глава IV	86
Глава V	114
Глава VI	139
Глава VII	161
Глава VIII	189
Глава IX	224
Глава X	253
Глава XI	281
Глава XII	310

2

Нина Васильевна Нефедова

ЛЕТО В СТЕПИ

Редактор *Т. И. Белова*

Обложка художника *В. М. Петина*

Технический редактор *К. Д. Зиброва*

Корректоры *Н. Б. Ворович, Н. Е. Матвеева*

Книжное издательство. Сдано в набор 29/III 1956 г. Подписано
к печати 31/VIII 1956 г. Бумага $84 \times 108 \frac{1}{32} = 5$ бум. л., 17,056 печ. л.
18,1 уч.-изд. л. Тираж 30000. НМ 04012.

г. Сталинград. Типография № 2 Облполиграфиздата. Заказ 1236

ПОПРАВКА

На странице 237, в абзаце шестом сверху ошибочно, по вине типографии, переставлена строка. Этот абзац следует читать так:

«Когда возвратились обратно, то застали Машу и Галю за мытьем полов. Тимофей Алексеевич обеспечивал им бесперебойное освещение, он подогнал машину вплотную к окну и на проводе, подключенном к аккумулятору, повесил лампочку «желтый глаз».

Н. Нефедова «Лето в степи»